

АРКАДИЙ ФИЛЕВ



ЖИВОЕ-ЖИВЫМ

/



АРКАДИЙ ФИЛЕВ

ЖИВОЕ-ЖИВЫМ

Р о м а н

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА 1977

P2
Ф52

Филев А. А.

Ф52 Живое—живым. Роман. М., «Современник», 1977.
365 с. с ил.

Роман Аркадия Филева «Живое — жигым» посвящен революции, гражданской войне и коллективизации. Это волнующий рассказ о том, как новое в суровой борьбе побеждало силы старого мира. В книге даны образы революционеров, первых колхозников, сельских коммунистов, показаны трудные человеческие судьбы.

Роману присущ своеобразный северный колорит. Он чувствуется в в описании действующих лиц, в ярких картинах природы, в в разговорном языке.

Ф 70302—052
М106(03)—77 109—77

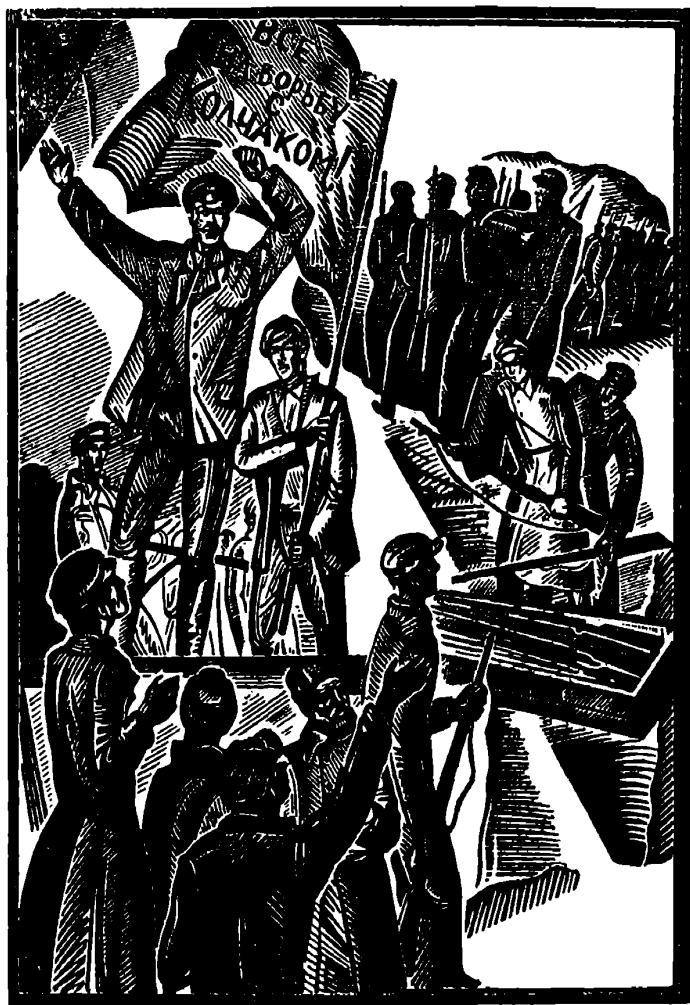
P2

*Жене и другу
Тамаре Николаевне Филевой
посвящаю*



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





Ой, река ты, реченька, Вятучка глубокая,
Ты куда, Вятка, спешишь, куда катишься,
Зачем слезы льешь?

1

Когда здесь появились люди, кто первым облюбовал этот каменистый угор и назвал деревню Ржаным Полем, никто не знал. Многим казалось, что их деревушка с тремя десятками друг на друга непохожих домов появилась на свет одновременно с землей, с лесами и оврагами,— иначе кому бы пришло в голову селиться именно здесь, на самом косогоре? Да и поселились как-то не в лад, врассыпную: один дом придвинулся к оврагу, другой повернулся передом на солнечную сторону, будто стараясь погреться, третий подбежал к самой речке, словно собирался испить воды. А дом Евлахи Ветлугина уставился низенькими подслеповатыми оконцами на рыжий глинистый бугор, точно любясь им. Кажется, чем бы там можно любоваться: бугор как бугор, кое-где зарос чахлыми кустами можжевельника, а вот поди ты, встанет, бывало, Евлаха утром, и первым делом к окну — каждое деревцо на бугре приметит, каждый кустик.

Как ни мала была деревушка, но и ее делила надвое дорога, спускавшаяся с горы, неудобная и гулкая. Когда шли дожди, эта дорога превращалась в речку. Хлеставшая сверху вода вылущивала ее, делала корытом. И если бы не каменистое дно, давно быть бы тут оврагу. Пришлось бы тогда убирать амбары, что стояли внизу, на самом повороте дороги. Стояли они у всей деревни на виду — из каждого дома хозяин стерег свой амбар, в любую минуту мог приметить, все ли там в порядке.

Любили здесь, около амбаров, поиграть в прятки ребяташки. Но взрослые предостерегающе говорили: за ребятами, мол, нужно смотреть — чикнут кремень о кремень, загорится чага, и пойдешь с сумой по миру.

Частенько бывал тут и Евлахин внук, восьмилетний Федярка, круглоголовый, коренастый — весь в деда. И ходит он, как дед, вразвалочку, руки, будто ухватки, слегка согнуты в локтях.

Сегодня Федярка с утра толкется у амбаров. Он в дедушкином широком, как решето, выцветшем картузе; за спиной на мочальной веревке — самодельное ружье: березовая ложа с желобком посередине, на конце ложи отверстие, в которое просунут вересовый прут, пружинисто согнутый веревочной тетивой. Со своим ружьем теперь Федярка не расстается. Еще бы: вон дядя Егор, — тот даже из Уржума на побывку с ружьем приезжал. И дед тоже, как только дядя уехал, принес из чулана свой бердаш и повесил в избу на гвоздь. А рядом на стене большая бумага, разрисованная красками, на той бумаге люди на конях, с ружьями. Дед нет-нет да и подойдет к картине, ткнет в нее пальцем, прочитает: «С ружьем и плугом отстоим революцию». И понятно, кому не хочется отстоять революцию? Потому-то Федярка и старается во всем подражать деду. Поедет дед пахать, и Федярка с ним. Только плуга у него нет настоящего, но это не беда. Со временем и у него все будет. Нынче он разыскал на подволоке кусок блестящей жести, выпрямил ее камнем на бревне, прибил гвоздем на шестик. Края жести слегка загнул — и получился лемех. Побежал Федярка к амбарам. Земля здесь песчанистая. Присел он на колени, вонзил лемех в землю, и поползла за отвалом узкой лентой бороздка, вздыбилась повлажневшим гребешком. Сбегает потом Федярка в поле за ржаными колосками, вылушит из них зернышки и посеет их тут, как сеет дед на новину. Пройдет зима, и вырастут у самого амбара новые колоски. Посеет он, скажем, зернышко, а уродится горсть, а может, и больше. Может, целое лукошко, а то и мешок...

Федярка даже шмыгнул от удовольствия носом. Большой дедов картуз съехал на глаза, но Федярке не до этого — звон сколько скovyрнул земельки, уж к Алешкиному амбару подобрался.

— Ты это чего тут делаешь?

Федярка вздрогнул от неожиданного окрика; оглянулся: на дороге стоял сам Алешка — тоненькие ножки. Худой и длинный, как жердь, с жидкой рыжей бородежкой, он стоял, широко расставив тонкие ноги в узеньких домотканых штанах-дудочках, и смотрел на Федярку полунасмешливо-полусерьезно. Не поймешь, то ли сердится старик, то ли готов рассмеяться.

— Чего, говорю, землю роешь у мово амбара? — снова спросил уже строже Алешка и, подойдя к амбару, ужаснулся: кто-то под самый склад прорыл лаз. Ужели ребята туда ползают? Того и гляди откроют тайник! А время теперь беспокойное, через день да каждый день комиссары навсидываются за хлебом. Его, Алексея Кузовкова, пока еще бог милует. Придут, бывало, из волости с продразверсткой, он откроет амбар, разведет руками — пустые сусеки, да и только! Никто и не догадывается, что хлеб-то у него под полом, в землю упрятан. И на вот — пора прорыта под амбар, черт возьми...

— Ты тут чего ищешь? — наливаясь гневом, приступил старик к мальчишке.

— Ну-к чего, зернышки сею, — потупясь, не без опаски ответил тот и вскочил.

— Я вот возьму эту твою вересину-хворостину, выдерну из стреляла, да по спине тебя, да пониже... Тогда поймешь, где можно рыть, где не можно...

Шагнув к Федярке, Алешка — тоненькие ножки дернул за козырек картуза и, надвинув его на глаза мальчика, принялся притоптывать ногами взрыхленную непрошеным пахарем землю. Потоптался, ругнулся для порядка разок-другой и, пригрозив пожаловаться деду Евлампию, зашагал по вылущенной дороге вверх.

Федярка, надувшись, метнул взгляд на узкоплечего длинноногого старика, взглянул на притоптанную им землю — и, сорвав с плеча свое ружьецо, вздернул тетиву. «Цвирк...» — пропела она, стрела взвилась в воздухе и клюнула Алешкин картуз.

Старик, охнув, схватился за голову и, кособочась, обернулся, но Федярки и след простыл — он уже нырнул в лаз под Алешкин амбар.

Старик похолодел.

— Я тебе, злыдень, — бросившись к амбару, закричал Кузовков. — Вылазь, говорю, антихрист, отседова, из-под мово амбара!

Затаив дыхание, Федярка через лаз видел, как почти что рядом сучил старик ногами, обутыми в кожаные уледы — легкие низкие обувки из кожи, специально сшитые для лета. Поверх уледей голенастые сухие ноги были аккуратно обвиты полотняными портянками.

— Вот я тебе, сдеру с тебя кожу, злыдень ты этакий! — сунувшись на колени и стараясь заглянуть в лаз, не унимался Алешка.

«И впрямь сдерет, ручищи-то вон какие длинные», — струхнул Федярка.

Но Алешкины ноги в белых подвертках шагнули в сторону и исчезли. Федярка выглянул из укрытия: старик стоял у изгороди и примерялся, какую сподручнее вытянуть жердь из прясла. Мальчишка понял — жердью хочет его вытурить из укрытия. Но не тут-то было. Припав к земле, Федярка ящерницей скользнул через лаз обратно, схватил свое ружьцо и метнулся за угол амбара.

2

По крутой, отполированной босыми ногами тропке Федярка сбежал к шустрой, со множеством омутов Ветлужке. Остановился у ближнего омута, присел на корточки и принялся разглядывать песчаное дно. Сидит и не дышит — не спугнуть бы рыбок: Ветлужка хоть и маленькая, а рыбы в ней много, — вон как ходят тут пескари, не в одиночку, а стаями. А вон у коряги и налим, словно на приколе стоит. Они, налимы, ленивые, не резвятся, только охраняют пескарей. Федярка легонько кашлянул — пескари тотчас же бросились врассыпную, кто куда, а налиму хоть бы что, стоит себе да поводит плавниками. Был бы здесь Лаврушка, он бы живо его пырнул острогой. Но опять же, зачем рыбу губить? Пусть порастет. Это в воде она кажется большой, а вытащишь — совсем махонькая, кошка и то есть не станет.

Федярка взял камень, бросил в воду, — и разом омут опустел — все попрятались: стайка пескарей ушла на глубину, а ленивый налим наверняка залез под корягу. Он хоть и ленив-ленив, но ведь тоже боится остроги. Хорошо, что и не пришел Лаврушка, — пусть растут рыбки, им ведь, как и человеку, жить хочется. Всем хочется жить — и траве-мураве, и березам в лесу... Потому дед и не возит домой березки к троицynu дню, не расставляет их

у крыльца, как Алешка — тоненькие ножки. Тот ведь, Алешка-то, злыдень — утенка крохотного, и того в сенокос косою зарубил.

Федярка сердито сплюнул, как обычно поступал дед, когда был недоволен чем-нибудь, и, засучив домотканые штаны, забрел по колено в речушку. Удивительно! Вначале вода кажется холодной, а постоишь в ней немного, — и она будто становится теплее, журчит, ласкается около ног. Вода — она тоже ведь живая, потому и течет без остановки. Стоит Федярка и удивляется: вода совсем-совсем стала теплая, как в бане. От радости он запрыгал, словно начал ногами толочь воду, она запенилась, закипела. Полетели брызги, смокли Федяркины домотканые штаны. Выскочил он на желтый песчаный язычок, потоптался, опустил на живот.

— Федярка-а! — слышалось с угора.

Федярка вскочил и увидел: у амбаров стояла мать и махала ему рукой.

«Ужель Алешка — тоненькие ножки пожаловался? — подумал Федярка. — Но ведь он первый начал... Так и скажу, что первый. Дед что наказывал: первый не лезь на ворот, а уж кто обидит, спуску тому не давай».

Только бы Алешка-злыдень не пожаловался деду. Кузовков в деревне самый горластый — придет, всех перекричит.

Не спеша Федярка поднялся к амбарам, поискал на косогоре стрелу с медным наконечником и, не найдя, решил, что ее Алешка подобрал — теперь не отдаст. Он ведь жила, этот старик.

— Ты чего балуешься своим ружьишком? — спросила с упреком мать, как только Федярка показался на дворе.

Насупившись, Федярка виновато посмотрел из-под картуза на мать, потом на деда, который, будто и не замечая его, продолжал смазывать тележную ось. Он, дед, всегда такой — молчун. Молчит-молчит, а потом возьмет да и скажет. И сразу все пойдет по деду: как он скажет, так тому и быть.

— Первый-то он начал, — уставившись в бадейку со смолой, ответил Федярка.

— Алексей стрелял в тебя разве?

— Еще бы стрелял...

— А ты ведь стрелял...

— Это так, не по-настоящему...

— Вначале ты, мать, рассуди, кто у них начал? — распрямившись, вступил в разговор дед. — Ить он, Алешка-то, буржуй эдакий, всегда наперед лезет в драку. Он только на позицию не любит ходить первым. В ту войну, как с япошками воевали, что получилось? Вот-вот на позицию надо выступать, а он, Алешка наш, что придумал? Заприхрамывал да к фершалу, штаны снял и говорит: смотри, мол, ноги-то у меня какие тоненькие, без мяса, не носят, дескать. И ведь обхитрил фершала — один из всей нашей части увернулся от позиции.

— Может, тятенька, у него и впрямь ревматизма была, — заметила сноха.

— А у меня не была разве? А я молчал. Если бы все тогда о болезнях заговорили, кто бы воевать за Россию стал, а?

Евлаха обмакнул волосяную кисть в смолу и, сунув ее в горловину ступицы, принялся крутить, ерошить ею; потом снова опустил кисть в бадейку.

— Не ругай его, Глафира, — наставительно сказал свекор. — Он ведь, Федярь-то наш, не понарошке, не со злости. Лучше иди да собирай на стол, проголодался парень-то...

— Не буду вот кормить твоего парня, — все еще стараясь казаться строгой, сказала Глафа и, дернув сына за руку, добавила: — Поди вон стреляй ворон да кормись, ежели не слушаешься...

— Он же, мам, землю у амбара пожалел.

— Кузовков, известное дело, пожалеет, — опять заступился дед. — Сколь ни дала ему Советка власть земли, все мало. Воду, и ту ныне на замок запер, буржуй чертов. Колодец всей деревней копали, а воду присвоил себе. Разве позволили бы мы этак поступить? Мы не Алешки, не Кузовковы, мы Ветлугины... Сколь годов здесь живем. А он, Кузовков, откуда взялся? Пришлый... Ни в бога, ни в черта, говорит, не верую, а в дом богородицу в рост человека на руках внес...

Глафира исподлобья взглянула на свекра — неуступчив старик, ершист. Но и ей не пристало сдаваться перед мальчонком, хочется хотя бы для виду, в поучение, пригрозить сыну.

— Еще раз выстрелишь, — отберу ружье и в печь на растопку.

— Тогда, скажи, Федярка, изладим, мол, другое,— опять поддержал внука дед и хитровато взглянул на него из-под лохматых бровей.— Чего это у тебя... в ушах-то, смотри, буржуй, песку сколь?

— Это я жерновки искал,— ответил Федярка и к деду: — А жерновки растут? Если в воду их опущу, вырастут они, как рыбки?

— Рыба—это другое. Если б рыба не росла, и не было б ее ни в Ветлужке, ни в Вятке,— ответил дед многозначительно и взглянул на жерновки, лежавшие на зеленом лопухе.— А это не рыба, это камень...

— А оно, камень, тоже ведь растет?

— Ну и что ж, что растет? Может, и не растет...

— А откуда они берутся?

— С Ледового океана, говорят, приплыли, вот откуда,— прибирая бадейку, поучающе ответил дед.— Они ведь, ты думаешь, как, ледовики-то эти, шли? Они ведь с гор, слышь, катились...

— С этих вот, с наших? А горы откуда, деда, взялись?

— Экий ты какой, все сразу тебе знать надо. Все расскажу — на другой раз не о чем будет толковать. Пошли давай обедать. Вон мамка-то уж на стол собрала, небось кличет нас не докликнется.

3

Не густо за столом у Евлахи, не весело. Раньше, бывало, в обед собиралось по двенадцать ртов — в ведерном горшке варили щи, а теперь, гляди, до чего дожились. Сноха Глафира на одном конце стола, на другом — он сам, да рядом с ним Федярка,— вот и все ветлугинские работяги. А ведь славилась когда-то семья Ветлугиных! По всей округе на почете Евлаха был. Хоть он и низенький, но коренастый и, не в укор другим, сильный — двухпудовкой, бывало, играл, как войлочным мячиком.

Говорил он мало, и говорил, казалось, больше для себя. Выйдет на улицу, окинет деревню взглядом и скажет: «Алешка-то, чертов буржуй, крышу перекрывать собрался». Увидит выехавшего в поле соседа и тоже заметит: «Пахать уж начал, буржуй чертов».

Когда-то совсем неприметное словцо — «буржуй» Евлаха слышал на той самой «позиции», от которой, как

он сказывал, увернулся Алешка Кузовков, и словцо это, казалось, насовсем пристало к Евлахиному языку. С тех пор «буржуем» крестил он всех подряд — богатых и бедных, чужих и родственников, людей и животных, но когда говорил он, в голосе его можно было различить в каждом отдельном случае особую интонацию, свою, где-то глубоко запрятанную, мужицкую ухмылку.

Да, силен был в былые годы мужик. Однажды на свадьбе брата подвыпивший Евлаха запросил водки, но тут взмолилась жена:

— Остановись, Евлампий, лишнее тебе...

Евлаха уставился глазами в сучковатый пол, сжал кулаки, как кувалды.

— Ишь, буржуи чертовы, веселиться не дают! — крикнул он и, ударив кулаком по краю столешницы, развалил ее пополам.

На другой день молодница — жена брата, только что успевшая войти в дом, шепнула мужу:

— Отделиться бы, Прокопей, от братца-то, будет, настрадались вдоволь от него...

Евлаха принял просьбу молодоженов спокойно, как должное.

— Давай отделяйся, буржуй чертов, вот тебе изба, вот сарай, — сказал он брату.

Когда Прокопий отломал от дома избу-зимовку, Евлаха забил досками прореху на подволоке, и доставшаяся ему по паю изба с крышей на один скат стала похожа на скособочившегося инвалида с оторванной в сражении рукой.

— Ничего, буржуй ты этакий, придет время, перестрою, — вслух размышлял Евлаха. — Пятистенок срублю... по-модному, в лапу...

Незадолго до начала русско-германской войны Евлаха, неожиданно для соседей, решил переселиться в вересники. У него давно запала думка оседлать этот ничейный гулевой бугор.

— Это ты куда попер, Евлампий, в гору-то, да на глину-то этакую? — удивилась жена.

— Вижу, никак не дойти тебе своим бабьим разуменьем, что к чему, — с упреком ответил муж. — Так слушай же, рядом, в двух шагах за спиной, будет поскотина. Внизу — поля: под гору сбрасывай навоз, а в гору в амбар вози хлеб. А сколько тут глины — непочатый

край! Не кринки лепить станем, а кирпишну строить. Обжигай кирпич да сплавляй по реке, Вятка-то матушка все на золотой рубель повернет.

Той же осенью Евлаха вместе с тремя взрослыми сыновьями нарубил в бору сосен — лесина к лесине, вывез их по санному пути на бугор, заросший вереском, и уже на другой год к пасхе среди низкорослых кустов вырос новый пятистенок, на зависть всей округе. Посадив на огороде картошку, старик принялся за колодец. Три сажени вырыл — нет воды, пять выкопал — ни капли. На седьмой сажени лопата гулко застучала о камень. С неделю мучился Евлаха с сыновьями, но пробить каменную гряду так и не смог. Вылез он из темной норы худой, измученный, опустил на неласковую землю и заплакал.

Осенью, когда сошли с рук горячие полевые работы, Евлаха снова взялся за дом. Срубы перевез с горы обратно в деревню и строиться решил на прежней усадьбе, рядом со старой покосившейся избой. Прежде чем уложить оклад, под каждый угол подкатил камни.

Под среднее крестовое бревно камень не ложился. Старик отстранил плечом возившегося с камнем сына; охватив руками гладкий большой валун, отделил было его от земли — и вдруг сел, обмяк, прошептал холодеющими губами:

— Сломил, Федосий, буржуя... Один достраивай...

Евлаха не умер, отлежался, только к нему пристала грыжа. По совету знахаря он изладил из сыромятных ремней подбрюшник и стал им подвязываться. Но силы прежней в руках уже не было, он начал тяготиться тяжелой работой. К тому же и сыновья подросли, любое дело и без старика сумеют повернуть как надо. А тут стряслась новая беда — умерла жена. Евлаха погоревал-погоревал, потом позвал к себе старшего сына.

— Стряпать-то, видишь, Федосий, некому, — сказал он с досадой. — Молодицу надо тебе искать. Запрягал бы лошадь да ехал куда-нибудь...

В тот же год, зимой, Федосий привез в дом молодую хозяйку Глафу. Привез ее не по обычаю, а тайком, уже просватанную за другого жениха.

Случилось это так.

В первую неделю мясоеда поехал Федосий свататься в Прислон к Долотовым, но там и слушать его не захотели.

— Я не против тебя, Федосий,— тянул щупленький, с сивой бородкой старикашка,— да деревня-то у вас больно неказиста, в угоре. Приезжал вон к соседу из Нолей родственник. Заходил поглядеть. Не договорились пока, но зарубку затесали. Хоть жених и помельче твоего росточком, да зато у отца-то, чу, лавка с красным товаром...

— За лавку ты меня, тятка, что ли, выдаешь? — взглянув из-за заборки, всхлипнула дочь.

— Муж без богатства — полжизни, а богатство с мужем — вся жизнь, доченька.

— Не пойду за конопатого!

— Пой-де-ешь...

И Глафу просватали за конопатого. Но Федосий был не из таких, чтоб уступать.

За неделю до Глафиной свадьбы, в глухую метельную полночь, Федосий подъехал к долотовскому дому, легонько стукнул в окно. Глафа быстрехонько надернула на плечи шубку, схватила теплый платок, выбежала в сени, будто до ветру, — и была такова.

Свадьбу не играли: собрались вечером родственники Федосия — и только. Со стороны невесты не было ни души, даже отец с матерью не поехали, — непрошенный зять нанес Долотовым кровную обиду.

Но на этом не кончилось.

В троицын день к ветлугинскому дому подступили от Долотовых подвыпившие парни и мужики, и среди них гость — старый Глафин жених Сафашка Вьершов. У всех парней, кроме гармониста, в руках были дубинки, а у Сафашки — железная витая трость.

— Бить тебя идут, — ужаснулась Глафа и ухватила мужа за руку. — Прячься в голбец скорей...

— Из своего дома Ветлугины не бегают, — ответил спокойно Федосий и, схватив с перекладки косу, выскочил на крыльцо:

— Ну, кто там смелый, подходи!

— Сдавайся-я! — зычным голосом крикнул вьершовский братан, высокий и здоровенный. — Ты один, а нас эвон сколь...

Он первым подобрался к крыльцу и, размахнувшись, хотел ударить Федосия по голове, но тот, ловко увернувшись от удара, взмахнул косой, — и мужик, выпустив дубину, схватился за повисшую руку.

Тем временем высыпали из домов соседи, и пьяная ватага отступила, грозясь когда-нибудь да поймать Федосия на узенькой дорожке.

Встретились Федосий Ветлугин и Сафаней Вьершов меньше чем через год. И не на узенькой дорожке, а в сыром полуобвалившемся окопе под Луцком. Однажды на рассвете русские повели наступление, но немцы не сдавались. Завязался бой. Из этого-то боя и вынес Федосий на себе раненого ефрейтора Вьершова.

— Ты уж извини меня,— говорил Сафаней.— Признаюсь, не хотел тебе прощать, Федося. Вчерась-то чуть в спину тебе не пальнул. А сегодня, нако, ты меня спас... из бою вытащил стервеца...

— Дурень ты... Да разве мы друг другу враги? Враги у нас с тобою теперь одни — супостатов крошить сообща падо.

— Верно говоришь. Прошу, не держи злобы на меня...

Федосий спас Сафанея, но сам от беды не уберегся — пропал без вести. Ходили слухи, будто по вине царских генералов утонул он где-то в Пинских болотах. Не вернулся с войны и младший — Афанасий,— погиб около Кременца. Остался только один Егор — средний сын. Да и тот не живет дома. Не раз обещался приехать, да время-то все еще беспокойное, с ружьем мужику приходится пахать и отстаивать революцию.

Зачиная деревянной ложкой в блюде постную картофельную кашу, Евлаха с тоской взглянул на внука:

— А дядю-то ждешь ли, Егория-то? Помнишь, приезжал прошлогодь в тужурке хромовой?

— А какой он теперь?

— Да ты что, неужели позабыл? — удивилась мать.

— Не позабыл, а спрашиваю...

— Шалишь ты все.— И Глафа пригрозила: — Приедет вот дядя Егор — отдам ему тебя, пусть заместо отца образумливает. А то совсем от рук отбился. Смотри-ко, с жалобами стали ходить...

— Без жалоб, скажи, мамка, и мы не росли,— опять заступился дед и, встав из-за стола, добавил: — Давай, Федярка, попроворней с кашей управляйся да кресты на грудь клади и — со мной в поле. Я — пахать, а ты Пегашку в перекуры подкармливать будешь...

Аппаратная городской телефонной станции помещалась в просторной, неуютной комнате. В дальнем углу, напротив облезлой кушетки, у стены стоял дубовый телефонный аппарат, напоминавший собой старинный рыжий шкаф со множеством пробоин. Но это были не пробоины — это розетки, в которые бойкие и привычные руки телефонисток вкладывали штепселя, — и люди, находившиеся в разных концах города, говорили друг с другом, словно были рядом, — спорили, жаловались, ругались, мирились... Сегодня аппарат Эриксона молчал, и тонкие коричневые шнуры беспомощно свисали вниз.

Склонившись к аппарату, слабо освещенному коптилкой, сидела девушка. Она сидела одна, единственная теперь на всю Вятку телефонистка, и плакала. Она уже больше ни на что не надеялась, знала: стоит ей остаться на работе — не выполнить указание старшего телефониста, как завтра же он ворвется сюда со своей компанией и расправится с ней. Уходя домой, он сказал: «Старому строю не служим, и новому — отказываемся». И он, этот эсер, сдержит свое слово. Вся Вятка ему знакома. Не сам, так других подговорит. Надо бросать все и бежать отсюда, пока жива... Но как же оставить аппараты? Растащат их... Жалко-то как... Три года с лишним здесь работала. Привыкла ко всему. И комната эта с кушеткой как родная стала... Пальцы на ощупь каждую розетку знают, каждый телефон на память помнится... А ведь в городе их не один — не два, а почти три сотни.

На лестнице слышались тяжелые шаги. Девушка невольно съежилась: уж не старший ли? Нет, он не так ходит, он тихонько, по-кошачьи подкрадывается... Распахнулась дверь, и девушка увидела на пороге высокого человека в желтой кожаной куртке, в очках с дымчатыми стеклами.

— Что это значит, товарищи телефонисты? — обращаясь будто не к одной, а нескольким телефонистам, громко спросил вошедший. — С полчаса звоню, и никто не отвечает...

— А кто же вам должен ответить? — вытирая от слез глаза, с упреком спросила девушка.

— Кто-кто, а вы... вы что же, красавица, для чего здесь? Для мебели, что ли?

Девушка, обидевшись, вскочила со стула:

— А вы кто такой?

— Комиссар почты и телеграфа Дрелевский,— приложив руку к козырьку морской фуражки, ответил тот и, увидев не по возрасту строгое лицо девушки, улыбнулся.

— Так бы сразу и сказали,— несколько оторопев, промолвила девушка.— Раз комиссар, вот и передаю вам все — комиссарьте!

— Это как то есть передаю?

— А так вот... Все до одной телефонистки сбежали. Старший-то, который эсером себя всличает, ножиком по проводу чиркнул — и свет погас... Потом, должно быть, и жилку телефонную перерезал.

— Это ерунда! — и Дрелевский, нащупав в кармане какой-то инструмент, оглянулся: — Откуда у вас тут идут провода?

Не получив ответа, он оглядел угол, затканый паутиной, взял табуретку и, поставив к стене, встал на нее. Поковырялся отверткой вверх, помурлыкал себе под нос какую-то песенку и, щелкнув выключателем, осветил комнату. Соскочив с табуретки, шагнул к девушке:

— А ну-ка, дай, браток, взглянуть на тебя при свете, какая ты есть единственная телефонистка в моем могучем трудовом коллективе? — и он посмотрел близорукими глазами через темные очки на девушку.

Русые, почти льняные волосы ее коротко подстрижены. Лицо круглое с небольшим, чуть вздернутым носом. И глаза... карие, как цвет кедрового ореха. Глаза смотрели на Дрелевского прямо и доверчиво.

— Не могу я больше тут... Убить собираются,— призналась с тревогой телефонистка.

— Кто?

— Да все те же... Из окна обещали выбросить...

— Ничего, ничего...

— Это вам ничего. С револьвером таким. Да и рост у вас подходящий — дяденька достань воробышка. А я ведь, видите, кнопка.

— Это ничего, что кнопка... Звать-то тебя как?

— Машей.

— Вот что, Маша... Никуда мы с тобой отсюда не уйдем. И не выбросят нас, не-е-ет!.. Да разве можно выбросить из города Советскую власть? — и Дрелевский

подсел к девушке. — Ты знаешь, кто нас сюда направил? А направил нас сюда сам товарищ Ленин!..

— Ленин? И вы видели его?

— А как же... В Смольном. Собрал он нас, моряков, и сказал: ну что ж, братишки, будет, поплавали на воде, пора и по земле походить... Осмотреть надо родную землю, чиста ли она...

— Так и сказал?

— Может, и не совсем слово в слово, а мысль была такая... Вот и пришлось ехать к вам в Вятку... Смотрю, электростанция не работает... Буржуи-то у вас добренькие оказались, малость поразрушили ее... Пришлось подремонттировать. А тут вот и телефон в порядок надо привести... Где он ножичком-то саданул?

— Да вон, средний шнур...

— Ах, вот! — Дрелевский дотянулся до шнура, ощупал его. — Верно. Жилку-то, стервец, в самом деле перерезал. Это мы сейчас, Маша... Жилка тут у нас много — всех не перережет...

Комиссар достал из кармана ножик и неторопливо начал зачищать им конец шнура. И вдруг, будто вспомнив что-то, запел вполголоса:

Соловей мой, соловей мой,
Прилетай-ка в Видземе!
Прилетай-ка в Видземе,
Голосистый соловей...

— Это что же за Видземе такая? — вслушиваясь, любопытствовала Маша.

— Видземе — это в Курляндии... Близ моей родины... Немцы захватили ее теперь... — вздохнул он. — Деревенька-то наша стоит у самого озера... И мать там, и сестренки. — Дрелевский, пригладив светлые прямые волосы, снова посмотрел на Машу. — Одна такая же, как ты... Только носик у нее не такой, ты вроде бы как курносая...

— Красивее, что ль, она?

— Обе вы красивые, Маша, — ответил Дрелевский и, продолжая работать, опять запел:

Сядь на яблонь, спой мне песню
О высокой Рижской башне...
Соловей мой, соловей мой,
Прилетай-ка в Видземе...

— Люблю песни! — остановившись, сказал он. — И стихи люблю. Особенно Яна Райниса. Знаешь? Это

мой земляк. Он у вас в ссылке. был, в Слободском...— и, чуть приподняв голову, задумчиво взглянул на висевший под потолком простенький жестяной абажур.

Лед, как ни крепок, упорства уже не умножит.
Сердце, что рвется к свободе и жизни,— сильнее!
Так не останется, так оставаться не может,
Все переменится в мире до самых корней!

Тряхнув головой, повторил:

— До самых корней!.. И жизнь будет другая, Маша, и люди пойдут другие... И у нас, на родине, Советская власть опять будет...— Он принялся снова очищать кончик шнура.— Смотри-ка, жилка-то наша вроде и срослась,— спустя некоторое время сказал он.— А ну-ка, вызови мне кого-нибудь.

— Кого?

— Ну, хотя бы товарища Попова, председателя нашего чрезвычайного штаба.

Маша улыбнулась и ловко, словно играючи, заперевирала пальцами коричневые шнуры.

Услышав знакомый голос, она отняла трубку от уха и передала Дрелевскому.

— Это я, Иван Васильевич,— сказал Дрелевский.— Звоню с телефонной станции... Ничего, познакомился со своим коллективом... Ну, что ж, братишки здесь хорошие... Да-да, понимают обстановку. Думаю, что сработаемся. А как же иначе? Спасибо, спасибо... Хорошо, найду,— и, опустив трубку и улыбаясь сквозь дымчатые очки, повернулся к Маше:— Вот видишь, телефон наш заработал, и мы с тобой получили вроде как первую благодарность. Ну, а дальше дело само собой пойдет. Сегодня направляю к тебе еще трех помощников.

— А знакомы они с телефонным аппаратом?

— Ты будешь у меня здесь начальником, вот и познакомишь... Ну, как, идет?

— Вот уж не думала...

— Что?

— Да что комиссары-то такие могут быть. Я все считала, что они больше на словах... А вы тут, смотри, и свет включили, и жилку телефонную срастили...

— И песню, добавь, спел,— засмеялся Дрелевский.

— Да, и песню...

— Только один остался должок за мной — не спля-

сал... Но это мы с тобой, Маша, потом как-нибудь, на досуге. Так, братишечка, что ль?

И, кивнув на прощанье, вышел — легкий и порывистый.

5

Дрелевский поднялся по лестнице губкома и, не задерживаясь в приемной, прошел к председателю губернского чрезвычайного штаба.

— Ну вот, Иван Васильевич, я и приступил к своим служебным обязанностям,— здороваясь за руку с Поповым, которого, несмотря на его молодость, все уважительно звали по имени и отчеству, сказал Дрелевский и кивнул головой в знак приветствия сидевшему в стороне смуглолицему, с темными усами человеку в кожанке.

— Рассказывай, как тебя встретил коллектив? — спросил Попов.

— Да вроде ничего... с энтузиазмом,— усмехнулся Дрелевский и, достав трубочку, снова взглянул на незнакомца.

— Ты не знаком? — спросил Попов Дрелевского, указав взглядом на смуглолицего в кожанке человека. — Это Ветлугин из Уржума.

— А-а, товарищ Ветлугин,— словно обрадовавшись, сказал Дрелевский и, здороваясь, добавил: — А я представлял вас совсем молодым...

— Он молодой и есть, это усы ему годов прибавляют,— заметил в шутку председатель.

— Ну, как там у вас с хлебом?

— Трудновато, товарищ Дрелевский,— ответил Ветлугин.

— Чего там трудноватого, кулачье у вас распоясалось,— упрекнул Попов. — Сегодня сообщают, что в Шалайках даже расправу над нашими товарищами учинили...

— Не иначе, Иван Васильевич, мне придется двинуться туда со своими братишками...

— Нет, Юрий Антонович, ты здесь нам нужен. Контрреволюция тут из каждого угла выглядывает,— сказал Попов и, встав, неторопливо прошелся по просто обставленному кабинету.

Темный костюм, аккуратно облегавший плечи, белая сорочка с галстуком, пенсне с высокой дужкой. — все это

вдруг напомнило Егору Ветлугину учителя. Вот такой же в Коврижном был учитель. У того тоже было пенсне, и волосы такие же темные и прямые, зачесанные назад, и строг он был, не улыбаясь, временами даже суров, а вот — любили. Тот был математик, а этот будто бы — юрист. Приехал, говорят, в Вятку из Глазова... Учился в Петербургском университете. Потому и манеры у него уважительные.

— Так вот, товарищ Ветлугин, — сказал Попов по-прежнему строго. — Передайте своему Ложенцову: заготовок хлеба не ослаблять. Я только что вернулся из Москвы. Напортачили мы тут в Вятке с вами. Товарищ Ленин крепко с нас спросил. В самом деле, надумались повысить твердые цены на хлеб. Кому это на руку? Владимир Ильич так прямо и сказал, что эта наша вятская акция направлена против рабочих и деревенской бедноты в угоду крестьянской мелкой буржуазии...

— Так ведь предложение-то такое поддержал второй губернский съезд, — словно оправдываясь, заметил Ветлугин.

— Это было предложение левых эсеров, товарищ Ветлугин. Пробрались они на съезд и протянули явно контрреволюционное постановление.

— Левые-то левые, это верно.

— Вот и говорю, товарищ Ленин осудил нашу с вами ошибку. Постановление левозесеровское мы уже отменили. Мы с губпродкомом дали слово товарищу Ленину усилить заготовку хлеба. Хлеб-то ведь у вас в уезде есть?

— Конечно, хлеба много. Но как взять его?

— Возьмем, товарищ Ветлугин, выполним указание товарища Ленина, на то мы и коммунисты. Сегодня к вам на помощь отплывает на пароходе с баржей первый Московский продовольственный полк.

— Даже полк? — удивился Ветлугин.

— Да, полк... Шестьсот человек солдат и моряков...

— Ого-о, это, Ветлугин, вам не маленькая подмога, — ободряюще сказал Дрелевский.

— И оружие у них есть?

— А как же, все есть: оружие, пулеметы, лошади, — пояснил Попов. — Конечно, у вас расквартируется не весь полк, а только часть, остальные спустятся вниз до Вятских Полян. Так что сейчас же, товарищ Ветлугин, иди

на пристань. Разуши командира полка. Познакомься, расскажи обстановку в уезде. Командир у них военный, с сельской жизнью, вероятно, не совсем знаком. И вам ему помогать придется...

— Понятно, как же без этого...

— Надеемся на вас,— пожимая на прощанье Ветлугину руку, сказал Попов.— Помните, товарищи, что положение в стране архискверное. Питер — без хлеба. Выдают по мизерным нормам одну лишь картофельную муку. Красная столица накануне голода. У нас, на Северном фронте, положение не лучше — запасов муки на четыре-пять дней... Интервенты и белогвардейщина, конечно, учитывают все это и жмут со всех сторон... Одним словом, революция в опасности...

— Постараемся выполнить,— ответил Ветлугин и по привычке выбросил руку к козырьку фуражки.— Выполним, Иван Васильевич, ваше поручение! — взволнованно добавил он, все еще думая о трагедии, разыгравшейся в Шалайках.

«Революция в опасности,— шагая по булыжной мостовой, мысленно повторял Егор Ветлугин слова председателя чрезвычайного штаба.— Белогвардейцы наступают. Здесь, в тылу, начинается тоже чехарда. Кулачье убивает наших лучших товарищей. Неужели не устоим?» — с тревогой подумал он и, расстегнув кожаную тужурку, прибавил шагу.

Поднявшись в гору, он остановился, на минуту окинул взглядом распластавшийся внизу на косогорах город. К Засорному оврагу спускались двумя глухими посадками дома,— тут были и каменные, и полукаменные, а больше деревянные, с резными наличниками, с мезонинами да башенками наверху. Слева дома и домишки теснили под уклон Трифионов монастырь со множеством куполов, похожих на зеленые луковичы; а там, за оврагом, на дальнем холме, высился степенно Александровский собор.

— Сколько же этих храмов понастроили цари,— бросил Ветлугин и, обогнув на перекрестке церковь, на куполах которой кричали галки, направился к базарному толчку. «А живому человеку шагу не было. Но теперь наша взяла, наведем порядок»...

Вскоре показалась базарная площадь.

В праздничные дни толчок славился бойкой торговлей

деревянными поделками — пестерями, рогожами, лаптями, всевозможными детскими игрушками.

Вспомнилось Егору, как он впервые попал сюда, в город. Это было в первый год войны, его призвали в армию, и вот он в лаптях, в домотканом зипунишке пешком притопал в Вятку. До отправки по чугунке оставалось несколько часов. Вместе с другими новобранцами Егор пошел в город. Шли по рыжим глинистым косогорам, по пустырям, заросшим крапивой и бурьяном. И чем ближе подходили к площади, тем сильнее слышался какой-то свист. Оказалось, они попали на местный праздник, прозванный «Свистульей». Каждый год в один из весенних дней на базарной площади торговали только свистульками — глиняными петухами и соловейками, деревянными и жестяными рожками и дудочками. В этот ежегодный праздник свистульки покупали все — ребятишки, мужики, бабы, даже дряхлые старики, — покупали свистульки и все свистели в них — таков уж был тут обычай.

Накупили тогда свистулек и наши новобранцы, полные карманы их, шли обратно и всю дорогу свистели. Пришли на вокзал, смотрят — ни вагонов, ни паровоза.

— Просвистели, ребя, состав-то, — сказал какой-то железнодорожник с кокардой во лбу. — Сутки ждать надо.

— Не догнать, поди-кось?

— Кого?

— Паровоз-то?

— Догонишь, как же... Снимай лапти да босиком валяй, — усмехнулся железнодорожник. — Теперь в Москве объясняться придется...

— Да ну? — приуныли новобранцы, почесали бритые затылки: вот они, свистульки-то, как обернулись.

Но в Москве их и слушать не захотели, всех сразу толкнули на фронт. А там — ранение, потом окопы... В окопах и услышал Егор впервые имя Ленина. Познакомился с одним вятским — Андреем Вихаревым. Тот чуток грамотнее был Егора. И старше его. Вместе с ним и встретил Егор революцию. Думал, домой вернутся — полегче будет. А тут почище карусель закрутилась...

«Революция в опасности, — опять вспомнил Ветлугин. — Но все ли понимают, что революция в опасности? Нет, не все... Вон в городском саду гремит какая музыка. И пляс стоит... Видать, тут еще не всех буржуев прижали. Веселятся, черт возьми!..»

Мимо прошли военные по двое в ряд. За ними увязались какие-то бабы в лаптях с мешками за плечами. Следом по деревянным мосткам протопал звонкими каблуками попик в длинной рясе...

«Ничего, Егор,— стараясь отогнать от себя нахлынувшие тревожные мысли, не сдавался Ветлугин.— Подмога у тебя будет. Теперь возьмем хлеб... Поддержим Питер...» — и, бросив укоризненный взгляд на праздню разгуливающих у городского сада кавалеров с дамами, вдруг подумал об Азине. «Он бы живо распознал, кто вы такие, чем занимаетесь!»

Недавно ему рассказали, что прибывший из Москвы красный командир Азин приступил к формированию вятского отряда, который должен отправиться на фронт против белочехов. Однажды Азин оцепил сад и начал проверять угуляющих документы. И что же, среди галантных кавалеров оказалось немало царских офицеров, укрывающихся от мобилизации и, как потом выяснилось, готовивших в городе восстание. Рассказывали, будто бы одна из дам возмутилась действиями Азина и пообещала пожаловаться мужу, который, по ее словам, состоял на руководящей должности. Среди задержанных офицеров пошло оживление, начался ропот, и операция с проверкой документов чуть не сорвалась. Но вдруг рассерженный Азин крикнул: «Ну и жалуйтесь!» — и, выхватив кавалерийскую плетку, хлестнул даму пониже пояса, добавив: «Если бы ты была жена руководящего работника, не шлась бы с белогвардейской сволочью». Это подействовало на всех — задержанные офицеры повиновались.

Было ли все это, Ветлугин толком не знал, однако ему сейчас хотелось верить, что это было именно так, и так следовало поступать. Ведь революция в опасности, и тут нет пощады врагам, не должно быть снисхождения и их подпевалам. Иначе схватят все эти мироеды революцию за горло и расправятся так же, как расправились с нашими товарищами в Шалайках...

Среди валявшихся на обочине дороги каких-то бумаг Ветлугин увидел большой лист. Он остановился и прочитал: «Приказ о мобилизации трудящихся в ряды Красной Армии...»

«Сорвали, черти!» — и, увидев человека в жилетке, сидевшего напротив возле дома со львами на воротах, спросил:

— Твой дом?

— Пока что мой...

— Так что же ты это, жилетка? Так, значит, ты читаешь приказы нашей революции? — и, схватившись за револьвер, Ветлугин подступил к нему. — А ну, мигом вешай, а то душа из тебя купеческая вон!

Жилетка не на шутку струсила и услужливо бросилась подбирать приказ.

— Да выше вешай, выше. Распустили вас тут! Под музыку вон пляшете, а питерский рабочий голодает...

— Понятно, товарищ комиссар...

— Вот так, — оглядывая водруженный снова на стену лист, сказал Ветлугин. — И не смей, жилетка, сбрасывать наши революционные приказы!

Где-то за садом раздался глухой гудок парохода. Егор погрозил домовладельцу, сдернул с плеч тужурку и бегом бросился Раздерихинским спуском к пристани.

Баржа, стоявшая у пристани рядом с пароходом, была переполнена. Люди были и на пароходе, и на берегу: папахи и серые солдатские шинели, картузы и гимнастерки, матросские бескозырки и бушлаты — все перемешалось, все двигалось, оживленно гудело.

Запыхавшись, Егор подбежал к трапу и, вскочив на него, ринулся вперед.

— Куда лезешь? — остановил его здоровенный моряк.

— Мне командира вашего.

— А зачем тебе командира? — спросил равнодушно тот и спокойным взглядом окинул гудевший берег.

И эх-х, баклажечка звонкая,
Звонкая да медная,
Медная, с дымком...—

будто разыскивая эту баклажечку на берегу, затянул вполголоса моряк.

Потом, словно убедившись, что его баклажечку подхватили другие, взглянул на Ветлугина.

— Самого Степанова, что ль? Так вон он, командир-то наш, — и он опять указал взглядом на берег. — Во-он, тот, что в ките.

И, покончив разговор с Ветлугиным, опять выдохнул:

И э-э-х-х, медная, с дымком...

Песня, как бы обретя крылья, взметнулась над палу-

бой и, откатившись за борт, многоголосо поплыла вдоль берега:

Медная, с дымком,
С горьким дымком,
С крутым кипятком...

Протискиваясь сквозь гудевшую толпу, Егор спешил за командиром, стараясь не выпустить его из виду.

— Товарищ командир,— пробравшись наконец к нему, козырнул Ветлугин.— Разрешите обратиться.

— В чем дело? — остановившись, сухо спросил Степанов и поднес два пальца к козырьку фуражки.

— Я из Уржума, продкомиссар...

— Комиссар по продовольствию? — словно удивившись, переспросил Степанов, и угрюмоватые глаза на скуластом, пышущем здоровьем безусом лице вдруг затеплились веселым блеском.— Ну что ж, рад познакомиться. Вы тоже, полагаю, едете с нами?

— Да, я только что из губкома,— ответил Егор.— Сказали, что вы отправляетесь к нам, вот я и...

— И хорошо, что пришли. Прошу ко мне в салон.

— Спасибо,— поблагодарил Ветлугин и, кивнув в сторону баржи, не без одобрения добавил: — Веселый, видать, подобрался у вас народец.

— Да, народ у меня бывалый,— с достоинством согласился Степанов и, слегка прихрамывая на правую ногу, свернул к пароходу.

А над вятским причалом все шире и шире разгоралось задорное:

И эх-х, с крутым кипятком,
Да без за-ва-роч-ки-и...

6

В салоне все — и скатерть, и полотняные чехлы на диване и двух креслах, стоящих по углам, и легкие шелковые шторы, закрывающие окна,— все было непривычно для Егора Ветлугина, сковывало его. Он в своей поношенной солдатской одежде сидел на краешке дивана и, слушая командира полка, казалось, боялся двинуться.

Степанов, откинув крупную голову с коротко стриженными русыми волосами, одной рукой расстегнул ворот хорошо пригнанного офицерского кителя, другой стряхнул в блюдце пепел с папиросы.

— Итак, как я понимаю, хлеб в вашем уезде есть? — спросил он испытующе.

— Лет на пять, товарищ Степанов, хлеба тут хватит, — ответил Ветлугин. — По десять годов кой у кого скирды стоят, почернели, проросли уж все...

— Так чего же вы медлите? Надо реквизиловать! Разве вы не знаете, что Москва и Питер ждут его.

— Знаем, но взять-то хлеб быстро не можем... Товаров у нас на обмен мало. К тому же, и кулачье сопротивляется. Вон в Шалайках на днях четверых наших товарищей убили...

— Даже до этого дело доходит? — настороженно заинтересовался Степанов.

— В том-то и дело, что кулаки за оружие берутся. А у нас сил маловато, — пожаловался Ветлугин. — Есть у нас вон такой Сбоев, так этот Сбоев, не поверите, волисполком, и тот чуть не разогнал.

— Как же это могло произойти? — снова удивился Степанов. — А беднота, так сказать, опора нашей новой власти, где была?

— Подкуплена там беднота.

— Вот как! Любопытно...

— Дело в том, что этот Сбоев старый предприниматель, пимокатную имел. Держал наемную силу. Мы стали именем революции братья за него, а он собрал бедняков, открыл свой склад и раздал им бесплатно восемьдесят пар валенок. А те за бердаши — и в волисполком: не троньте, мол, Сбосва, он о нас денно и ночью печется...

— И чем же кончился этот инцидент?

— Пришлось опять-таки военкому вмешиваться, — ответил Ветлугин. — Военком-то у нас местный, только таких военных из народа еще мало. Некому еще держать дисциплину. А наш товарищ Ленин как об этом говорит: либо мы подчиним своему контролю мелкого буржуа, либо он скинет нашу рабочую власть, как скидывали революцию разные там Наполеоны и Кавеньяки...

— Кто же это такие — Кавеньяки? — слегка улыбнувшись, поинтересовался Степанов и достал из кармана блестящую зажигалку.

— Наполеоны — это понятно, — сказал не задумываясь Ветлугин. — Ну, а Кавеньяки... по-моему, они все такие же контрреволюционеры, что и наша белоофицерская

сволочь... Все эти сынки купеческие да поповские и прочие...

— Разрешите, однако, вам заметить: как известно, большинство офицеров уже прочно встало на сторону революции,— спокойно и твердо сказал Степанов.— Не скрою, я тоже в прошлом офицер старой армии, но смею уверить, вместе с другими делал эту революцию. Если б не ранение, я бы и теперь не здесь был...

— Конечно, я же не обо всех говорю,— поправился Ветлугин и не без любопытства взглянул на Степанова.

Широкое и открытое, без единой морщинки лицо его — Степанову было не больше тридцати восьми — со-рока — вызывало доверие и располагало к откровенности. Егор хотел спросить командира полка, где тот воевал, но в этот момент отворилась дверь, и в салон вошел тот самый матрос, который остановил его на трапе. В руках он держал два чайника, один побольше — с кипятком, другой маленький — для заварки.

— Наконец-то и чай! — всесло воскликнул Степанов и, встав, оживленно потер руки.— А ну-ка, Малыш, нет ли у нас в закромах чего-нибудь погорячее?

«Малыш» — он был выше командира на полголовы — склонился к саквяжу, стоящему у двери, щелкнув замком, достал оттуда граненую бутыль из темного стекла, выложил на стол кольцо колбасы, хлеб. Потом поставил тут же два стакана, две с золотыми ободками рюмки и, спросив, не надо ли еще чего, вышел.

— Женщины всегда предусмотрительнее нас, мужчин,— откупоривая бутыль, пояснил Степанов.— Поехал вот, а жена, как видите, ничего не забыла... Да вы подвигайтесь к столу, комиссар, не стесняйтесь, теперь работать нам вместе придется.

Наполнив рюмки наполовину спиртом и разбавив его водой, Степанов взял одну из них и, подняв, залюбовался стайкой пузырьков, взметнувшихся со дна.

— Итак, за наше знакомство, комиссар!

Блеснув крепкими зубами, он опрокинул рюмку в рот, приятно крякнул и, взяв бутерброд с колбасой, принялся есть.

— А скажите, пожалуйста,— спустя некоторое время спросил он,— в такой обстановке, я полагаю, нелегко приходится вашим руководителям? В губисполкоме товарищи рассказывали мне кое-что. Но вы живой свиде-

тель... Участник, так сказать, становления на местах новой жизни.

— Видите, какое дело,— опорожнив рюмку и взяв кружочек колбасы, начал Ветлугин.— Разные у нас в Уржуме люди. Председатель Ложенцов — коммунист. Военком тоже... А вот, скажем, Сипягин... Парень он хороший, и матрос, а эсер... левый эсер...

— Ну, а вы, комиссар, кем себя считаете? — полушутя-полусерьезно спросил Степанов.

— Я... Я, конечно, во фракции Ложенцова.

— У вас даже и фракция своя! — со скрытой усмешкой воскликнул Степанов и откинул крупную голову на спинку кресла.— Да разве при таком соотношении сил может вам помешать какой-то один-единственный эсер Сипягин? К тому же вы сказали, что он еще и матрос, по сути своей — революционная косточка...

— В том-то и дело, что косточка, да не та... Еще и покрупнее кости тут есть. Местная-то буржуазия почти вся в эсеры переметнулась. Один Березинский чего стоит... Этот риторик везде со своими речами лезет.

— Как-как? Риторик, вы сказали?

— Да... Очки такие носит, без оправы,— немного смутившись, пояснил Егор.— Вот и получается: и с кулачем бороться надо, и с эсерами... А эсеры эти да разные там максималисты — это же знаете что за люди? Прямо надо сказать, они языком побойчее нас, потому — из интеллигенции больше. Только и мы не падаем духом, не сдаемся, одним словом. Вот еще прибудете вы — силы у нас хватит обуздать контрреволюцию. Мне в штабе председатель говорил о вас. Он так и сказал: держите, мол, связь, при случае опирайтесь...

— Конечно,— подтвердил Степанов и, закулив, подошел к окну, приподнял шелковую штору.

В разговорах они не заметили, как подступил вечер. В темном проеме окна по еле заметно мерцавшим огонькам угадывалась на высоком обрывистом берегу какая-то деревня. Из-за горы выплыла луна, желтая и круглая. От нее по воде пошел золотистый столб; перегородив реку, заиграл на перекате блестящей чешуей. Пароход, отчаянно хлопая по воде плицами колес, казалось, пытался догнать и смять эту золотистую полосу, а она все уплывала и не давалась.

— Вятка...— в раздумье произнес Степанов.— Я чи-

тал где-то, что ваша Вятка унаследовала свое название от племени вяда, которое будто бы в глубокой древности обитало здесь в верховьях реки...— И, взглядываясь в прибрежные кусты, добавил: — А что, сдается мне, и впрямь красивая эта река — Вятка. И берега обрывистые... И леса, леса... Такое видишь только у нас, в России...

Докурив папиросу, он вернулся к столу, раскрыл планшет и, аккуратно развернув карту, оперся о стол сухлыми ладонями с растопыренными пальцами.

— По-вашему, где мы идем? — спросил он, не поднимая головы от карты.

— По времени Котельнич должен быть, — ответил Ветлугин.

— Да, вот он, Котельнич, — ткнул пальцем в карту Степанов. — Единственная, так сказать, наша железнодорожная магистраль, связывающая Север с центром России, — и, помолчав, будто спросил самого себя: — Может, проще хлеб отгружать на Вятские Поляны, а не на Котельнич? — он вопросительно поднял глаза на Ветлугина. — Однако... однако... чего же спешить. Приедем на место, обсудим все, изучим обстановку...

Степанов достал из кармана записную книжку в коленкоровом переплете и, полистав, остановил взгляд на карандашных записях, сделанных наспех вчера в губисполкоме. Только сейчас, при чтении этих коротких записей, он почувствовал, какое большое стратегическое значение представляет собой эта лесная мужицкая губерния.

Железнодорожная магистраль точно тугим поясом перехватывает ее с запада на восток, соединяет центр с Уралом и Сибирью... В губернии двенадцать крупных уездов, они вбирают в себя 135 тысяч квадратных верст. «Это же целое государство! — чуть не воскликнул он. — Почти четыре миллиона населения! Четвертую часть можно сразу же поставить под ружье. А какие таятся тут продовольственные ресурсы?! Миллионы и миллионы пудов хлеба лежат у мужика... Мясо, кожи... Все, все поставить на карту... Поставить и выиграть».

Степанов закрыл книжку и, взглянув на хмурившегося Ветлугина, покровительственно добавил уже вслух:

— Уморились? Располагайтесь, комиссар, тут на диване... Вы дома, а дома хорошо спится, не правда ли?

На другой день после того, как полк прибыл в Уржум. Степанов направился в уездный исполком. Председателя он застал у себя — Алексей Никитич Ложенцов только что вернулся из поездки и, не успев раздеться, был в своей поношенной кожаной тужурке и солдатском картузе.

Когда вошел Степанов, Ложенцов встал, шагнул навстречу.

— Если я не ошибаюсь, имею дело с командиром продовольственного полка? — спросил он, здороваясь.

— Так точно, — ответил Степанов, удивившись такому, несколько необычному, обращению к нему.

— Ветлугин мне сообщил, что вы уже расквартировались, — сказал Ложенцов и, словно извиняясь, добавил: — Сам я, к сожалению, не мог встретить, был в отъезде.

— Не беспокойтесь, все устроились хорошо, я благодарен вашим товарищам, — промолвил Степанов, вглядываясь в скуластое, с небольшой темной бородкой лицо Ложенцова. — Особенно я признателен товарищу Ветлугину, с ним я еще на пароходе имел честь познакомиться, — и, присаживаясь к столу, пояснил: — Для вашего сведения, штаб моего полка с главным отрядом расположен здесь, в городе, второй отряд, во главе с командиром Оленевым, направлен в село Коврижки, одна рота отправилась к Русскому Туреку. Остальные несколько мелких отрядов мы намерены послать в другие волости...

— Ну что же, не возражаю, — согласился Ложенцов. — Это большая нам помощь. Скажу вам, здешние плотненькие мужички крепко сопротивляются.

— Вернее, не мужички, а кулаки, — усмехнувшись, поправил Степанов и, достав предписание Наркомпрода с просьбой оказывать полку содействие, протянул его председателю.

— Я и говорю, что плотненькие, — принимая бумагу, ответил Ложенцов. — Только что я вернулся из одной деревни... Там эти плотненькие создали банду и убили несколько наших товарищей.

— Я уже слышал о жертвах, — заметил Степанов. — Однако мы противников Советской власти, надеюсь, поставим уважать наши требования, — и, взглянув на Ложенцова, который неуклюже нацеплял на нос очки

с металлическими дужками, подумал: «Волостной староста, не больше. Таким бы не хлеб заготавливать, а коров пасти... Может, это и к лучшему, всю заготовку мы возьмем в свои руки...»

Степанов достал из планшета карту губернии, на которой значились его карандашные пометки.

— С вашим Ветлугиным я уже рассмотрел некоторые опорные пункты уезда. Вместе с ним наметили, куда поедут наши люди. Но мне не совсем понятно, товарищ председатель, почему он нам не рекомендовал ехать в ряд прибрежных населенных пунктов?

— Видите, в чем дело,— возвращая документ, сказал Ложенцов.— В этих деревнях уже работают продотряды губисполкома...

— И что же?

— Мы считаем, что в основном они неплохо справляются. И прибытие ваших представителей может повлиять... вызовет, так сказать, параллелизм в работе.

— Не думаю,— возразил Степанов.— К тому же, насколько я понимаю, все, что находится в пределах нашей дислокации, мы, как специальный полк с особым целевым назначением, должны подчинить себе...

— Ну, нет, товарищ командир, мы этого не можем вам разрешить,— вскинув голову и сняв очки, настороженно произнес Ложенцов.— У нас есть решение губисполкома, и мы будем там сами продолжать заготовку хлеба.

— Для кого, позвольте узнать? Для себя? — холодно спросил Степанов и увидел, как светло-голубые доверчивые глаза Ложенцова изменились, стали твердыми и неуступчивыми.

— Ничуть нет,— ответил Ложенцов.— Забывать не надо — рядом у нас Северный фронт...

— Это что же, местнические настроения? — стараясь повернуть собеседника, упрекнул Степанов.— Ужели не ясно, что хлеб в первую очередь надо двинуть для спасения голодающего Петрограда, Москвы...

— Знаем, товарищ командир, и уже помогаем. На днях мы отгрузили Петрограду с пристани Русский Түрек пять тысяч пудов ржи.— Пошарив близорукими глазами по столу, Ложенцов взял телеграмму.— Вот подтверждение... Что же касается дальнейшей работы, то я считаю, что свертывать работу наших отрядов мы

и в дальнейшем не будем. И передавать хлеб кому-либо без соответствующих нарядов не собираемся.

— Жаль, очень жаль,— насупился Степанов и, закрыв планшет, встал.— Я не думал, что наша встреча кончится так неожиданно. Однако разрешите вам, товарищ председатель, заметить, что и мы не обязаны поддерживать ваши местные соображения.

— Как так соображения?— вспыхнул Ложенцов и тоже встал, одернул свою тужурку.— У нас не соображения, а решение губисполкома...

— У меня, товарищ председатель, полномочия Москвы, как вы изволили прочесть в документе,— с твердой решимостью не уступать ответил Степанов и, приложив руку к козырьку фуражки, молча вышел.

Ложенцов с минуту постоял, будто оценивая, что же между ними произошло, потом повернулся к окну и, увидев на улице слегка прихрамывающего Степанова, неприятным взглядом проводил его со двора.

— Ты знаешь, Егор...— выйдя в приемную и увидев Ветлугина, сказал Ложенцов.— Ты знаешь, командир-то этот, кажется, хромает на обе ноги... Сам еще не начал заготовку хлеба, а уже на наш хлеб нацелился. Вот тебе и помощь...

— Как так нацелился?

— Собирается воспользоваться заготовленным нами хлебом.

— А они сюда для чего приехали?

— Вот именно...— Ложенцов поправил на боку маузер.— Нет, дорогие товарищи, поработайте сами, для этого вы и присланы к нам. Это проще — взять да отгрузить готовенький хлеб, мы и сами отгрузим не хуже вас,— и вышел из комнаты.

Через несколько минут он вернулся, сказал:

— Надо об этом, Ветлугин, поставить в известность командиров наших отрядов, чтоб они ни в коем случае... И пусть эти приезжие не думают о себе лишка... Видали мы тут всяких...

И снова вышел.

Ветлугин вспомнил, как Степанов живо интересовался работавшими в уезде продотрядами, расспрашивал о том, сколько заготовлено хлеба. «Зря, видно, я ему обо всем рассказал,— подумал он, чувствуя, что зародившееся при встрече доверие к Степанову начинает

таять.— И в самом деле, сюда уже наведывались всякне...»

Вспомнилось, как весной приезжала одна комиссия, и тоже с московским мандатом. Занималась эта комиссия реквизицией имущества богачей. Но во время изъятия ценностей купца Сундырева члены комиссии крепко поспорили между собой. Узнал об этом Ложенцов, заинтересовался и, заподозрив, что дело у них не чисто, на свой риск распорядился всех их арестовать. И что же? Арестованные оказались грабителями с подложными документами...

«Прав Никитич, если приехали помогать — помогайте... считайтесь с местной властью», — согласился с Ложенцовым Ветлугин и, вспомнив Ксену, пожалел, что напрасно он порекомендовал Степанову остановиться у них на квартире.

8

Сразу после разговоров с Ложенцовым Степанов вернулся в штаб, который располагался рядом с исполкомом. Пройдя в угловую комнату с окнами, выходящими на перекрещивающиеся улицы, он бросил на стол планшет и вызвал к себе комиссара Хомака. С политкомиссаром Степанов был еще мало знаком. Познакомился с ним он в Москве. Хомак рассказывал о себе скупое, говорил, что он где-то на Украине до войны учился по коммерческой части, потом был призван в армию, ранен, а затем — послан на заготовку хлеба. И вот сейчас — комиссар продполка. Что это за комиссар, Степанов толком еще не знал, он только начинал к нему присматриваться. И теперь ему захотелось выслушать его мнение о разговоре с Ложенцовым.

Когда вошел Хомак, высокий и бравый, в синих, с широкими карманами галифе, Степанов встал и, скрывая волнение, окинул его взглядом. Из-под фуражки комиссара с приплюснутым лаковым козырьком лихо выбивался смоляной чуб. Задержав взгляд на рыжей кобуре, прицепленной к ремню, Степанов будто между прочим спросил:

— С заряженной обоймой?

— Конечно же, товарищ командир.

— Вот-вот, будьте начеку. Я только что из унполкома... И скажу, комиссар, смотреть нам придется в оба...

— Я уже слышал о Шалайках.

— Шалайки — это только эпизод. По-моему, здесь и в исполкоме не все в порядке...

— Разве?

— В какой-то мере их можно понять, люди здешние и, конечно, судят со своей местнической позиции, — не спуская пристального взгляда со своего комиссара, пояснил Степанов. — Одного лишь они не понимают, что мы им не подчинены. Будете у Ложенцова — учтите. На цыпочках ходить перед ним не станем. Задача нам ясна: выкачать хлеб для спасения столицы. Этому нужно подчинить все. Весь хлеб, находящийся на территории уезда, нужно взять в свои руки. Даже, может, придется конфисковать и заготовленный другими отрядами.

— Но ведь здесь, как вы сказали, возражают...

— Не забывайте, комиссар, что у нас шестьсот штыков, восемь пулеметов, пятьдесят кавалерийских лошадей. Это же, полагаю, не игрушки, — он слегка усмехнулся, продолжая прошупывать глазами своего комиссара. — Их доверили не кому-нибудь, а нам с вами, мы должны их использовать и, если потребуется, подавить сопротивление военной силой.

— Согласен!

— Вот и отлично, — потеплел Степанов. — Я сегодня же даю распоряжение начать повсеместно заготовку, чтоб в кратчайшие сроки реквизировать в зоне нашей дислокации весь наличный запас хлеба.

— Что-то придется, вероятно, и оставлять на продовольствие?

— Об этом нечего нам беспокоиться. Об этом пусть беспокоятся мужики, пусть обмолачивают скирды... Обмолотят — посмотрим, что можно оставить, а что и взять из вновь обмолоченного хлеба. Так-то будем действовать, комиссар!..

День за днем быстро летело время. Вот уже остался и петров день позади — опало с берез по листу, придет Илья — опадет по два. Не успеешь управиться с сенокосом, а там, гляди, и страдник подойдет, самое жаркое время года. А нынче, по всему видать, лето будет особенно жарким...

Ложенцов только что вернулся из очередной поездки по уезду. Вернулся усталый и встревоженный. Последние две ночи он почти не сомкнул глаз. По деревням ползли слухи, вот-вот надо ожидать белочехов и на Вятке,— крышка тогда большевикам... Еще сильнее ухватились богатенькие мужики за свой хлеб, оживились эсеры, а бывшие офицеры — сынки купцов и попов — принялись тайком собирать по деревням винтовки и дробовики.

Ложенцов снял с себя патронташ, отцепил от ремня гранату и, расстегнув тужурку, подошел к карте, висевшей на стене. Отыскав жилу железной дороги, он прикинул расстояние от Казани до Арска и, покачав головой, тотчас позвонил по телефону военкому. Но того на месте не оказалось, и Ложенцов попросил зайти к себе своего заместителя Сипягина.

Сипягин — как все его звали в Уржуме, «матрос Сипягин» — был коренаст и угловат. Одет он был в матросскую форму — черный бушлат, бескозырку, ходил по земле так же, как, бывало, ходил по палубе корабля, немного сутулясь и раскачиваясь. Войдя в кабинет и взглянув в обветренное скуластое лицо председателя, заинтересовался, с какими новостями вернулся тот из уезда.

— Плохо заготавливаем хлеб,— ответил устало Ложенцов и сказал, что эсеры вместо помощи потворствуют кулакам, подрывают основы завоеваний пролетариата.

— Ну, вы в этом напрасно нас обвиняете,— вспыхнул Сипягин.— Еще не известно, товарищ Ложенцов, кто больше положил сил для революции. Матрос Сипягин из-под Лажа знает, за что расстреливал прогнивший старый строй, и готов отстаивать завоевания революции до последней капли крови.

— Похвально, похвально,— ответил обычной скороговоркой Ложенцов.— Но мы должны подумать о том, готовы ли уже сегодня отразить белочехов?

— Белочехов? — Сипягин недоуменно пожал плечами.— Особой тревоги, по-моему, они пока не вызывают...

— Ты так думаешь? — уставился маленькими цепкими глазами на него Ложенцов.— А знаешь, кое-кто тут уже пироги печет...

— Но ведь и мы, Алексей Никитич, не дремлем,— по-прежнему спокойно заметил Сипягин.— У нас есть караульный отряд. Плюс — полк продовольственников.

Это же реальная сила. Да к тому же — добровольные дружины...

— Не повернули бы караульщики оружие против нас, — ответил Ложенцов и стал набивать табаком трубку. — Помнишь, как встретили в Пенькове Ветлугина?

— Так это ведь товар-то на хлебообмен кулаки тогда отняли...

— А давно ли вы, социалисты-революционеры, утверждали, что у нас нет классовой борьбы? — не без иронии заметил Ложенцов и снова, подойдя к карте, ткнул в нее изогнутым чубуком. — Надо учитывать, Сипягин, что обстановка в стране с каждым днем осложняется. Читал сообщение с фронта? Белые банды подходят к Казани. А там недалеко и до нас, — он прочертил чубуком по карте к Вятке и перевел взгляд на своего заместителя. — Вы вот возлагаете надежды на продовольственный полк... А не подведет нас этот Степанов?

— Не думаю, чтобы подвел. Среди них есть и наша братва. Уж кто-кто, а моряки-то с нами заодно должны быть...

— Должны-то, конечно, с нами, — пощипывая длинными пальцами мягкую темную бороду, согласился Ложенцов. — Но состав-то у них, по-моему, пестренький подобрался. Я присматриваюсь к ним и вижу, там такие отпетые элементы есть, что, пожалуй, не уступят нашим врагам.

— Будем призывать таковых к порядку...

— Но как? Они же не под нашим началом, — заметил Ложенцов. — И к тому же... мне не нравится их поведение. Не я один замечаю. Ветлугин то же говорил, — и, взглянув в окно, увидел всадника. — А вот и сам Егор! — обрадовался он. Оглядывая, как тот подъехал к крыльцу, подумал: «И ловок же в седле, точно впаянный. Я вот не могу так... Годы сказываются, что ли? Хотя какие еще мои годы — сорок лет».

Минуту спустя в кабинет вошел порывистый Ветлугин.

— Это же черт знает что такое! — воскликнул Егор взволнованно. — Это же дневной разбой, товарищи! — и, выхватив из кармана гимнастерки бумагу, бросил ее на стол. — Читайте, чем тут занимаются степановские продовольственники! Дошли до того, что даже, не стесняясь, анархистами себя называют...

— Вот видите, мои опасения подтверждаются,— Ложенцов потянулся к бумаге.— Что они там натворили? Да ты, Егор, сядь, успокойся...

— Не могу спокойно, Алексей Никитич. Я ведь с ними на пароходе ехал, а потом нахваливал вам, мол, боевой народ, а они вон что творят,— и дрожащими от возбуждения пальцами принялся свертывать сигарку.

— Мы же вам говорили, не надо эти отряды посылать к мужику,— сказал Сипягин.

— А хлеб? Кто хлеб для Петрограда заготовлять будет? — спросил строго Ложенцов.— Вы, социалисты-революционеры, и тут руки умыть собираетесь, что ли?

Натянув на нос очки с металлическими дужками, он принялся читать про себя, но вскоре, будто спохватившись, сказал:

— Слушайте, да тут и впрямь черт знает что! Вот: «По прибытию моему из разъезда по делам службы, ввиду назначения на сис число выдачи продовольственного пособия солдатским семьям и разложившись за своим столом с названными деньгами, которые были в незакрытой шкатулке на столе, я приготовился выдавать вышеуказанное пособие. Ко мне является солдат в белой папаше. Подал записку, в которой требовалось доставить немедленно: хлеба, мяса, яиц и молока. На этой записке я написал, что ежедневной торговли как мясом, так и молоком в нашем селе не производится, то я удовлетворить вашего требования немедленно не могу. Солдат с этой запиской ушел и через несколько минут вваливается в канцелярию комитета целый отряд солдат вооруженных, которые с винтовками, а некоторые с револьверами и шашками, с карабинами, с ручными гранатами за поясами. Выдающий себя за командира отряда показал мне записку и говорит: «Это ты написал?» Я признался, что записка подписана мной. Тогда он, стиснув зубы и не говоря ни слова, ударяет меня по щеке, другие во весь голос закричали «бей его», и в тот же момент подскочили несколько солдат и начали наносить удары кто ручкой револьвера, кто стволом, а кто ложею от ружья, так что я потерял сознание, а вынутые мною деньги остались на столе в шкатулке».

— Вот сволочи,— не сдержал возмущения и Сипягин.— Мы же давно говорили, что из мужика жилы тянут... Да таких надо стрелять на месте!

— Обожди, обожди, ты еще мужика не знаешь, мужик неоднороден,— и Ложенцов, перевернув страницу, заинтересовался: — Кто же это пишет-то?

— Председатель волисполкома,— попыхивая сигаркой, ответил Ветлугин.— Под этим актом вся деревня, от мала до велика, подписалась.

— Бе-зо-бра-зие,— протянул Ложенцов и, поправив на носу очки, снова уткнулся в письмо.

«...Меня как бы арестовали, увели к кулаку и посадили в голбец, на отсидку,— продолжал он вслух.— Затем приходят ко мне несколько солдат, требуют от меня ключи от кассы, я им сказал, что ключи вам отдать не имею права, так как деньги не мои, а казенные. Тогда они мне стали наносить разные угрозы, наставляли револьвер в упор, говоря, что сейчас тебе пулю в лоб, но я невзирая на это истязание все-таки сказал, что ключи могу отдать только кому-нибудь из членов исполкома или кому поручит народ. Тогда они схватили меня самым небрежным образом, повели обратно в здание исполкома, там уже членов исполкома никого не было, только видно было, всюду разбросаны вещи, и секретарь исполкома Масленников принимал от них оставшиеся от меня суммы. Затем я выложил ключи от сундука, находящегося в канцелярии комитета, на стол и имеющийся в кармане брюк бумажник с казенными деньгами. Вероятно, некоторые подозревали, что у меня в другом кармане находится револьвер, и поэтому солдат без всякой церемонии залез ко мне в карман, где находился кошелек с собственными деньгами в сумме шестидесяти пяти рублей, и взял себе. И затем повели меня обратно в кулачий голбец под ружейной стражей.

Когда меня отпустили на волю из-под стражи, то в жилом помещении оказалось, что вещи все мои разбросаны по комнате, машинка для стрижки волос похищена, а также похищены две бритвы с приборами, одна моя, другая товарища, члена исполнительного комитета Гурня Редькина, а также похищены все запасенные для себя и членов комитета съестные припасы, в том числе немного распчатого кирпичного чаю, затем в сторожевской комнате сломан наружный замок у шкафа и из шкафа похищены находящиеся в таковом деньги четыре рубля пятьдесят копеек, принадлежащие сторожу Димитрию Вшивцеву, каравай хлеба и яйца, так как все

члены и рассыльные из здания комитета от испуга разбежались, а солдаты разгуливали по всем комнатам и что подходящее брали себе, ни с чем не считаясь, причем забраны четыре казенные волостные револьвера с патронами, винтовка и три дробовика. У писца Федора Прилукова из членской комнаты взят жилет с находящимися в кармане такового серебряными часами. Быть может, похищены и еще какие вещи, но которых пока еще не хватились или нет их владельцев здесь.

Со стороны торговцев последовали заявления: Иллариона Шишигина, что у него взято четыре пуда ржаного хлеба. Новоселова — мяса два пуда четыре фунта, копторы местного кооператива кредитного товарищества — взят ящик яиц в количестве четыреста сорока штук, десять четвертей молока выпито, за что не уплачено ни одной копейки, невзирая на то, что все вышеизложенные продукты были доставлены членами исполкома, которым было дано распоряжение под страхом смерти собрать молоко от обывателей села для отряда, за что также обещаны деньги. Многие приносили молоко, не оставляя для собственного пропитания, но деньги не получали, а крики из-под выпитого молока разбивались солдатами вдребезги. Некоторые солдаты ходили по селу и требовали белья и полотен и получали таковые, но на каких условиях, пока не выяснено, а потому постановлением вышеизложенное записать в акт и выразить командиру Оленеву со всем его отрядом гнусное порицание».

— Ну, как? — нетерпеливо спросил Ветлугин, когда Ложенцов закончил читать.

— За такие проделки, браток, их надо теперь же к стенке, — сжимая от возмущения кулаки, ответил Сипягин. — Поручите мне, я быстро разведу.

— Спокойно, спокойно, — остановил его Ложенцов. — Прежде всего, этот акт должен стать предметом серьезного разговора на исполкоме. Надо вызвать на заседание не только Оленева, но и Степанова и комиссара Хомака. Хомак — вроде коммунист и должен немедленно пресечь это мародерство.

— Народ волнуется, Алексей Никитич, — сказал Ветлугин. — Надо экстренно разобраться и привлечь виновных. Рассказать правду мужикам... А то в деревнях и нас, коммунистов, начали за анархистов принимать.

— Может, среди них были и коммунисты? — усмехнулся Сипягин.

— Ну нет, этого не установлено, — решительно ответил Ветлугин и тут же добавил: — А вот ваша масть среди них, кажется, была.

— Пожалуйста, без оскорблений.

— Хватит пререкаться! — словно подводя итог разговору, оборвал их Ложенцов. — Сегодня же вечером соберемся и обо всем поговорим, — и, встав, открыл сейф, положил туда письмо.

Когда Сипягин вышел из кабинета, Ложенцов, задержав Ветлугина, сказал:

— Ты прав, Егор, за всеми тут надо глаза да глаза. Начальник-то нашего караульного отряда кто? Сипягин не зря стоит за него горой. А тот, как прежний генерал, со службы до дому в пролетке обедать ездит. Губы красит, чертов максималист, зеркальной щеточкой усы расчесывает...

10

На заседание исполкома Степанов не пошел — сослался на нездоровье, а послал Хомака. Пусть комиссар объясняется с Ложенцовым и нейтрализует возникшие недоразумения, не сумеет уладить, подерется с ним — не беда. От этого не ослабнет штабс-капитан Степанов, а, наоборот, станет еще сильнее.

Степанов задернул выцветшей шторой окно, зажег лампу; из-под абажура по комнате разлился голубоватый свет. Опустившись на мягкий диван, он вспомнил жену, высокую и статную, с большим узлом светло-русых волос на затылке, вспомнил свой двухэтажный дом с антресолями, старый сад, по дорожкам которого он бегал в детстве. С тревогой и болью подумал о том, что станет теперь со всем этим. Он, наследник дворянской ветви, приехал сюда заготавливать хлеб для спасения революции, а на Тамбовщине эта революция предает разорению самое дорогое его сердцу — родительское гнездо, которое свивалось поколениями...

Хотя Степанов частенько и говорил, что овыми руками делал революцию, но он и сам знал, что у него все было значительно проще. Поддавшись общей революционной волне, он, офицер старой армии, как и многие,

был недоволен поражением России в войне и отречение царя от престола принял, как лучший исход для спасения Родины. Приход Керенского к власти он молчаливо одобрил. Но начались новые события... Вспыхнул корниловский мятеж. Среди моряков, брошенных на подавление мятежа, оказался и Степанов. Под Нарвой его ранили в ногу, и он попал в лазарет. В лазарете и встретил он революцию, встретил ее настороженно, ни во что не веря и ни на что не надеясь. Однако новая власть крепла, с каждым днем становилась прочнее. Приглядываясь к событиям, Степанов вдруг понял, что бушующий поток революции вынес его в открытое море — от старого берега он оторвался, а к новому еще не пристал. Надо плыть, и он — поплыл... Но новый берег пугал его своей неизвестностью. Степанов чувствовал, что все то, что дорого и мило было его душе, он терял, и терял безвозвратно. Не ошибся ли? А может, совсем и не туда бы надо плыть? А куда?..

Перед отъездом из Москвы он встретил своего давнего сослуживца. Тот одобрил его поездку, однако сказал, что время суровое и надо играть... И надо помнить, что хлеб нужен не только коммунистам... Сослуживец сообщил, что он едет в Самару: «Там собираются сторонники Учредительного собрания. Назревают большие события. Жди наших вестей...»

В тревожном раздумье Степанов ехал в Вятку. Как раз в это время и поднялись белочехи. И тогда он вспомнил дружка и сам себе сказал: «Вот тот берег, к которому надо плыть». И он снова поплыл, поплыл молча, с надеждой на новые вести... А вестей из Самары не было. Надо играть и действовать... Самому действовать, плыть к заветному берегу.

Стиснув в зубах мундштук папиросы, Степанов встал, достал из планшета согнутую в несколько раз карту и, расстелив на столе, как скатерть, принялся через лупу рассматривать ее, словно стараясь разгадать, что таят в себе незнакомые названия сел и деревень, нанесенных на пестром листе крохотными кружочками. Потом, раздвинув ножки циркуля, стал измерять расстояние от одного кружочка до другого. Наконец он распрямился, поворошил коротко стриженные волосы, шагнул к окну — на подоконнике в два ряда накатом лежали яйца. Взяв яйцо, чокнул его о подоконник и, выпив, снова лег на диван.

Если белочехи до осени застрянут в Казани, как же быть с хлебом? Хлеб так и может остаться под контролем местных властей. Почему ничего не слышно из Самары? Уж не провалились ли они со своим Учредительным собранием? Надо увидеть Березинского и поговорить с ним. У него есть там связи. «Что он думает на этот счет? Что думает? Что думает?..» — неотступно преследовали мысли.

Степанов не заметил, как смежились глаза, он только почувствовал, как сладко стал куда-то проваливаться. И вдруг Березинский. На голове его неожиданно вырос большой узел светло-русых волос. На стене — знакомый ковер, на нем висит кортик в золотой оправе... Он потянулся, хотел взять кортик, но неожиданный стук в дверь подбросил Степанова. Он вскочил и, схватившись за револьвер, спросил настороженно:

— Кто там?

— Свои, товарищ командир, — отозвался за дверью комиссар Хомак.

«В этой дурацкой лесной глуши трудно понять, где свои, где чужие», — морщась, подумал Степанов и, взяв со стола карту, быстро свернул ее и сунул в ящик стола.

— Военкома мы считаем тоже своим, а он раздает оружие мужикам, чтобы те направили его против нас, — смотря на комиссара, продолжил он свою мысль.

— Возможно, вы правы, — согласился Хомак и, пройдя к столу, прибавил в лампе свету. — Бережете керосин, товарищ командир?

— А как же — народное достояние, — усмехнувшись одними глазами, ответил тот и взглянул на комиссара.

Смуглое с ястребиным носом лицо. Лихо закрученные усы. Из-под козырька фуражки выбивается смоляной чуб. Красавец, да и только! Чего ему здесь надо? Шел бы к бабам, что ли... И, желая как можно быстрее отделаться от комиссара, Степанов спросил:

— Ну, как там, успокоил своего Ложенцова?

— Еле-еле, — ответил Хомак, — они, видно, не представляют, что теперь тихо-мирно не возьмешь хлеб у мужика. — Поправив на боку маузер, пояснил: — Какой-то, понимаете, чудака написал, что наши взяли у него две бритвы... И еще что-то в этом роде...

— И как же Ложенцов реагировал?

— Возмущается, весь исполком повернул против нас.

Пришлось разъяснить, что это просто прискорбное недо-
разумение...

— Вот именно, комиссар. Из мухи не стоило бы им
делать слона.

— Я так и сказал... Хотя надо признаться, товариш
командир, что наши хлопцы и в самом деле не теряются.
Соскучились, что ли, по сладкому куску, по теплomu уг-
лу, по женской ласке?

— За каждым не уследишь, был бы хлеб взят,— от-
ветил Степанов и, будто вспоминая что-то, прикрыл гла-
за рукой.— Послушай, а ты сказал об их рабочем отря-
де? С какой стати на наш участок посылает Вятка
своих заготовителей? Они там и так сыты... Надо теле-
графировать в центр, что Вятка мешает нам в выкачке
хлеба.

Степанов, слегка припадая на правую ногу, прошелся
по комнате и, распахнув окно, выходящее в глухой сад,
поежился от ночного холодка. «Пожалуй, тут на пятач-
ке не плохо бы, на всякий случай, охрану выставить»,—
подумал он и вдруг неожиданно спросил:

— А как вел себя Сипягин?

— Сипягин? Сипягин молчал... Обвинял наших боль-
ше Ветлугин...

— Щенок,— наливаясь краской в лице, выдохнул
Степанов.— Носится на своем коне да собирает сплет-
ни.— Взяв папиросу, он постучал мундштуком о портси-
гар.— Ну что ж, спасибо за информацию, комиссар,—
и, шелкнув зажигалкой, прикурил.— Тебя, наверное, уже
давно кто-нибудь поджидает?— спросил, пряча улыбку
за голубоватыми колечками дыма.— Или еще никто не
тронул за сердце? Тогда что ж, иди, садись за «Капи-
тал»...

Когда комиссар вышел, Степанов достал из стола
карту и, развернув ее, снова принялся отмеривать нож-
ками циркуля расстояние от одного кружочка до друго-
го. Потом прошел в соседнюю комнату и сказал Малы-
шу, чтобы тот сейчас же сходил к Березинскому и попро-
сил его прийти.

— Скажи, мол, я приболел,— бросил он в напутствие.

Через час пожаловал Березинский, или, как его все
звали, Риторик,— сутуловатый, худощавый, с длинными
темными волосами, аккуратно подстриженными под
скобку.

Сняв тонкими пальцами пенсне, он протер его пестрым платком и опять ловко нацепил на переносье.

— Как известно, всегда почему-то бодливой корове бог рог не дает,— слегка картавя, первым начал он.— Днем я встретился с Ложенцовым. И представьте, что он сказал мне: ограничьте деятельность. Это он касательно моих публичных выступлений.

— Наоборот, Николай Евгеньевич, надо шире развернуть вашу деятельность...

— А что, господин штабс-капитан, есть новости? — усаживаясь поудобнее в мягкое кресло, спросил с любопытством Риторик.

— Прошу прощения, вы назвали меня штабс-капитаном, это порадовало мой слух, однако же, дорогой Николай Евгеньевич, то время не пришло еще, я по документам значусь командиром полка,— и он усмехнулся.— Что же касается сведений... Могу порадовать: интернированный чехословацкий корпус вот-вот возьмет Ижевск с огромным арсеналом оружия.

— Об этом, позвольте, Анатолий Ананьевич, я уже информирован,— и, оглянувшись, полупшепотом добавил: — Там, в городе, наши уже готовят операцию...

— Тем болсе! — воскликнул Степанов.— Как видите, обстановка располагает к действиям. И мы не должны сидеть сложа руки,— положив ногу на ногу и покачивая ею, продолжал он.— Если чехи пожалуют с низовья Вятки, что ж... мы выйдем им навстречу с хлебом-солью... И я верю в вас, надеюсь, что вы тогда будете во главе здешнего уезда. Вас любят тут, знают, ценят за ваши проникновенные выступления...

Риторик, слушая, молча улыбался: похвала штабс-капитана льстила его самолюбию. Риторик и впрямь любил поговорить, он говорил на митингах, на встречах, на балах — всюду.

— Благодарю вас за комплимент,— сказал он и, склонив голову набок, продолжал вполголоса: — Я получил от своего шефа совершенно конфиденциальное сообщение... В Самаре создан комитет членов Всероссийского Учредительного собрания...

— Так называемый Комуч.

— Совершенно правильно. В состав его вошел хорошо знакомый мне Петр Чирков. Этот комитет, на который я возлагаю большие надежды, уже устанавливает

связи. Через нас они собираются протянуть руку в Архангельск правительству Чайковского-Миллера...

— И что же вы намерены сейчас делать?

— Как вы, Анатолий Ананьевич, и говорили в прошлый раз, мы должны поднимать народ на восстание,— ответил Риторик и, приблизившись к Степанову и почти захлебываясь от возбуждения, жаркодохнул на его лоснящуюся, чисто выбритую щеку.— Нисколько не сомневаюсь в поддержке состоятельных крестьян...

— Я уже знаком кое с кем... Вот, скажем, есть такой Илья Кропотов из Коврижек. Я на днях был у него. Это, знаете ли, сила...

— Не сила, а силища, Анатолий Ананьевич. Слышал я, Ложенцов вооруженные дружины тут сколачивает... И в одну из них будто бы вошел и Илья Калиныч...

— Об этом я уже осведомлен.

— Потому и говорю, винтовочки тут в надежных руках. Да и не только здесь, Анатолий Ананьевич, нас поддерживают наши верные люди повсюду— в Яранске, Нагиноке, Прислоне... В Нолинске один Сафаней Вьершов чего стоит!.. Только подожги фитиль— и кругом запыляется. И тогда, товарищ командир полка, бог нам дорогу— на Котельнич...

Риторик все больше и больше горячился, из его рта летели брызги, и Степанов, морщась, отворачивался от него.

— Мы с вами, Анатолий Ананьевич, должны взять на себя здесь эту освободительную миссию.— Риторик вскочил с кресла и, воздев руки, опустил их на голову и принялся приглаживать волосы.— Пусть Ложенцов со своим мертворожденным парламентом заседает— бодливой корове бог рог не дает...— и вдруг замялся:— А как ваш комиссар, не помешает?

— Не та фигура, чтобы мог нам помешать,— заметил небрежно Степанов.— Такие, как Хомак, способны усыплять речами бдительность противника, и не больше. Мы же, напротив, до поры до времени будем молчать, но оружие держать при себе. Не так ли? Оружие-то ведь стреляет, а у Хомака— один маузер. Конечно, и он может ему пригодиться, чтобы пустить себе пулю в лоб...

— Совершенно правильно...

— Вот насчет Ветлугина— другое дело. Неплохо бы кое-где подбросить о нем в костер горячий уголек. Комис-

сар, мол, а с Ксенкой водится. Она дочь бывшего торговца...

— Понимаю вас, Анатолий Ананьич... Как известно, рыба портится с головы,— и Риторик деланно усмехнулся.— А ведь девчонка-то и впрямь недурна собой, а?

— Ничего... аппетитная... Но она меня интересует как морзистка... Придет время — пригодится в нашем деле,— и, взглянув на шкаф, предложил: — Может, Николай Евгеньевич, протянем по рюмочке?

— С превеликим удовольствием,— согласился Риторик.— Так сказать, за наше общее дело. Сейчас, как говорится, все, все силы на объединение... Мы должны забыть временные распри: кто эсер, кто кадет, кто кем был... У нас один общий враг — коммунисты,— принимая рюмку с позолоченным ободком, сказал он.— Я верю, что скоро на телефонных столбах будут висеть Ложенцовы...— и, подняв рюмку, воскликнул: — С нами бог! — и, запрокинув голову, Риторик блеснул тусклыми стеклышками пенсне.

Когда Риторик ушел домой, Степанов заглянул в комнату хозяйки и, увидев сидевшую за книгой Ксену, спросил:

— Не помузицируем, Ксения Павловна?

— С удовольствием послушаю, Анатолий Ананьич,— вскочила та.

Степанов сел на круглый винтовой стул у рояля и заиграл свой любимый романс. Потом, повернувшись к девушке, спросил:

— Ксения, скажите по совести, вас не обижают местные власти.

— Ничуть.

— Но у ваших родителей, как мне известно, была лавка. Ужель вы так-таки и не вспоминаете...

— А чего же вспоминать? Мы сами после смерти отца так решили.

— Я слышал это. Однако время — лучший ценитель наших поступков. Не стесняйтесь, если что нужно, я к вашим услугам... Теперь, видите ли, много такого привходящего... Вашей больной матушке все не объяснишь, а вам можно. Вы скажите, и я сделаю все для вас.

И его пальцы опять заскользили по клавишам.

— Кстати,— снова обратился он к девушке.— Я давно хотел вас спросить. Мой комиссар — человек молодой

и, скажу, видный. Но вы почему-то сторонитесь его. Уже ли вас больше интересует этот мужлан Ветлугин?

— Зачем вы, Анатолий Ананьевич, об этом спрашиваете? — вспыхнула Ксена.

— В интересах, так сказать, вашего благополучия, дорогая Ксения. Вы молоды, прелестны... Мне в вашем доме живется как в своем родном, и я имею право на то, чтобы заботиться и о вас, не правда ли?

Что ты, пташ-ка, при-у-ны-ла,

Что ты гром-ко не по-ешь? —

пропел он вполголоса и, встав, дотронулся рукой до Ксениного плеча.

— Наверное, уже есть тот ловец, который приготовил для вас клетку, — и, хитровато усмехнувшись, прошел к себе.

11

С каждым днем упорнее и настойчивее ползли по округе слухи: степановцы забирают не только хлеб, а все, что попадется под руку, — белье, полотно, деньги. Докались эти недобрые слухи и до Ржаного Полоя. Но он, Полой, хоть и назывался Ржаным, был не особенно хлебный, и (бог миловал, говорили бабы) степановцы пока что не показывались.

Однако тревога от этого не уменьшалась, а — в ожидании неизвестности — росла. В домах уже кое-что заранее попрятали, в сусеках оставили одни лишь семена на озимый клин — их-то никто не увезет — и, уходя работать на поля, наказывали старухам да голопузым ребятишкам не отлучаться из деревни, за домами смотреть в оба.

Глафира Ветлугина каждое утро тоже наставляла сына:

— Сиди у крыльца, Федяра. Ежели кто спросит, скажи, никого, мол, дома нет, ни деда, ни мамки. И в дом чужих не пускай.

Федярка уже который день крутился около дома. Было страшно и в то же время любопытно увидеть этих самых степановцев. А они не появлялись. Вместо них по-прежнему приходилось гоняться за соседскими курицами, которые то и дело совершали набеги на луковые грядки.

Однажды утром, когда мать ушла в дальнее поле жать, а дед уехал в лес за жердями, Федярка по-хозяйски оглядел двор и, приставив к дверям метлу — знак того, что дома никого нет, — хотел было добежать до Алешкиного внука Лаврушки, как вдруг увидел: из-за увала показалось несколько подвод в сопровождении множества людей. Дорога была сухая, и за подводами стлался густой хвост пыли. На развилках, где дорога двоилась, — одна шла в волостное село Коврижки, другая — к ним, — подводы остановились, а потом тронулись улочкой прямо в Ржаной Полой.

Сорвавшись с места, Федярка бросился вдоль деревни с криком:

— Степахи! Степахи едут!

Старухи, сидевшие дома, всполошились: они закрывали окна, запирали двери, пестуны, нянчившиеся с малыши ребятами, сзывали их к себе и, подхватывая самых маленьких на руки, уносили в избы. Федярка, придерживая на боку свое ружьецо, бежал к амбарам, продолжая кричать:

— Берегись, степахи едут!

А отряд степановцев был уже рядом.

Остановившись у амбаров, солдаты стащили с телеги пулемет и, поставив его на сошки, для остротки направили ствол вдоль улицы.

— А зачем пушку-то, дядя? — подбежав, из любопытства спросил Федярка.

— Кто супротив нас пойдет — стрелять начнем, — ответил усатый в белой мохнатой папахе и крикнул на возившегося около пулемета солдата: — А ну, чего долго тут? Сбивай с амбаров замки!

— А у нас ничего и нет, — сказал Федярка.

— А ты не врешь?

— Сам ты врешь!

— Хо-хо-о, вот это храбрый хлопец, — и усатый, шагнув к Федярке, щелкнул его по лбу ногтистым пальцем, аж вышибло искры из глаз.

— Ну, чего надулся? — подскочил к мальчишке другой — низенький и веснушчатый, с белыми пороссячими ресницами. — Мамка-то у тебя где?

— Хватит с ним! — крикнул повелительно усатый, должно быть, старшой. — Разберись попарно! Начнем с крайних хат. На операцию — полчаса. Сбор здесь.

Подхватив винтовки, солдаты мигом построились и сомкнутым строем двинулись в деревню. Федярка поспешил за ними.

Поравнявшись с домом Алешки — тоненькие ножки, два солдата отделились и повернули к крыльцу, двое других направились дальше.

«Может быть, нас и обойдут?» — подумал с надеждой Федярка, но около их дома вдруг остановился усатый.

— Который дом-то твой? — спросил он Федярку и, не дожидаясь ответа, свернул к Ветлугиным.

— Мамашка-то дома у тебя? — подходя к крыльцу, снова спросил он.

— Не пушу! — сжал свое ружьецо Федярка.

— Ух ты, какой вояка, — усмехнулся усатый и надвинул на глаза мальчика картуз.

Поднявшись на крыльцо, он отшвырнул в сторону метлу, толкнул тяжелым сапогом дверь.

— Ну, где у вас хлеб?

— Не здесь хлеб.

— А где?

— Не здесь, — твердил Федярка.

— А мамкино добро?

— И добро не здесь.

— Ах, вон как ты, еще и не рассказываешь, сосунок, — бросил усатый сердитый взгляд на мальчика и, сбив на затылок свою папаху, распахнул чулан.

Федярка издали смотрел, как усатый вытащил из чулана окованный жестью сундук, открыл его и начал выбрасывать все, что там лежало, мамкину кофту, платье, цветистый платок... Не прошло и пяти минут, как на полу уже валялась его рубашка, белая в голубую полоску.

Федярка схватил рубашку и, прижав ее к груди, крикнул:

— Не дам!

— Нужно мне твое барахло, — буркнул себе под нос усатый, все еще роясь в сундуке. — А вот это идет, — и он поднял увесистый тюк — пестрядинное, в красную клетку полотно, которое только что весной выткала Федяркина мать. — И это тоже пойдет, — усатый держал на цепочке круглые часы с блестящими серебряными крышками.

— Не трожь, тяткины! — озлился Федярка.

— Тятка себе другие приобретет, — ответил усатый и опустил часы в карман. Затем, подхватив под мышку пестрядинный тюк, спустился по ступенькам.

Федярка, захлопнув пустой ящик, бросился следом за усатым.

Из других домов тоже выходили солдаты с поклажей. За ними выбегали перепуганные, в слезах старухи.

— Грабители вы, а не заступники!

— Мы не грабители, мы анархисты, бабка, — смеясь, скалился белобрысый солдат.

— Вот и говорю, что нархисты...

С другого крыльца советовал бабам старик:

— За мужиками бежите, бабье, зовите мужиков.

— Не пускают... В конце деревни пушка стоит...

— Вот она, новая-то власть, — сетовал старик.

— А чего плохого: оправляться и то под охраной будешь, — на ходу ответил белобрысый. — Без охраны, того гляди, волки добро-то твое оторвут...

— Хо-хо-хо, — весело раскатился усатый. — Нечем будет и с бабами справляться! — и уже строже скомандовал: — Хлеб грузить на телеги... Живо-о-о!

Когда под вечер вернулись с работы мужики, в деревне стоном стоял бабий гвалт: у одной унесли полотно, у другой похитили масло, у третьей — деньги...

Алешка — тоненькие ножки шумел больше всех:

— Это ведь твой, Евлантій, сын небось команду такую подал. Взял да и доказал на всех, у кого где и что лежит.

— Ты брось, буржуй, лясы точить, — огрызнулся Евлаха. — Мой-то парень где служит?

— Где не где, а там же.

— Там же, да, может, у другой власти.

— Зря уклоняешься, Евлантей, ограбила твоя власть деревню да и убёгла.

— Догнать их, надо, мародеров!

— Догнать и забрать свое! Трудовое ведь, сами пряли, сами ткали, бабоньки, — подбежав, закричала Макуха, высокая и костистая в плечах баба. — Чего вы, мужики, рты-то раскрыли? Чего за баб не заступаетесь?

— Десятский, сзывай колоколом мужиков! — крикнул во весь голос Алешка Кузовков.

Не прошло и полчаса, как вся деревня высыпала

к амбарам. Мужиков собралось человек сорок, а то и больше. Кто пришел со своим ружьем, кто — с казенным. На днях приезжал уржумский военком, на телеге привез десятка три винтовок для дружины. Собрал комитет бедноты, именем революции наказал: «Если появятся чехи белые — беритесь разом за винтовки». А тут вон как обернулось, еще до чехов пришлось взяться за винтовочки...

Перед путем-дорогой мужики закурили. Угощая друг друга самосадом, хвалились: табак нынче на грядках вырос, как на прибрежных песках лопух, — знай завертывай. Покурили, переглянулись и пошли. Впереди всех Кузовков, он ходкий, ноги у него длинные, как шагнет — другому два шага надо сделать.

— Засветло догоним, ребя, — подбадривал он.

— Поди, не догнать, Олеш?

— Надо догнать, — поддержал Евлаха и, оглянувшись, увидел ребяташек: — А вы куда, пешкарье?

— Мы тоже с вами, — гордо ответил за всех Федярка.

— Арш домой. Марш говорю, а то вот я вас! — и Евлаха потрусил на обочь дороги к вересовому кусту.

Сломил прут — и к ребятам. Те бросились наутек, но вскоре, увидев, что никто за ними не гонится, остановились.

— Я вот тебе! — издали пригрозил дед Федярке.

А тот, спрятав за спину ружьецо и отделившись от других, упрямо тянулся за мужиками, бороздя босыми ногами мягкую пыльную дорогу.

«Отчего я такой маленький, — насупившись, думал с тоской Федярка. — Все большие, а вот мы с Лаврушкой маленькие, вроде и мужики, а все ж таки недоросточки. И никуда-то нас не берет: ни на лесной покос, ни в погоню...»

Через час-другой уже начало темнеть, а мародеров ржанополойцы так и не догнали. И след их где-то простыл.

Хоть и ходко бежал впереди Алешка — тоненькие ножки, а не усмотрел, по какой они кинулись дороге.

— Может, за речку перемахнули?

— Может, и за речку...

Мужики остановились на перепутье, достали кисеты с табаком, — бабы, они в Полое мастерицы на кисеты, каждая шьет по своему разуменью. Смотри-ка, одна

завязочку к кисету шелковую пришила, другая шнурок вдела в оборочку, третья сделала как городское портмоне — свернешь этак и кнопочкой щелкнешь. Щепотками меряют мужики табак из кисетов, а сами между тем тайком приглядываются, у кого как кисетик сшит. Смотрят, а не попросят показать — у каждого гордость есть, да и бабу свою опять-таки обижать не следует.

— Надо бы нам разведку выслать, — посоветовал вдруг Евлаха. — Туда кинуться и сюда — за речку, значит...

— Дело говоришь, — согласился Кузовков. — Кто ходовой да поумней?

Судачили-посудачили, да и выбрали трех человек — Павлуху Макарихиного и двух Иванов: Ивана Степки-маленького да сына Вани-чудотворца. Отправили их, а сами в лес, в сторону.

Сосновый бор настороженно притих, ступишь ногой — то сучок треснет, то хрустнет сосновая шишка. Потому сухорос нынче выдался, не степахи бы, шут их подери, — с полночи жать можно... Но хоть и сухорос, а от реки, однако, потянуло промозглым холодком. Не замерзать же — развели огонь, сгрудились.

— Раздвинься, ребя, пошире, — попросил кто-то. — А то Олеха все тепло загородил своей мотней.

Старик недовольно попятился. Затоптались и другие. Круг стал шире. Каждый нашел свое место, прилачился, кто вытянул руки вперед, кто на корточки присел с цигаркой. Кузовков — тот как стоял, так и остался стоять, высокий и прямой, как жердь, в куцем пиджачке-недоросточке, в белых полотняных штанах, зазелененных на коленках, в кожаных уледах, — оттого и быстр на ногу он — в таких калошах все одно что босиком.

— Зря дозор не поставили, — подосадовал он и обвел взглядом соседей. — А то, не ровен час, — и взмахнул рукой. — Серега, ты смотрел бы в ту сторону, коя к дороге. А ты, Фананл, на веретею поглядывай. Так-то понадежнее будет.

Сказал Алешка — тоненькие ножки, и все смолкло: мужики курили и молчали; подходили без слов к огню за головешками, освещающая усталые, изборожденные морщинами лица, прикуривали.

— А вот что я спрошу, — вдруг прервал тишину Ваня-чудотворец, не выпуская из рта цигарку. —

Я спрошу вас, а Ленин кто таков? С кем он идет, с нашим Ложенцовым аль как?

— С тобой он идет, Иван Васильевич.

— Нет, правду. Керенский тоже говорили, за нас. А что с ним получилось? Замусорил деньгами народ. Теперь избу хоть сверху донизу оклеивай его бумажками.

— Не надо было хоронить в сундуке деньги-то.

— Да где там хоронить! За телку получил, пришел домой, а мне говорят, деньги не ходячие.

— Вот и ловко, теперь они у тебя всегда при себе, как в банке.

— Не говори уж: мужику как-то приснился банк, да хлоп его по темени кунак. А кунак-то этот вовсе не кунак, а Керенский.

— Ха-ха-ха-а...

— Он, говорят, Керенской-то этот, в сарафане бабьем за границу убежал. Золото да серебро в карманы понахватал, а бумажки тебе, Ваня, на помин души оставил, потому что ты по призванию чудотворец.

— Бросьте Керенского оплакивать. Вас всерьез спрашивают, кто таков Ленин?

— Из рабочих он,— пояснил за всех Евлаха.— От сына слышал, от Егория.

— Крестьянину, значит, теперь крышка?

— Пошто?

— Как пошто? Видел сегодня, кто в деревню приходил? Мы, говорят, рабочие... нархисты... Грабь, значит, крестьянина до последней нитки.

— Не то плетешь, Ваня! Кто землю тебе нарезал? Ленин. Кто за мир заступился? Опять же Ленин...

— А пошто сегодня с грабежом пришли? Кто послал на такое разорение?

— Да неужели Ленин из Москвы так и сказал: пойдите, мол, товарищи, в Полуй и берите то-то и то-то?

— Дак чьих же это рук дело? Местных властей, значит? Ложенцова да твоего, Евлантий, сына дело?

— Не точи ласы, буржуй ты этакий,— взъелся Евлаха,— Ложенцова я знаю... И сына своего Егория— тоже... Скажу— тут суть да дело в командире этом, Степанове...

— Ох, и Степаха этот, ошметок ему в рот, натворит, видать, чудес до небес.

— А ему и заботы мало о тебе. По два десятка, говорят, яиц за присест выпивает.

— Яйца полезно, ребята, особенно сырые.

— И дурак знает... Но ты пей, да чтоб не задевай нас, не клеви матерей, дитев малых...

— А Степаха-то, говорят, хромый.

— Хромый — не хромый, а на попову дочку, слышь, заглядывается.

— А ты бы, поди, отвернулся от нее?

— И отвернулся бы, а что? Ежели он революционер, где у него пролетарское чутье? В тенета попал поповские...

— А я бы не отвернулся, — стоял на своем парень. — Я, признаюсь, видел эту дочку. У-ух... Коса до пят, глаза — все одно что твои блюдца... с проголубью...

— Толково говоришь, — поддержал другой. — Посколь власть наша, надо всех классов нам изведать. И тут, по моему, ничего такого прочего подозрительного нет. Любовь же комиссары не опровергают.

— Брось ты с этой... любовью. Разве может революционер любить попа?

— Не попа, а попадью.

Кругом засмеялись, закашляли.

— А дочку еще лучше.

— Достанется тебе дочка: от степановской пушки в лоб свинцовая точка... Долго будешь памятовать...

Вспомнив разбойный набег степановцев, все как-то вдруг поутихли, опять полезли в карманы за кисетами, щепотками принялись мерить табак.

На рассвете выяснилось, что степановцы ушли за речку и остановились в соседней деревне, в школе.

— Снимайся! — скомандовал Алешка — тоненькие ножки. — Пока дрыхнут, тепленькими их схватим...

До деревни Пестерьки версты две — две с половиной. А может, и больше — никто не мерил.

— С кого начнем? — подходя к деревне, спросил на ходу Алешка Кузовков. — Оцепим школу иль прихватим заодно и деревню?

— Силенок на деревню не хватит.

— Тогда школу... Задача такова: отбить свое добро — и обратно подобра-поздорову восвояси. Так что ль?

— Хватит на первый раз и этого. Пужнем разок — на другой раз не придут.

Полукаменная одноэтажная школа стояла на краю деревни. Одна сторона окнами выходила на проселочную дорогу, другая упиралась в чахлый болотистый лес. Мужики у деревни остановились, разделились надвое: одна группа, что поменьше, пошла низинкой, по-под деревней, другая, прячась,— в обход лесом. Побудку решили им дать со стороны леса, а потом уже, под крики «ура», с двух сторон броситься в атаку. Так распорядился «командующий» Алешка — тоненькие ножки.

Прошло с полчаса.

— Чего ж мы ждем? Давай, Алексей,— подзадоривая, шепнул рыжеволосый Павлуха, когда они, пройдя лес, тайком подползли к школьной изгороди и залегли тут же в канаву.— Чего там медлить, дуй по окнам...

— Так по окнам-то разве лъзя? — спросил Кузовков.— Сначала в воздух пальнем. Не отдадут добро, тогда и взаправду будем пугать.

Щелкнули затворы. Немного помедлили. Алешка Кузовков перекрестился и первый выпалил в воздух.

— Сдавайсь, мародеры! — заорали что есть мочи мужики и, неожиданно для ржанополойского «командира», кинулись к школе.

— Сдавайся-я!..

Застигнутые врасплох, спавшие после попойки степановцы суматошно хватались за оружие, совались в двери, в окна. На ходу отстреливались.

— Евлаха, забирай телеги! — крикнул Кузовков, подбегая к колодцу.

Нырнув за деревянный омшелый сруб, он оглянулся и увидел позади себя лежавшего на земле окровавленного Павлуху.

— Жив ли, Паша?

А степановцы тем временем от обороны перешли в наступление.

Усатый, должно быть, он и был командир, выскочил из школы босиком, в белых подштанниках, в папаче и крикнул, чтоб стреляли, а сам бросился с ручным пулеметом в канаву.

«Скосит ведь, стерва, наших», — с ужасом подумал Кузовков и взял его на мушку.

— А ну, держи папаху!

Щелкнул курок, и в тот же миг он увидел, как усатый в папаче ткнулся носом в землю.

— Ура-а-а! — раздалось рядом. — Ура-а-а!..

Алешка — тоненькие ножки подбежал к замолчавшему пулемету, не обращая внимания на свалившегося усача, ухватился за приклад и, повернув пулемет в обратную сторону, пустил очередь по убегавшим степановцам.

12

Степанов, казалось, только этого и ждал. Узнав о столкновении крестьян с его солдатами, он тотчас же решил отозвать из деревень свои отряды по заготовке хлеба и привести полк в боевую готовность.

«Надо действовать сейчас и только сейчас! Лучше этого момента не сыскать. Коммунисты вот-вот будут выброшены из Казани. Армия свободной России беспрепятственно двигается к заветной цели. Пришло время заявить о себе и нам. Теперь уже всем ясно, что Ложенцов сам вооружил мужиков, а потом натравил их на наших солдат. Пора кончать эту затянувшуюся комедию. Надо брать власть в свои руки. Но брать ее исподволь. Вначале, как известно, ходят пешки. Такой пешкой и будет Хомак. Хорошо, что он числится коммунистом: это отвлечет внимание людей, локализует операцию. Придет время, когда эта пешка полетит, на ее место выдвинутся другие фигуры... Каждому овощу в огороде — свое время...»

Бросив в пепельницу недокуренную папиросу, Степанов достал из ящика стола два револьвера. Один сунул в карман галифе, другой, зарядив, положил перед собой и позвал из соседней комнаты комиссара.

Хомак вернулся только что из поездки — устал, истомился от жары; мокрые волосы прилипли к потному лбу, ворот суконной гимнастерки полурасстегнут, хромовые, всегда щеголевато начищенные сапоги запылились.

— Слышал, комиссар, как мужички наших жалуют? — с нескрываемым упреком спросил Степанов Хомака, как будто тот и был виноват в этой истории.

— Слышал, командир, — ответил Хомак.

— И как ты расцениваешь все это?

— Конечно, возмутительный случай. Надо разобраться и немедленно привлечь виновников к ответственности.

— Не собираешься ли ты и теперь идти к Ложенцову и вместе с ним искать этих виновников? — Степанов рез-

ко встал и, прихрамывая, принялся нервно ходить по большой квадратной комнате, застланной тяжелым ковром.

— При чем же здесь Ложенцов? — удивился Хомак.

— Какие же все вы, комиссары, малопрактичные люди, — остановившись посреди комнаты, упрекнул его Степанов. — А кто вооружил этих вольных стрелков, ты знаешь? Знаешь, кто спровоцировал столкновение? Кто убил Оленева?

— Вероятно, это дело рук кулаков...

— Добавь к этому: организованных Ложенцовым, так сказать, нашей многоуважаемой местной властью.

— Вы так полагаете?

— Не полагаю, а знаю, комиссар, — не спуская лихорадочно горящих глаз с Хомака, ответил Степанов. — Настала пора действовать по законам военного времени. Пора взяться за них... Поставить верных людей на телеграф... установить повсюду свой контроль. Над здешней мужицкой властью требуется наша революционная диктатура... Да, да, товарищ комиссар, самой историей мы с вами призваны осуществить это! — и Степанов, шагнув к Хомаку, покровительственно положил на его плечо пухлую ладонь. — Во главе диктатуры должен стать политический руководитель, и я предлагаю для этой миссии вашу кандидатуру, комиссар.

— Но без санкции центра мы не имеем оснований... — несколько растерявшись, сказал Хомак.

— Будет санкция у тебя, будет... О происшедшем я уже телеграфировал... Льется братская кровь... Ради революции теряем лучших сынов...

— И что же вы советуете?

— Диктатура, только военная диктатура может спасти положение! И я вас прошу, комиссар... Настаиваю... Завтра будет поздно. Мы должны действовать немедленно. Утром же обратимся к народу с воззванием!

На другой день казарма, где размещались степановцы, гудела, как встревоженный улей. Все уже знали, что Степанов с группой своих солдат ночью разоружил в городе караульную часть, на которую так много возлагал надежд ложенцовский заместитель Сипягин. Командир караульной части эсер Попцов, тот самый хлыщ с накрашенными усами, о котором говорили, что он ездит на обед в пролетке, добровольно перешел на сторону

степановцев. Той же ночью при помощи Попцова был оцеплен местный военкомат и захвачен склад с оружием. Рассказывали, что несколько матросов из степановского окружения отказались выполнять его распоряжения, но Степанов тут же обезоружил их и посадил в карцер.

Взбудоражены были не только солдаты, но и горожане. Выйдя утром на улицу, они увидели, что возле купеческого дома, в котором размещался степановский штаб, установлено два пулемета. По Воскресенской улице верхом на лошадях разъезжали солдаты с шашками наголо. На афишных тумбах красовались необычные желтые листы с написанным от руки воззванием. Около них с утра толкались люди. Напротив дома колбасника Сундырева собралась толпа. Среди картузов и шляп белыми голубями порхали платки, кое-где виднелись разнаряженные дамы, прикрывавшие головы от палящих лучей солнца зонтиками, вытягивались на носки любопытные ребятишки, откуда-то из гущи толпы доносился голосок Риторика, но о чем он говорил, разобрать было трудно.

— Громче говорите, товарищ Березинский, громче! — потребовал человек в шляпе и с тросточкой.

— Наконец-то допрыгался наш Ложенцов! — выкрикнул Риторик. — Я был прав: бодливой корове бог рог не даст...

— Не рассусоливай, читай приказ!

— Расступитесь, граждане! — неся над головой табуретку, крикнул сухонький Сундырев и, протиснувшись через толпу, услужливо поставил ее к ногам Риторака.

Риторик легко вскочил на табурет и, сняв с головы соломенную шляпу, пригладил руками длинные волосы, сдернул с носа пенсне и, тотчас же водрузив его обратно, закивал головой собравшимся. Весь он был какой-то легкий, ликующий, праздничный. В новой серой пиджачной паре и накрахмаленной сорочке с галстуком он походил на жениха.

— Внимание, граждане, внимание! — сказал он и поднял руку с белым листом. — И особенно вас прошу, дорогие дамы, я все же не в состоянии перекричать ваши милые голоса...

— Да читайте поскорее!

— «Приказ номер один, — неторопливо начал наконец он. — Юля четырнадцатого дня, одна тысяча девяти-

сот осьмнадцатого года...» Итак, повторяю, приказ нумер один...

Риторик торжественно приподнял руку и продолжил:

— «...Банды темных сил, организовавшись в громадную толпу, вооружившись винтовками, револьверами и пулеметами...»

— Пулеметов-то не было! — выкрикнул кто-то из толпы.

— Что, что? — повернулся на возглас Риторик и брезгливо бросил невпопад свое обычное: — Как известно, только бодливой корове бог рог не дает... Итак, читаю дальше: «...револьверами, а также пулеметами, напали на отряд первого Московского военно-продовольственного полка, добывающего хлеб для голодных граждан Российской Республики, зверски замучили комиссара отряда... В связи с происшедшими событиями, центр признал необходимым назначить единоличную военную диктатуру в данной местности. Диктатура возложена на политического комиссара Хомака».

— От это Хомак!..

— Тишшь...

— Читайте, пожалуйста, дальше, Николай Евгеньич, — поторопила стоявшая рядом с ним дама со светлым зонтиком над головой.

Риторик уважительно кивнул ей головой, повысил голос:

— «...Объявляю, что с пятнадцатого июля сего года вступаю в исполнение возложенных на меня обязанностей военного диктатора и заявляю, что всякое контрреволюционное выступление, с какой бы оно стороны ни исходило, будет подавлено беспощадным образом силою оружия... — и, взметнув голову, словно желая узнать, какое действие произвело это на людей, повторил: — Силою оружия...»

— Тут, брат, со степами теперь не шутить, — бросил кто-то из толпы.

— Объединяйтесь, граждане! — выкрикнул фальцетом Риторик. — Россия в опасности! Россию нашу матушку большевики продали немцам! Наша фракция эсеров в знак протеста против коммунистов уже вышла из исполкома. Мы одобряем диктатуру, как переходный момент... Мы стоим за Учредительное собрание. Только Учредительное собрание может спасти Россию!

— Врешь, продажная душа!

— Доло-о-й!

И Риторика будто ветром сдуло с табуретки. Бросив горячий камень в людской взбудораженный котел, он, низенький и юркий, тотчас же затерялся в гудевшей расстроженной толпе.

13

«Господи, что же кругом происходит, что происходит? — все больше недоумевала Ксена. — Вчера Ложенцов был тут главный, а сегодня даже не велено ему говорить по телефону, запрещено передавать его телеграммы. Теперь только двое могут это делать — Хомак и Степанов. Кто они такие? Захватили военкомат... Зачем-то разыскивают Егора. Уж не хотят ли его в чем обвинить? Что ж, что он родом из Ржаного Полоя. В тот день, когда произошла схватка мужиков с солдатами, Егор был совсем в другом месте. Хорошо, что я припрятала распоряжение о его розыске. Надо известить обо всем Егора, но как это сделать? Рядом стоит солдат и наблюдает за каждым моим движением... Кто же, однако, этот Степанов?..»

Вспомнилось, как к нему заходил Риторик. И заходил не раз.

Риторик — эсер. Но и Сипягин ведь эсер, а работает у Ложенцова.

Нарочный из штаба принес новую телеграмму. Ксена взглянула и удивилась: Степанов опять запрашивал у Москвы подкрепления. Передав ее, она достала из стола грудку скрепленных телеграмм, отыскивала одну из них и бегло пробежала ее глазами:

«...Все продотряды работают контакте. Самарский и Московский продотряды объединили свои действия. Хомак работает быстро решительно ведется борьба спекуляцией саботажем. Пришлите 10 мотоциклов 500 верст телефонного кабеля бензина 10 цистерн телефонных аппаратов. Еще продотряд 500 человек. Есть много хлеба необмолоченного и картофеля но продаппараты саботируют работают сепаратно нужен диктатор по продовольствию...»

Эту телеграмму Ксена передавала два дня тому назад. А сегодня уже Хомак объявлен диктатором. По го-

роду разъезжают вооруженные солдаты, на перекрестках расставлены пулеметы. Что все это значит? И почему не звонит Егор? Или ему тоже не разрешают пользоваться телефоном, как Ложенцову? Но это Ложенцов, может, в чем-то и виноват, ведь он так спорил со Степановым... Другое дело Егор. Они со Степановым вместе ехали на пароходе. И здесь встречались. Казалось, вначале были друзьями. А потом Егор не стал к нему заходить. Все говорил, что некогда...

Вечером на телефонной станции охрана сменилась. На пост встал пожилой солдат. Постоял у двери, но, видать, надоело, сел в угол. Достал из кармана алюминиевую фляжку, лакнул из горлышка какой-то жидкости, повеселел малость. Потом еще раза два прикладывался к горлышку. И когда фляжка, должно быть, опустела, он обхватил руками винтовку и, прикорнув головой на подоконник, задремал. Только этого и ждала Ксена. Тотчас же она вызвала уисполкоми, узнав по голосу Ложенцова, сообщила ему, что связь с Вяткой прервана, что степановцы разыскивают Ветлугина, что тут сидит солдат с винтовкой...

И вдруг солдат вскочил.

— Руки по швам! — крикнул он зычно и, хлюпнувшись на табурет, снова захрапел.

14

Вторые сутки Алешка — тоненькие ножки сидел в одиночной камере. Накануне ночью степановцы ворвались к нему в дом, стащили с полатей, скрутили руки и повели на расстрел. Но вместо расстрела втолкнули его в эту кутузку и строго-настрого наказали: сиди и не брыкайся, преступный лидер, не перестукивайся в стенку с контрреволюцией. А то живо отправим к Хомаку...

И «преступный лидер» сидел. Сидел в полутемной камере, прислонившись спиной к холодной, влажной стене. Стена грязная, сверху донизу обшарпана, искovyряна гвоздями, и надписей на ней разных полно.

Но Кузовкову не до них — надписи эти, видать, дело контрреволюции, а он связываться с ней не желает... Если его в сумятице не расстреляют чохом с этой контрреволюцией, что за стенкой, то посидит он денек-другой, объяснит все, как было, и выпустят его. Куда же с ним

даться, хлеб нынче дорогой, даром кормить не будут. Не такое время, чтобы долго на даровом хлебе держали: или расстрел, или домашняя дорога — иной карты не должно выпасть...

Обхватив руками сухонькие, стоявшие торчмя колени, старик жевал твердый горьковатый корень. Все отняли здесь — и кисет с табаком, и кремень с трутом, а корень от самороски, завалившийся в кармане, оставили. Жевал он его — и думал о своей тяжкой, неказистой судьбе.

Ему опять почему-то казалось, что все беды на него свалились из-за Евлахиного сына. Не служи Егорша у власти, кто бы знал об ихнем Полое? И стоит он вроде вдалеке от Уржума, и не слишком хлебный он, Ржаной Полой, не сытый. А Евлахин сын как раз комиссар по выкачке хлеба — забирает хлеб в других деревнях, должен, значит, по справедливости пощупать и своих сельчан. А то обижаться, дескать, народ будет. Сам не поехал — стыдно, а послал чужой отряд. Тут-то и заварилась каша... Как вот ее и расхлебать теперь, эту горькую кашу? И ведь что чудно, повели его из дому на расстрел, а Евлаху в понятия взяли, мол, уводим не тайком, по закону. Пришел Евлаха, поклонился, как ни в чем не бывало. А ведь он и сам в догоню ходил на мародеров, хотя и толку от него не было — просидел в логу на фланге...

Уходя в кутузку, Алешка — тоненькие ножки недобро зыркнул глазами на Евлаху, обронил.

— Прощай, Евлаштей, спасибо. Из-за тебя иду, из-за сынка твоего...

— Неладно говоришь, Алексей.

— Нет, ладно. Сынок твой донес... Егорша... А теперь вот видишь как со мной: руки на привязь — и на расстрел, в богородицу твою деворадуйся...

Сплюнул сердито Кузовков на сырой от росы мурожек и зашагал по дороге тонкими ногами, подвитыми онучами. И не оглянулся, хоть и всхлипывала на крыльце жена, не обронил слова. Так горько было на Алешкиной душе, что хотелось поскорей уйти и не видеть всего этого. А теперь, кажись, и слетал бы в Полой, и дом свой поглядел бы, и жену свою, страдалицу. Убирать с полей уж начали... Кладни надо класть. Озимой клин сеять. Чего баба одна сделает? А он сидит вот в кутузке, гложет табачный корень да сердцем плачет...

И ведь как вышло-то все. И не думано было стрелять в людей: пужнуть хотели разок-другой мародеров — и все. А тут, смотрю, командир-то в папаше за пулемет цепляется. Не ровен час, подкосит ведь он лентой деревню. Тут уж молчать не станешь... Выстрелил он, Алешка Кузовков. Схватили в плен ихнего командира. Положили на телегу вместе с простреленным насмерть Пашкой. Повезли домой, а командир-то тот усатый дорогой еще жив был. Взглянули в полдороге, а он, как и Пашка, не дышит. Руки откинул в стороны. Лицо без единой кровинки. Волосы спустились на лоб. Хоть и усатый, а зубов полон рот, потому молодой еще был. Жаль стало тогда старику, что убил он его смертельно. Ведь тоже где-то мать у него есть, отец... Однако и выхода иного не было. Не останови его, всю деревню перекошил бы. Заступился за деревню, а сам вот в кутузку угодил, того и гляди под расстрел...

Ночью вызвали Кузовкова на допрос. Он думал: следователь будет расспрашивать, а тут к самому Степанову привели. У Степанова лучше, чем в камере. И комната большая, и сухо, и лампа абажурная светит. На столе два рядышком револьверца. Третий, махонький, Степанов в руке держит, до подбородка дульцем дотрагивается, будто муху с него сгоняет.

— Ну-с, преступный элемент, я сам тебя судить буду,— взглянув на Алешку из-под густых рыжеватых бровей, сказал Степанов.— Сам судить и сам милловать...

— Слушаюсь,— ответил Кузовков и виновато опустил глаза в пол.

— Ты убил нашего командира?

— Я, ваше благородие, товарищ Степанов.

— Из каких соображений?

— Случайно это я, второпях. Думаю, подкосит деревню нашу...

-- Не притворяйся юродивым.

— Да я ничуть, ваше благородие...

— Скажи, сколько осталось оружия в деревне?

— А это не знаю. Ведь у кого, может, дробовик на белку, а у кого и нет дробовика.

— Сумеешь помочь нам собрать оружие?

— Оно же... не собрать. Верно говорю. К тому же, по осени зайчики, белки,— не отдадут.

— Я спрашиваю, сумеешь?

— Не сумею, господин товарищ Степанов.

— Ну, тогда так и решим: сегодня расстреливать тебя будем...

— Что ж, пожалуйста, ежели причастен,— ответил Кузовков и, вздохнув, добавил: — Только как же рожь-то убирать? Ведь не причастен я к расстрелу. Всех полейцев наших скосил бы усатый-то ваш. Ей-богу, и ленты не пожалел бы он, а я, значит, заступился, и на вот тебе, неладно, оказывается, получилось...

Алешку — тоненькие ножки увели обратно. Втолкнули в камеру. Поскользнулся он на сыром склизком полу, упал и, схватившись за голову, заплакал: жать бы рожь надо, сеять, а его вот здесь без толку держат.

15

О положении в Уржуме в губком доходили скупые противоречивые слухи. Чувствовалось, там что-то произошло, но что — трудно было понять. Неколько раз Попов звонил туда, пробовал вызвать к телефону Ложенцова, но безуспешно: телефонистка на телефонной станции почему-то упорно не соединяла его с исполкомом.

Встревоженный этим, председатель губернского чрезвычайного штаба решил срочно направить туда своего представителя и выяснить обстановку на месте. Выйдя в приемную, чтоб позвать к себе члена штаба Петра Капустина, он увидел только что вошедшего человека в кожаной тужурке и сразу узнал в нем Егора Ветлугина.

— А-а, старый знакомый! — воскликнул Попов и поздоровался с ним за руку. — Рассказывайте, что там у вас случилось? Почему с вами не соединяют?

— Никак нельзя, Иван Васильевич, провод Степанов захватил, — идя следом за Поповым в кабинет, ответил Ветлугин. — Привез вам донесение...

— Предал, что ли, Степанов? — беря из рук Ветлугина пакет, спросил Попов.

— Похоже, что предал...

— А комиссар Хомак что?

— Ту же песню Хомак поет, по указке Степанова диктатором объявился, черт возьми. Караульную нашу часть разоружили. Окружили военкомат, оружие захва-

тили. Работу исполкома парализовали. Якшаются с самыми сомнительными элементами.

— Ты слышишь, Капустин! — кивнул Попов только что вошедшему молодому человеку, почти юноше.

— Подозрение у меня к ним давно было, Иван Васильевич.

— Верно, подозрительно, очень подозрительно они ведут себя, — взглянув на невысокого, немного сутуловатого Капустина, согласился Ветлугин. — Вместо заготовки хлеба мародерством занимаются, пьянствуют, ведрами спирт со складов таскают, все одно что анархисты какие...

Попов, быстро пробежав глазами коротенькое донесение Ложенцова, который просил, чтобы к ним срочно выехал кто-нибудь из ЧК, еще больше помрачнел.

— Да, вот еще письмецо есть, — спохватился Егор и вытащил из внутреннего кармана тужурки затасканный конверт. — Из интернационального отряда послали.

— А-а, это тот командир; интересно, о чем он пишет? — принимая конверт, сказал Попов. — У-у, да какое длинное... Обычно этот латыш говорит мало, а здесь написал целую петицию.

— О чем он там? — заинтересовался и Капустин.

— На, читай, Петр, не могу разобрать его почерк...

— «...Сообщаю о событиях здешнего порядка, — взяв письмо, начал вслух читать Капустин. — Я, когда приехал, или же, собственно говоря, не подъезжая Турека в четырех верстах, то по нашему пароходу открыли пулеметным огнем, от каково у меня получилось один убит, двое ранены, но убит был машинист, и я был вынужден пароход пустить на берег и дать им пулеметным огнем ответ. И попал я в атаку, каковые были отбиты, несмотря на то, что их было триста человек, и два пулемета, и две орудия. И что из этого оказалось, что нас стали обстреливать не какие там враги, а московский отряд по приказанию своего начальства, какой наш пароход был известен, что идет Вятский отряд. Но несмотря на то, они хотели меня обезоружить, но я не допустил этого. А потом, что здесь дела такие идут, что без следственной комиссии не разберешь, одним словом говоря, пьянство да разврат идет, больше ничего нет, да муку конфискуют да продают. А против кулаков силы довольна есть, но дело в том, что организация у них никада,

начальство выбрало себе дворцы и пьянствуют, каковые ихние товарищи с отрядом мне передавали лично и нашим товарищам, и они меня просят, чтоб я взял в свои руки ихние отряды... Если б только у меня было больше силы, то я бы всех тут поарестовал и доставил в город Вятку. Но тут, собственно говоря, заведывает Хомак, который не дает нашим продовольственникам работать, берет все в свои диктаторские руки и распоряжается, как он хочет с хлебом, не считается с губернскими решениями и никому не дает отправлять по плановым нарядам. А по-видимому, тут скоро остановится работа, только остается назначить Чрезвычайную следственную комиссию, больше здесь делать нечего. Симонов-военком приехал, то Хомак похвалялся, что он чуть его не арестовал, что сам себя считает, что он полк собрал, что хочу, то делаю и других не признаю. Это такая харя Хомак, что просто какой Дутов. Заканчиваю свое писание, расскажет вам мой товарищ коммунист еще, если тут писать все, то нужно сорок листов написать. Жду Капустина».

— Теперь понятно, почему эсеры расхваливают Степанова,— становясь все мрачнее, промолвил Попов.

— У нас тоже... Во главе с Сипягиным эти эсеры даже демонстративно вышли из исполкома,— пояснил Ветлугин.

— Скатертью им дорога! — повысив голос, сказал Попов. — Сегодня же, товарищ Капустин, выезжайте.

— Я уже готов!

— Может, с вами еще комиссара юстиции Дрелевского послать?

— Пока обойдемся, Иван Васильевич, без него. У Дрелевского здесь дел по горло. На почте и телеграфе он навел порядок, теперь из других учреждений саботажников изгоняет.

— Ну что ж, тогда выезжайте,— сказал Попов.

Ветлугин снова взглянул на Капустина. По щуплой, невзрачной фигуре, по улыбочивому с остреньким подбородком лицу он выглядел очень молодым, совсем еще казался мальчиком, и Ветлугин невольно усомнился: сумеет ли во всем разобраться этот Капустин, которого он видел впервые.

Словно угадав его мысли, Попов пояснил:

— К вам поедет чрезвычайный комиссар по борьбе с контрреволюцией Капустин. У него достаточно полно-

мочий, чтобы навести порядок. Забирай, товарищ Капустин, с собой отряд и выезжай сегодня же в ночь,— и, взглянув на Ветлугина, спросил: — Достаточно вам этой подмоги?

— Управимся, полагаю, Иван Васильевич,— согласился Ветлугин.— Ведь у нас там тоже сила есть.

— Какая там сила, если себя обезоружить позволили? — с упреком заметил Капустин.

— Так ведь, товарищ Капустин, в карауле-то нашем эсер сидел с крашеными усами...

— У вас там, видимо, везде эсеры сидят...

— Ну как же иначе, лезут.

— Лезут...— повторил Капустин и усмехнулся. Только Попов оставался по-прежнему серьезным. Он снова пробежал глазами письмо Ложенцова и, встав, поправил галстук.

Попов был, вероятно, немногим старше Капустина, но его внимательные строгие глаза, смотревшие пристально через стекла пенсне с высокой дужкой, неторопливость в движениях — все это отличало его какой-то зрелостью и снова невольно напоминало о том учителе, которого Ветлугин уважал, как самого дорогого человека.

— А не считаете, товарищ Ветлугин, что вы там многое недоделываете с Ложенцовым?

— Возможно, Иван Васильевич. Но нам, как я сказал, мешают эсеры... Всякая прочая контрреволюция поднимает головы...

— Удивляться этому не приходится, теперь тем более,— заметил Попов.— Вы видите, что делается на фронтах? С каждым днем белочехи все ближе и ближе. Вчера звонил товарищ Ленин... Восточный фронт — главный фронт... Мы начали здесь формирование революционного батальона. В первую очередь за счет коммунистов, революционной молодежи... И вам в Уржуме тоже надо поднимать силы...

— Кое-что мы делаем,— ответил Ветлугин.— На днях создали две дружины красных партизан. В Теребиловке военком Сормах уже обучение начал. Только помогите, товарищи, этих анархистов к порядку призвать.

— Ну что ж, готовьтесь и вы со мной,— встав и собираясь уходить, сказал Капустин.— Поедем вместе призывать их к порядку. Сегодня же, часа через два, и выедем, Иван Васильевич...

Председатель штаба Попов в знак согласия кивнул головой, приветливо улыбнулся:

— Как говорят, ни пуха, ни пера вам,— и на прощанье протянул руку.— Ну, а мы по-прежнему будем настаивать перед центром о необходимости принятия мер к вывозке хлеба на станцию Котельнич,— и, задержав Капустина, подал ему бумагу.

— Читай... От нашего чрезвычайного штаба телеграмма в центр.

Капустин, неслышно шевеля по-детски пухлыми губами, прочитал:

«...Вы совершенно неправильно информированы Хомаком о вывозке хлеба из южных уездов Вятской губернии. Никаких сепаратных распоряжений о вывозке хлеба не было и быть не могло. Хлеб вывозится вверх по реке Вятке по распоряжению губернского чрезвычайно-революционного штаба в безопасное место ввиду возможности появления чехословацких банд на юге губернии. Это наш революционный долг. Хлеб будет распределен по существующим нарядам. Нами посланы представители — военный комиссар и губпредкомиссар, которые ценою жизни должны вывезти хлеб. Всякое неподчинение со стороны представителей посланных вами продотрядов распоряжениям губернского штаба, состоящего исключительно из коммунистов, есть преступление, и во имя диктатуры пролетариата штаб не остановится перед самыми решительными беспощадными мерами, чтобы заставить стоящих во главе отрядов подчиняться революционной власти...»

— Мысль в конце как-то бы надо, Иван Васильевич, подчеркнуть.

Попов взглянул на взъерошенного Капустина, улыбнулся.

— Это же телеграммой пойдет.

— Все равно надо подчеркнуть,— настаивал неуступчивый Капустин.— Именно не остановимся ни перед чем... Так и подчеркнуть.

— Ну, хорошо. Однако время, Петя, не ждет... Итак, ни пуха, ни пера вам... Чуть чего — давайте о себе знать.

— Будет сделано все, как надо,— и, неуклюже козырнув, Капустин вышел следом за Ветлугиным.

Сбегая по узкой лестнице, Ветлугин с восхищением подумал о Капустине: «Росточком маленький, а как он

режет... Даже самому Попову подсказывает. Правильно, остановок у нас не должно быть. Пойдем вплоть до мировой революции»...

Хотя Попов внешне и был спокоен, но он понимал, что в губернии будто в растревоженном улье, по всему чувствовалось, что назревали большие события. А какие, трудно было угадать. Тут за месяц-два не управишься. Когда его направляли в Вятку, в напутствие сказали: «Наладишь дела и снова катать в свой университет, сдавай последний курс экстерном». И поверил было этому Иван Попов: с собой захватил толстую тетрадь в клеенчатом переплете и кое-какие книжки по философии, но что толку в них, книжки лежат горкой в шкафу, а в тетради, что на столе, пошли вкось и вкривь другие записи, записи явно не философского содержания.

«Нет, Иван да свет Васильич, тут дело не такое простое, как ты вначале думал,— упрекнул Попов самого себя и вспомнил своего помощника Петра Капустина: — Как-то он доехал?»

Попов встал, взгляд его невольно упал на угловой столик, на котором под салфеткой сгрудилась какая-то горка. Он приоткрыл ее. Тут лежали разномастные револьверы, пистолеты, даже гранаты, разобранные у так называемой мирной делегации. В ушах все еще слышались хрипловатые угрожающие возгласы Трейтера: «Вандалы! Пираты! Предатели!»

Ему вторили его дружки: «Мальчишки! Молокососы! Мы найдем на вас управу!..»

Ох, уж этот член бывшего Верховного Совета по управлению губернией... Самый видный эсер в городе. С виду солидный, осанистый, в пенсне на черном шнурочке, с профессорской бородкой. Разгуливал по городу вроде тихо-мирно, а сам в губком с пистолетом на поясе притащился. Даже жену втянул в это грязное дело, нарядил ее в Москву к родственникам. А домой она везла особые гостинцы — такие же пистолеты. Только из этого ничего не вышло — раскусили орешек, дорогой разоружили.

— И не выйдет,— сказал сам себе Попов и опять подумал о Капустине: «Как-то там Петя управляется со

Степановым? Уж больно взрывной парень, петушистый. Надо бы поспокойнее. А может, таким теперь и надо быть? Ведь он же и осадил этого господина Трейтера. И вот результаты — полная коллекция эсеровского снаряжения».

И опять в ушах навязчивые слова: «Вандалы! Пираты!..»

Попов, словно вспомнив что-то, повернулся к письменному столу, присел на стул и быстро записал два слова:

«Позвонить Пете».

Выше этих слов шли столбиком строчки:

«В Омутной убиты продотрядники.

В Унях разогнали комитеты.

Прокламации эсеров в городе.

Тайные сборища максималистов.

Спекулянты-мешочники блокировали станцию.

Выяснить личность Степанова».

И опять:

«Эсер врач Трейтер и К°».

«Как-то там наш Петя?»

Попов на минуту задумался, широкие брови сдвинулись к переносью, потом он взял со стола тетрадь в клеенчатом переплете и по узкой темной лесенке поднялся наверх, в мезонин.

В холостяцкой квартире на верхотуре было тихо и прохладно. На столе бутылка молока, несколько картофелин в мундире.

«Это, наверное, принесла жена губвоенкома? — с благодарностью подумал Попов. — А то бы, как вчера, снова голодным пришлось спать».

Расстегнув ворот сатиновой косоворотки, он стянул ее через голову, взглянул на белую сорочку, висевшую на стуле, усмехнулся: «А ведь это она же придумала: для солидности, чтоб господа Трейтеры считались с нами, надо, мол, надевать белые сорочки с галстуками».

«И котелки», — вставил тогда неулыбчивый Иван Попов.

Помнится, все переглянулись и не могли сразу понять, всерьез сказал это их главный руководитель или в шутку. А Попов: «Котелки, котелки, ребята. Как же мы будем без котелков раскусывать очередной орешек господ эсеров».

«Да ну их к черту!» — раньше всех понял мысль товарища Капустин и вскочил: — Я бы их сейчас всех к стенке... Вот увидите, они еще натворят чудес до небес...»

А все же хорошие тут ребята. Каждый на свой лад. Угрюмоватый строгий губвоенком удмурт Малыгин, шустрый, подвижный латыш Володя Азин, уравновешенный военком Симонов... И конечно, петушистый Петя Капустин. «Как-то он там объясняется со Степановым?» Говорят, Степанов держит связь не только с Самарой, но и с Ижевском. Дважды туда ездил. Что ему там приглянулось? Наши оружейные заводы? Ижевские эсеры? Там тоже немало своих Трейтеров.

Попов раскрыл тетрадь и записал в столбик:

«Немедленно связаться с Ижевском».

17

Уже вечерело, когда конный отряд красноармейцев во главе с Капустиным подъезжал к Уржуму. Дорога была не близкая, и вспотевшие кони заметно притомились.

Подъехав к лесу, около деревни Теребиловки, Капустин остановился, спросил Ветлугина:

— Как думаешь, есть посты у степановцев?

— Наверно, выставили.

— По такому случаю на полчаса привал! — скомандовал он. — Пусть отдохнут кони. К тому же, и оружие проверим, — и, взглянув на Ветлугина, по-мальчишески подмигнул ему: — Так, что ли, продкомиссар?

— Так точно, — отозвался тот. — Они, анархисты, и в самом деле черт их знает с какими тут мыслями...

Когда красноармейцы слезли с коней и, разминая ноги, прошлись, закурили, Капустин, присев на пенек, спросил:

— Послушай, Ветлугин, у них же, помнится, моряки с линейного корабля «Гангут» были?

— Была горсточка, верно... Но, кажется, Степанов всех их повыкурил: кого в отпуск послал, кого отчислил. Кое-кто из оставшихся, правда, возражал против его действий, не соглашался разоружать караульную часть, но Степанов, говорят, и слушать не стал — в карцер затолкал их, да и дело с концом...

— А вы с Ложенцовым думаете, что же это за Степанов?

— Не пойдем еще: на словах вроде за Советскую власть стоит, а на деле — народ восстанавливает против нас.

— Но ведь он объясняет, что диктатура — это вынужденный акт? Крестьяне подняли бунт, напали на них, убили командира?

— Не так все было. Это в нашей деревне случилось. Мирная, скажу вам, премирная деревня. Но когда этот, с позволения сказать, командир приехал туда со своим отрядом и занялся сплошным мародерством, мужики, верно, поднялись на дыбы, вооружились, кто чем мог, и — в погоню... Степановцы дали отпор. В перестрелке этой и убили двоих: ихнего командира и Пашку нашего...

— Да-а... Нехорошо тут получилось у вас, — сказал, хмурясь, Капустин и, помолчав, спросил: — Ну что ж, передохнули, братцы?

— Передохнули, товарищ комиссар! — ответил за всех широкоплечий, в выцветшем картузе парень и, подсовывая к вздрагивающей губе коня овсяный сноп, добавил: — Вот только лошадушке моей маловата порция. Проголодалась лошадушка-то. Мы ведь, бывало, ездили в дорогу не эдак...

— Ничего, выдержит.

— Выдержит, чего там долго-то. Даешь Уржум!..

— Первыми в драку не лезть! — вставая с пенька, предупредил Капустин. — Выдержка, прежде всего выдержка, — и он ловко вскочил в седло.

На окраине города, где вдоль пыльной дороги выстроились небольшие, друг на друга похожие домики уржумцев, казалось, было все спокойно. На завалинках дремали старухи, у колодцев бабы гремели ведрами и, наполнив их водой, несли на грядки, чтоб полить самую распространенную нынче «овощь» — табак, да еще огурцы, которые только-только начали здесь сажать.

Когда красноармейцы подъехали к деревянному базару, их остановил конный наряд.

— Кто вы такие? — спросил верховой с шашкой на боку.

— А вы кто? — на вопрос вопросом строго ответил Капустин.

— Первый Московский военно-продовольственный полк под командой Степанова.

— А-а, тогда будем знакомы! Я представитель губернского чрезвычайного военно-революционного штаба,—по-прежнему строго сказал Капустин.— Кого же вы здесь так бдительно охраняете, уж не диктатуру ли Хомака?

— Хотя бы и диктатуру,—сухо бросил верховой и, взглянув на своего товарища и не желая, видимо, связываться, махнул рукой.— Ежли чрезвычайно—просэжай!

Когда они подъехали к большому двухэтажному, с башенками на крыше зданию, где размещался уисполком, их снова остановили двое вооруженных солдат.

— Что вы здесь делаете? — спросил Капустин.

— Велено охранять,—ответил низенький и щеголеватый, с усиками.

— Что ж, это совсем неплохо, что вы охраняли Советскую власть от посягательства врагов,—сказал спокойно Капустин.— А теперь в город вступили наши части, и вы можете быть свободны,—и, повернувшись лицом к своему отряду, по-военному отчеканил: — Товарищи красноармейцы Вятского чрезвычайного военно-революционного штаба, прошу сменить пост местной караульной части и всю надлежащую охрану взять в свои собственные руки!

Красноармейцы, к удивлению постовых, въехали в высокие каменные ворота, слезли с коней и, бросив поводья, расположились около парадных дверей уисполкома. Когда Капустин и Ветлугин поднялись по лестнице в уездный комитет, один из красноармейцев, тот, что во время привала кормил овсяным снопом свою «лошадушку», подошел к по-прежнему ничего не понимающим постовым и, положив руку на кобуру, негромко, но повелительно, подражая Капустину, сказал:

— Вам же сказано во всеуслышку, что вы свободны. Так чего же прохлаждаться. Спокойной ночи тогда,—и, достав табак, предложил: — Закурите на дорожку, что ли...

— Ну что ж, давайте,—при виде махорки не устоял щеголеватый.— Табачком-то мы здесь небогаты, скажу прямо. Как только объяснить-то о вас разводящему?

— Свои, мол, сменили. Понятно?

— Понятно-то понятно. И Степанов говорит: свои, и вы — свои, а друг против друга оружие наставляем. Не знаешь другой раз, как и быть.

— Какое же тут может быть сомнение: власть у нас Советская, и все должны подчиняться советскому штабу... Так я полагаю или вам комиссары да командиры не объясняют обстановку?

— Поясняют, конечно...

— Ну, так чего же тогда, все ясно, — и красноармеец в заключение для большего весу кивнул своему соседу: — А ну-ка, проверь там нашего «максимку». Не запылится ли за дорогу? — Хотя никакого пулемета у них с собой не было, тем не менее эти слова для постовых оказались более убедительными, и они, поблагодарив приезжих за табачок, тотчас же ушли.

18

Вечером было созвано экстренное объединенное заседание уисполкома и укома партии. На заседание пригласили командира продполка Степанова и комиссара Хомака, который уже несколько дней именовал себя диктатором.

Перед началом заседания Ложенцов, стараясь ввести Капустина в сложившуюся обстановку в уезде, признался:

— Работать трудно, в исполкоме — две трети эсеров. Как только осложнилась обстановка, они обвинили коммунистов в неправильном проведении хлебной монополии, заявили, что мы жестоки к мужику, а сами умыли руки, вышли из исполкома.

— Обойдемся и без них! — твердо ответил Капустин и, поднявшись, указал взглядом на дверь. — Пойдемте-ка, товарищ Ложенцов, проверим, все ли наши посты на месте. Полагаю, что Степанов сегодня явится не один.

Капустин не ошибся: через полчаса Степанов и Хомак действительно пожаловали в сопровождении взвода солдат. Но охрана, выставленная Капустиным у парадного крыльца исполкома, пояснила Степанову, что солдатам здесь делать нечего, что здесь работают представители губернского военно-революционного штаба и они не нуждаются в охране.

Степанов, одетый в китель с большими накладными карманами, поморщился и молча прошел в здание исполкома,— слышно было, как по лестнице гулко прогремели подборы его хромовых сапог. За ним прошагал в широченных синих галифе Хомак. Грудь его была перетянута крест-накрест новенькими хрустящими ремнями, поддерживающими поясной ремень, на котором висела светло-рыжая кобура.

Войдя в кабинет председателя исполкома, где уже почти все были в сборе, Степанов, по старой привычке, приподнял к козырьку руку и, молча кивнув головой присутствующим, сел на стул. Хомак, хрустя ремнями, опустился рядом.

Бегло окинув взглядом собравшихся, Степанов остановился на незнакомом человеке, сидевшем справа от Ложенцова: ужели этот невзрачный юноша и есть тот самый Капустин, который приехал сюда наводить порядки? Потом он посмотрел на Хомака и, заметив на его лице некоторое волнение, невольно подумал: того и гляди, мой комиссар перед этим мальчишкой-реалистом каяться станет...

Но тут встал Ложенцов и, открыв заседание, пояснил, что обстановка в уезде крайне напряженная. Отметив, что за последнее время она еще больше усугубилась неожиданным нападением одного из отрядов продполка на крестьян, он сказал:

— Есть необходимость заслушать по этому поводу объяснение командира полка товарища Степанова.

— Уж не суд ли вы собрались устроить мне? — встав, с некоторым удивлением и даже пренебрежением к собравшимся спросил Степанов.— На это я могу спокойно ответить, что мы командированы сюда центром и не подчинены вам...

— Нет, вы глубоко ошибаетесь,— прервал его Капустин.— Вы подчинялись и будете подчиняться местным органам власти до тех пор, пока находитесь в пределах нашей губернии.

— Позвольте узнать, с кем имею честь разговаривать? — спросил Степанов с еле уловимой усмешкой.

— Я член чрезвычайного военно-революционного штаба,— представился Капустин.— И прошу вас на поставленные нами вопросы отвечать достойно коман-

дира полка, направленного сюда органами Советской власти.

— Ну что ж, — словно проглотив горькую пилюлю, поморщился Степанов, удивившись тому, как этот юноша так непринужденно разговаривает с ним, бывшим штабс-капитаном, георгиевским кавалером, командиром полка. Однако, погасив в себе эту мысль, он продолжал: — Если вы настаиваете, я доложу вам о цели нашего приезда, о том, как нас встретили здесь, какие трудности подстерегают нас на каждом шагу...

Степанов достал из кармана бумагу, развернул ее и начал неторопливо читать. В ней говорилось о формировании полка, о задачах его, о верности революции. Читал он неплохо, даже артистически, и Капустин понял, что этот выдававший виды офицер хочет, видимо, сгладить остроту вопроса, увести обсуждение в сторону, усыпить бдительность местной власти.

— Это все нам известно, товарищ Степанов, — не дослушав до конца, оборвал его Капустин. — Мы в курсе того, зачем вас направил сюда Наркомпрод... Вы лучше скажите о другом, чем было вызвано установление здесь единоличной диктатуры?

— Я в политические функции не вмешиваюсь, — незамедлительно и с достоинством ответил Степанов. — Я — военный. В моем распоряжении военизированный полк, и я выполняю распоряжения вышестоящего командования. Что же касается политики, на это должен ответить комиссар... Конечно, в критический момент, в интересах революции, и я, как командир полка, имею честь сказать свое слово.

— А комиссар как думает? — спросил Капустин. Хомак встал, пожал плечами, дотронулся рукой до портупей.

— Как сказал командир полка, мы действительно установили диктатуру... Вернее, вынуждены были установить в обоюдных интересах революции. Вам, должно быть, известно уже, что местные военные организации без надобности вооружили темные силы крестьян. Что же было нам делать? Мы обратились за разъяснением в центр...

— Неправда, центр вам не давал подобного согласия. Вот, пожалуйста, у нас есть разъяснение, — Капустин потряс перед собой телеграммой. — Столкновение

с крестьянами спровоцировано вами. И грубость ваших солдат, и мародерство... Все это, разумеется, вызвало недовольство крестьян.

— А за убийство моего командира кто будет отвечать? — спросил Степанов.

— Мы, конечно, разберемся, как погиб ваш командир. Создадим, если хотите, смешанную комиссию. Но разоружать в городе караульную часть, захватывать оружие военкомата... Кто вам дал на это право?

— Это диктовалось вынужденными обстоятельствами, — стараясь скрыть волнение, ответил Степанов.

— Никаких вынужденных обстоятельств не было! — возразил Капустин. — Караульная часть находится в ведении военных и советских властей. Вы же, как известно, не являетесь представителем местной власти. Разоружив часть, вы превысили свои полномочия.

— Возможно, но мы, повторяю, поступали в интересах дела...

— Скажите, какого «дела»?

— Того, которому мы служим.

— Вы должны служить революции. А вы, парализовав работу уездного исполкома, по существу, подняли руку на власть Советов...

— Это уже вы искажаете положение вещей, товарищ Капустин, — встав, заявил Степанов. — Я повторяю, что мы поступили в интересах дела... дела, как вы сказали, революции...

— А вода от ваших дел полилась на мельницу врага, — Ложенцов взмахнул рукой, в которой была зажата трубка, — и колеса этой контрреволюционной мельницы так начали крутиться, что даже Березинский и тот поднял голову.

— Березинский к нам не имеет никакого отношения, — заметил Степанов.

— А почему вы якшаетесь с ним? — спросил молчавший до этого Ветлугин.

— Мы требуем, товарищ Хомак, пролетарским увесистым словом требуем снять вашу позорную диктатуру, — подытоживая, сказал Ложенцов. К чертовой бабшке с вашей пьяной диктатурой! Если на то пошло, мы сами без вас заготовим хлеб... Да, да... Сами доставим его красному Питеру...

С заседания исполкома разошлись уже ночью. В кабинете председателя остались лишь двое — Ложенцов да Капустин. Расстегнув ворот гимнастерки, Петр Капустин сидел у стола. В распахнутое окно тек густой влажный воздух: только что прошел обильный дождь, и нагретая жаркими днями земля вдруг ожила, в туманной дымке неожиданно запахло распаренной хвоей и грибами. Было кругом умиротворяюще тихо и покойно. В такую пору, бывало, приезжая домой на каникулы, любил Петька ходить за грибами; выходил он, как всегда, рано, и все знали — первый гриб в лесу доставался ему. Но вот уже три года он не был у родных: как только поспорил с отцом, ушел из дому, так и не возвращался туда... И не надо — отец другой закваски, с ним теперь не может быть мира. Революция не пойдет на сделку с эксплуататорами, не будет ладу и с купцами. Революция не кончилась, дойдет время, она прихлопнет и отцовскую лавку с красным товаром, все станет общим, народным... И тогда, может, поймет отец, что не он прав, а его сын Петька, которого он проклинал и не хотел больше видеть...

— Должны теперь грибы пойти, — помолчав, в раздумье сказал Капустин и взглянул на Ложенцова, растелившего на столе вместо скатерти газету.

— Марфутка моя уже бегала в лес, но нет, не было еще грибов, — ответил Ложенцов и, открыв шкаф, достал ржаной каравай, бутылку молока. — Давайте, Петр Павлович, поужинаем, а то не евши-то, как говорят, суседко рубаху разорвет, — и он засмеялся, светло-голубые глаза его заблестели добродушно и весело. — Хозяйка вот принесла, угощайтесь...

— Не забывает еще? — усмехнулся Капустин и откинул рукой волосы, свисавшие на лоб непослушной светлой прядью.

— Забывать нельзя... Я ведь, Петр Павлович, крестьянин. Не выберут на следующий раз в исполком, домой вернусь и опять за соху.

— Теперь уж за плуг возьмемся, Алексей Никитич... Выбросили мы это слово «соха» из употребления. Плуг у нас должен быть на полях, а потом, глядишь, и трактор придет, — беря хлеб, ответил Капустин. — Да и

крестьянин ты совсем иной: тужурка кожаная, пулеметная лента...

— Так пулеметчик же я...

— Вот так и скажи: крестьянин, мол, пулеметчик, а проще — солдат революции... — и, помолчав, спросил: — Дома-то у тебя кто кроме жены?

— Так вот Марфутка — дочка моя старшенькая, да еще есть поменьше, кнопка такая — Кларой называли. Есть еще сын Иван, тот не дома, на фронте... Семнадцать лет ушел. Не держал его, сам таким был. Пишет, что у Азина в батальоне теперь...

— Это хорошо, что у Азина. Командир он дельный.

— Слышал, что дельный. Только вот он к нам не привернул, а надо бы... Видите, как тут со Степановым получается.

— Согласен, не тот, видимо, этот Степанов человек... Но в Наркомпроде его поддерживают. Иван Васильевич докладывал уже туда. Ответили — разберитесь на месте, объедините усилия, действуйте сообща в интересах революции...

— А интересы-то у нас с ними, может, разные, — наливая в стаканы молоко, сказал Ложенцов. — Мы ведь как их встретили? С полным уважением. Расквартировали... Наметили пункты... Но не прошло и недели, пошли жалобы. Народ с претензией к нам, это, мол, ваше дело, коммунистов... Компрометируют они нас. Хорошо, что вы настояли перебросить отсюда полк. Но ведь и в Малмыже они не лучше будут. Пока не заменим руководство.

— Хомака отстраним.

— Не в Хомаке тут дело, Петр Павлович. Степанов тут вершит делами. Командиры отрядов его поддерживают... Старых он всех поснимал, своих приспешников поставил. Теперь около его все офицеры бывшие трутся. Даже адыютанта, и того сменил...

— В том-то и сложность вся. Основные силы мы бросили на белочехов, а у Степанова — военизированный полк. Голыми руками его не возьмешь, — сказал Капустин и опять задумался. Потом встал, расправил широкие, чуть сутулые плечи, подошел к окну, вполголоса сказал: — Охрана у нас не спит?

— Ну, как же ей спать...

— Смотрите, Ложенцов... Сейчас надо быть каждую

минуту начеку... Повторяю, каждую минуту,— и, заку-
рив, спросил:— А моряк ваш, Сипягин, почему на засе-
дании молчал?

— Моряк-то он моряк, из крестьян, конечно, но вот
тоже где-то снюхался с эсерами...

— А вы не пробовали с ним по душам поговорить?

— Не раз уже говорил. А он свое— крестьянина,
мол, жалею... За него, мол, и старый строй расстрели-
вал...

— На этой жалости они едут пока... Но как только
такие степановы возьмутся за мужика, тогда и сипяги-
ны поймут, да поздно будет,— и, кивнув в сторону окна,
сказал:— А все же проверь-ка посты, не дремлют ли
они там?..

Когда Ложенцов вышел проверять охрану, Капус-
тин уперся глазами в объявление военно-революцион-
ного штаба о введении военного положения в губернии.
Над кроватью, заправленной серым солдатским одея-
лом, висело два одинаковых больших листа, призыва-
ющих всех граждан подчиняться без пререканий и ма-
лейшего противодействия.

Пункты шестой и седьмой были, должно быть, хо-
зяином комнаты подчеркнуты карандашом. Капустин
тотчас же вслух прочитал:

— «Всякие собрания и сборища на улицах без осо-
бого на то распоряжения безусловно запрещаются!

Всякие выступления деревенского кулачества про-
тив бедноты будут беспощадно подавляться».— И тут
же приписано крупно карандашом: «Оружием».

«Правильно,— согласился Капустин,— театров да
ресторанов тут нет, нечего подчеркивать, что должны
закрываться не позже двенадцати часов вечера. Этот
пункт для Вятки больше подходит. Там эсеры и прочая
сволочь гнездятся, ткнут тенета капитализма против
Советов».

Читая, Капустин почувствовал, как вливались в него
новые силы, появлялась та уверенность, без которой,
казалось, нельзя теперь жить ни одному человеку.
Ткнув пальцем в густо усеянный жирными типограф-
скими буквами лист, он наставительно заметил вошед-
шему Ложенцову:

— Не над кроватью надо развешивать директивы
штаба, а на улице, на видном месте...

— И там есть, товарищ Капустин. Сюда вожу особо непонятных, вроде для разъяснения: читай, мол, и учи наизусть. И что ты думаешь, товарищ Капустин, некоторым помогают такие директивы лучше кутузки. Кое-кто даже списывает для себя и дома так же развешивает, как я.

«Того и гляди, еще разоружат тут!» — вернувшись из исполкома, подумал рассерженный Степанов и прошелся по комнате.— Черта с два! Руки у вас еще коротки!»

Степанов был теперь зол на всех — на Капустина, на Ложенцова, на Хомака.

«Комиссар Хомак, эта косая дура в плечах,— возмущался Степанов,— так подобострастно и наивно держался перед мальчишкой-реалистом, что было даже неловко за него». Когда в конце заседания Петр Капустин потребовал немедленного снятия диктатуры, Хомак ни словом не возразил, казалось, он даже был рад, что так легко отделался от лишних хлопот.

«Для чего же нам было заваривать всю эту кашу? Разоружили караульную часть, захватили оружие, установили свой контроль за телеграфом, одним словом, ухватились было за власть, а Хомак возьми да добровольно и передай ее обратно большевикам. Такого помощника и близко к себе бы подпускать не следовало. Да и нужен ли он мне вообще? Разве что как ширма, за которой легче пока укрываться?..»

Однако Степанов больше всего злился на самого себя: «Не сумел раскусить, что Хомак для этого дела совсем неподходящая личность. По указке он еще может кое-что делать, а как спросили ответственность за свои действия — сразу растерялся. Нужно было не выжидать, а браться самому. Но время упущено. Надо снова выжидать, снова сколачивать силы. А как теперь сколачивать, когда предложили со всем полком перебазироваться почти за сотню верст в Малмыж? А может, это и к лучшему,— там в исполкоме другие люди, оттуда ближе к Казани... Хотя и здесь неплохо было, завязались знакомства... Будь на месте диктатора не Хомак, а кто-нибудь другой,— вовсю теперь бы запо-

лыхал пожар! Ложенцов с Капустиным не успели бы и опомниться. Мы сумели б против них обратить весь гнев мужицкий... Тут и реквизиция хлеба, и нехватка товаров — и соли нет у мужика, и керосину, и спичек... Каждую соринку бросили бы на чашу весов...»

Степанов взял с этажерки свежий номер губернской газеты и, опустившись на диван, лег, не снимая сапог. Сначала он пробежал взглядом одни заголовки, словно примериваясь, что нужно прочитать в первую очередь, и, пробежав, остановился на сенсационном сообщении о самоубийстве Муравьева.

В сообщении говорилось, что командовавший силами красных на Чехословацком фронте Муравьев изменил Советской власти, издал ложный, изменнический приказ о выступлении подчиненных ему войск против Советской России.

Сообщалось также, что им был оцеплен Симбирский Совет. Но войска Муравьеву не подчинились; остались верными Советам. Ему ничего не оставалось, как только застрелиться.

Известие о самоубийстве бывшего царского генерала Муравьева потрясло Степанова. Когда-то он встречался с ним, был лично знаком... «Однако что же делать — неизвестность следует по пятам каждого из нас», — и Степанов, снова уткнувшись в газету, прочитал о восстании эсеров в Муроме. В корреспонденции сообщалось, что восстание не имело успеха, Советы энергично подавили его, как подавили недавний мятеж в Ярославле.

«Интеллигентность нас заела», — поморщился Степанов и хотел отложить газету, но его внимание привлекла другая статья.

«Одновременно с убийством графа Мирбаха начались выступления боевых левозэсеровских дружин в различных частях столицы», — прочитал он в радиোগрамме из Москвы.

«Ну, что же, это для начала совсем неплохо», — улыбнулся Степанов.

Он продолжил чтение:

«...Вооруженные отряды левых с-р заняли телефонную станцию, телеграф и некоторые другие важные пункты...»

— Даже по Кремлю стреляли?! — воскликнул он,

читая дальше. Однако по мере чтения Степанов снова помрачнел.

«Жаль, жаль, что отступили,— поджав губы, подумал он.— Так же, видно, отдали телеграф, как и мы с Хомаком... И в Петрограде эсеры тоже провалились».— И Степанов, все еще не выпуская из рук газету, уставился в потолок, с которого свисала легкая сеточка паутины.

Он вгляделся и увидел, как в середине паучьего кружева завязла муха, она была уже совсем бессильна и лишь изредка двигала своей крохотной лапкой.

«Ужели лапотный неграмотный мужик сильнее вооруженной армии, сильнее наших старых, хорошо обученных военных кадров, наконец, сильнее объединенных сил Антанты?— думал Степанов.— Или мы так оскудели душой и телом, что вместо того, чтобы стрелять в противника, убиваем самих себя? Убиваем беспрецедентно и глупо...»

Степанов вскочил с дивана и швырнул газету.

«Надо торопиться, штабс-капитан, а то и ты увязнешь тут, как вои та муха на потолке»,— застегивая блестящие пуговицы кителя, подумал он и, открыв дверь, позвал к себе Малыша.

Когда тот вошел в комнату, Степанов кивнул головой на графин:

— Налей и выпей!

— А вы, товарищ командир?

— Я тоже.

Степанов поднял рюмку с позолоченным ободком и, запрокинув голову, выпил, потом взял с тарелки жареного цыпленка и, оторвав ножку, принялся есть.

После второй рюмки он вытер рот салфеткой и, щурясь, сказал:

— Через день мы снимаемся с тобой, Малыш. Снимаемся по вине Хомака. Он изменил нам,— и, помолчав, тихо и доверительно и в то же время твердо добавил:— Списать его с довольствия!..

— Это как понять вас, товарищ командир?— недоуменно заморгал глазами матрос и поставил на стол рюмку.

— Списать, а как — придумай сам...

— Не могу, товарищ командир...

— Что-о-о?! — вскипел не ожидавший возражения Степанов.

— Я с корабля «Гангут», товарищ командир, и не могу так.

— Значит, ты против? — процедил сквозь зубы Степанов. — Против воли пролетарской революции? — и, выхватив револьвер, крикнул: — В карцер!

На другой день, пасмурный и ветреный, у приземистого собора с разливистым зеленым куполом, похожим на чашу, перевернутую вверх дном, собралась кучка горожан, которые напряженно вглядывались в конец Воскресенской улицы. Вскоре из-за угла, со стороны солдатских казарм, показался отряд конных, за ним шли в пешем строю солдаты, потом двигались повозки, тарахтя колесами по булыжной мостовой. В рессорном экипаже, запряженном парой сытых лошадей, сидел сам Степанов в шинели, перехваченной ремнем. Угрюмо поглядывая из-под козырька фуражки, он лишь изредка кивал головой своим знакомым.

Когда экипаж поравнялся с собором, до Степанова донесся сипловатый голос:

— Наезжайте, Анатолий Ананьич!..

Степанов повернул голову и увидел среди горожан Риторику, вытягивавшегося на носках и махавшего соломенной шляпой.

— Обязательно, — сухо обронил Степанов и подумал: «Удастся ли только? Но почему же не удастся? Я бросил здесь семена, и они должны взойти...»

21

Степанов уже с неделю находился в Малмыже. Это был небольшой уездный городок с деревянными домами, которые теснились вдоль прямых улочек, обсаженных деревьями. На одной из улиц в скромном особняке и поселился Степанов. Жил он внешне тихомирно, казалось, со всем смирился, руководителям местного исполкома своими визитами не надоедал, занимался только внутренними делами продовольственного полка, а что там происходило, в этом полку, — никто и понятия не имел. Но полк жил своей напряженной жизнью, многим из солдат казавшейся странной и тревожной.

Когда чехословаки, оседлав железную дорогу, подошли к самой Казани, Степанов вдруг оживился, он почувствовал, что наконец-то пришло время действовать. Не долго думая, он арестовал Хомака, обвинил его в измене революции, снова пересмотрел состав командиров своих отрядов, отстранив от руководства тех, кто не особенно ладил с ним. Да и весь полк за последний месяц значительно изменился. Когда полк снялся из Уржума, к нему примкнули сынки богатеньких местных мещан — преимущественно офицеры старой царской армии. Сейчас же, одновременно с заготовкой хлеба, агенты Степанова вербовали в полк всех, кто был недоволен новой властью. Они не скупились на посулы — щедро обещали награды, деньги, даже лучшие земельные наделы. И это имело успех. К полку присоединилось и несколько скрывавшихся в лесах белых банд, голодных и оборванных и теперь согласившихся воевать за «восстановление поруганной справедливости».

Однажды дождливой ночью кто-то постучался в дверь.

Степанов вскочил с перины, прислушался. Стоявший в охране солдат пропустил незнакомца в сени и о чем-то начал вполголоса разговаривать с ним. Степанов выглянул в сени и увидел при свете фонаря незнакомое костлявое лицо позднего гостя.

— Петр Чирков, — представился тот.

— Член Самарского Комуча?

— Представьте себе, он самый, — сухо усмехнувшись, ответил Чирков и вошел в комнату. — На улице дождь, а ты вот едешь, разыскивай то одного друга, то другого, — пошутил он. — Хорошо, что старикашка какой-то указал... А то пришлось бы вас искать до утра, продорог бы окончательно...

— Ничего, теперь согреетесь, господин Чирков, отоспитесь, — ответил Степанов.

— Спать некогда, я должен через час отбыть. Пусть только передохнет мой конь. Утром я уже должен быть в другом месте.

Чирков снял фуражку и, пригладив рукой прилипшие ко лбу редкие черные волосы, внимательно посмотрел на Степанова.

— А сейчас нам с вами надо поговорить... Я уже кое-что слышал о вас, и потому, как говорят, на коня — и сра-

зу в галоп.— Окинув взглядом комнату, спросил: — Скажите, как ваши дела?

— Да вот сидим у моря — ждем погоды.

— Будет погода, будет,— успокоил Чирков и, сбросив с себя тужурку, брезгливо поморщился:— До чертиков надоело маскироваться под комиссаров в этом кожухе.

Опустившись на диван, он расстегнул ворот суконной черной гимнастерки и устало откинулся на спинку. Болезненно-худое лицо, тонкие нервные губы, полузакрытые воспаленные глаза — все говорило о том, что Чирков проехал немалый путь без отдыха и сна.

— Куда же спешить, отдохните,— доставая рюмки, снова посоветовал Степанов.

— Ни в коем случае — служба... Через час, не позднее, выезжаю,— и, на минуту-другую закрыв глаза, он вдруг как-то по-куриному встряхнулся и встал.— Ну-с, господин командир,— словно отдохнув, сказал он уже несколько бодрее,— расскажите, как все же обстоят дела? Я слышал, что вы обращались в центр за разрешением призвать вятских мужиков для пополнения вашего полка, доведя состав его до пяти тысяч?

— Да, обращался,— подтвердил Степанов.— Конечно, я обещал заготовить до осени минимум сорок миллионов пудов хлеба.

— Но я полагаю, что дело сейчас не только и не столько в хлебе...

— Я понимаю вас...

— Достаточно ли у вас оружия? — спросил нетерпеливо Чирков.

— На днях мы обратились в Наркомпрод с просьбой, чтобы, ввиду чрезвычайных обстоятельств, нам выделили бронированный автомобиль, десять пулеметов...

— И что же ответили?

— Обещали... Надо сказать, что мы в центре имеем поддержку... Благодаря этому, за последнее время мы значительнополнили свою материальную часть.

— Ну, а каково здесь, в губернии, моральное настроение? Готова ли вятская земля встретить, как подобает, войска армии-освободительницы? Если готова, то каковы ваши планы, предположения, соображения относительно ближайшего будущего?

— Об этом мы думали не раз, господин Чирков,— наполняя рюмки спиртом, ответил Степанов.— Некоторые инструкции из Самары я уже имею. Вчера мы относительно этого совещались в узком кругу. Не поймите превратно, но игру в комиссародержавие, как вам известно, мы уже прекратили. Хомак сыграл свою роль и; скажу по секрету,— бесславно погиб... при побеге...

— Это меня мало интересует,— заметил гость и отодвинул рюмку.— Скажите, какие есть дополнительные реальные силы на местах в пользу нас?

— Безусловно, есть... Успешные операции чехословаков под Казанью оказали воздействие и на местное население,— сказал Степанов.— В частности, на здешний уезд. Могу констатировать, что в ряде волостей уже кое-где начались восстания. Стихийное бунтарское чувство, к счастью, еще живет в русском мужике.

— Вы полагаете, что здесь все может произойти без вашего прямого участия?

— Да, почти что так, прямого нашего вмешательства в Малмыже, полагаю, не потребуется. Необходимо наше соучастие, подбадривание мужика,— и, подняв рюмку, добавил: — Учитывая последние сообщения об ижевских событиях, я полагаю, что мы абсолютно днями должны вернуться в Уржум, центр этого южного округа, если так можно назвать.— Не выпуская рюмку, он развернул на столе карту и ткнул в нее пальцем.— Здесь, в полукилометре от нас, пристань, две трети полка мы грузим на баржи. Поднимаемся вверх по Вятке до Русского Турека. А там от Турека до Уржума рукой подать — двадцать три версты.

— Соппротивление не окажут?

— Некому там оказывать... Как только коммунисты в Уржуме разбегутся, здесь, в Малмыже, в соседнем Яранске — само собою все рассыплется. Иначе и быть не должно. Посудите сами. Во-первых, сюда двигаются с неотвратимой настойчивостью войска чехословаков; во-вторых, мы здесь, в тылу красных, поднимаем мятеж... Ну, а с продвижением в глубь губернии силы наши с каждым днем будут расти. Мы пойдем по хлебным местам, нам, безусловно, будет симпатизировать зажиточная часть деревни...

— Каким путем вы намерены двигаться? — перебил Чирков.

— Путь у нас знакомый... Ну, выпьемте же,— и, запрокинув голову, Степанов вылил в рот рюмку, ткнул вилкой в кусочек мяса, лежавшего на тарелке.— Будем двигаться... Двигаться в двух направлениях. Первое, водным путем — на Котельнич, чтоб овладеть железнодорожным мостом. Таким образом,отрежем путь на Москву и Питер. И второе,— он снова налил рюмки,— второе направление — на Вятку по почтовому тракту... Через Нолинск, Суну... К этому моменту мы, конечно, рассчитываем на новый реальный удар освободительных войск справа, со стороны Глазова, и тогда Вятка считай что в наших руках. Одним словом, перерезать железную дорогу в Котельниче и Вятке — это уже, на мой взгляд, большое поражение красных на Восточном фронте.

— Все ясно, господин Степанов,— сказал Чирков.— Так сказать, ваша задача-минимум — овладеть югом губернии и сделать бросок на север, к Вятке. Но меня, скажу прямо, интересует задача-максимум,— сдержанно усмехнувшись, он достал из потайного кармана бумагу, протянул ее Степанову.

Тот взял. На чистом бланке сверху крупным типографским шрифтом было отпечатано: «Уполномоченный областного центра Союза возрожденной России».

Степанов понимающе кивнул головой и, в знак одобрения, пожал тонкую ладонь Чиркова.

— Значит, вы уже едете в Уржум с полномочиями?

— Да, пока что в гости к моему старому другу Березинскому.

— Николай Евгеньевич о вас много лестного говорил.

— Благодарю за комплимент,— сказал Чирков.— Надеюсь, что я скоро встречу вас там же,— и, взяв рюмку, тряхнул головой и выпил.

Уезжая, Чирков сказал: «Не упустите момента, дорогой Анатолий Ананьевич». В этом «не упустите» Степанов вдруг почувствовал легкий упрек, а может, и недоверие Чиркова к себе... «Или это только так показалось? А может быть, Чирков по-своему и прав, еще неизвестно, как все сложится... Хотя чего же сомневаться. Казань не сегодня завтра падет. А там и фронт подступит

вплотную к Вятке. Чего же мне долго ждать? Надо вводить в дело свой полк...»

Степанов достал из накладного кармана кителя записную книжку и, взглянув на последнюю страницу, прикинул, сколько же у него значится теперь винтовок? Он сейчас не расставался со своей книжкой, каждый день заносил в нее что-нибудь. Его интересовало все — и винтовки, и телефонные провода, и кавалерийские седла... «Все со временем пригодится для полка, все», — подумал он и, сунув книжку обратно в карман, снял китель, повесил на спинку стула. Потом стянул сапоги, разделся и, придвинув к кровати стул, на котором стояла лампа с голубым полинявшим абажуром, залез под одеяло.

«Вацетис так сюда и не заявляется, — подумал он и, потянувшись к кителю, снова достал записную книжку. — Чего же я недополучил?» И он снова начал перечитывать записи:

«13 июля. Запросил 10 мотоциклов, телефонного кабеля 500 верст, бензина 10 цистерн, телефонных аппаратов 15...»

Прочитал и против записи поставил красным карандашом галочку.

«14 июля. Запросил выслать 1 миллион рублей для выплаты продовольственному полку».

И опять — галочка...

«16 июля. Наши обстреляли пароход с губпродком...»

«Глупцы... — с неудовольствием подумал Степанов. — Раньше времени раскрывают себя...»

«17 июля. Получено из Вяземского артсклада: принадлежности к 6-дюймовым орудиям и инструмент для ружейной мастерской. Получено также 500 комплектов обмундирования...»

Перелистнув несколько страниц, Степанов приподнялся и сделал новую запись:

«7 августа. Получено по нарядам Москвы одеял 200 штук, простыней 200 штук, наволочек 200 штук...»

«Все, что запрашивал, в основном получено, — удовлетворенно подумал он и, не выпуская записную книжку, опустил руку на ватное одеяло. — Полк сейчас обеспечен всем необходимым. Даже есть маленький резерв... Людской состав прибывает. Вместо отколовшихся моря-

ков-гангутовцев вливаются новые силы — местные офицеры. Они знают местность, людей. Это большое преимущество. Только надо выбрать, как говорил Чирков, момент... Только момент... момент...»

Проснулся он от страшного сна, будто приехал сам командующий Восточным фронтом Вацетис и хочет арестовать его. Но, к счастью, это был только сон. Степанов потушил в лампе свет — в комнате и так уже было светло; прислушался к доносившемуся с улицы разговору. Тут же вспомнив, что он еще вчера собирался послать телеграмму в Москву, — вскочил, натянул брюки, сунув ноги в растоптанные домашние туфли, открыл дверь в сени и столкнулся с начальником штаба полка Отрешко.

Отрешко был невысок ростом и худосочен. Каждый раз при виде командира он стеснительно жался, отчего казался еще меньше.

— Вам телеграмма, товарищ командир, — приложив руку к козырьку, прерывисто сказал Отрешко.

— Не от Вацетиса? — беря из его рук телеграмму, нетерпеливо спросил Степанов и разорвал склеенный край. — А-а... от командарма-два Блохина... — и, вернувшись обратно в комнату, пробежал глазами начало телеграммы:

«Устье Камы и Казань заняты чехословаками...»

— Вот как! — восторженно воскликнул Степанов и, тут же упрекнув себя за несдержанность, продолжал читать уже вслух:

— «...Все железнодорожные и водные пути большей своей частью заняты противником, меньшая часть может быть занята каждую минуту. Та продовольственная работа, которую ведут ваши полки, снабженные орудиями, пулеметами и другим снаряжением, теряет всякий смысл, ибо заготовленный вами хлеб рискует каждую минуту остаться в руках неприятеля. Части Второй армии прилагают все усилия, чтобы сломить противника, но не хватает людских сил, орудий, снарядов, пулеметов».

Читая, Степанов хмурил разлтые брови, однако в душе он радовался.

— Да, это, пожалуй, соответствует действительности, — сказал он и продолжал:

— «...В такой чрезвычайно ответственный момент

было бы преступным перед Советской Россией держать в бездействии ваши продовольственные полки, имеющие военное снаряжение, и использовать их для другой цели, которая теряет свое значение. Именем Революции, именем Советской Республики предлагаем вам отдать немедленно все ваши части в распоряжение штаба Второй армии целью отражения обнаглевшего противника...»

Все еще хмурясь, Степанов повертел в руках копию телеграммы, адресованной всем продполкам, и, посмотрев на число и час подачи ее, сказал:

— Ну, вот и началось...

— Что же будем отвечать? — спросил Отрешко.

— Отвечать? А почему мы должны отвечать? Мы подчинены не Блохину, а Москве, — и опять подумал: «Жаль, что Вацетис так и не приехал. Мы бы его со всем штабом тепленьким взяли, и — в подвал, под охрану!..»

— Но все же мы как-то должны отреагировать, — не отступал Отрешко.

— Реагировать, конечно, будем... — Степанов сдернул с гвоздика полотенце и, о чем-то мучительно подумав, пояснил: — Имей в виду, Отрешко, чехи уже на пути к Арску, и мы по воле Блохина не можем поставить полк под неминуемый разгром... — Снова взглянув на телеграмму, добавил: — Позвать в штаб заведующего хозяйством и казначея и вместе с ними ждать моих распоряжений.

Перебросив через плечо махровое полотенце, он вышел в сенцы и торопливо забренчал соском медного рукомойника.

В тот же день, часов в пять вечера, Степанов, Отрешко и кассир выехали со двора штаба в открытом экипаже, запряженном парой лошадей. Их сопровождал конный отряд. Жители Малмыжа, видя проследовавшую по немощеной пыльной дороге необычную процессию, были немало удивлены — спокон веков здесь никто не ездил с охраной, да еще такой, когда верховые, увешанные винтовками, шашками, ограждали экипаж спереди и сзади.

Остановившись у двухэтажного кирпичного дома, в котором размещалось уездное казначейство, Степанов вышел из экипажа и, увидев здешнего казначея, стояв-

шего на крыльце, спросил, много ли у него имеется в кладовой денег. Казначей, коренастый с подкрученными усами пожилой человек, смутился было, но, видя вооруженный отряд, сказал:

— Точно не помню, кажется, тысяч пятьсот есть, не больше...

Степанов поблагодарил его за ответ и тут же предложил выдать ему деньги.

Казначей недоуменно пожал плечами:

— Без разрешения Вятки выдать не могу, не имею права.

— Взяты! — не желая терять времени, властно сказал Степанов.

Двое вооруженных солдат схватили казначея за руки и потащили в здание. Тот упирался, не давал ключи. Окинув взглядом большое неудобное помещение казначейства, Степанов ничего не сказал, а только кивнул в сторону стоявшего в углу сейфа с висячим замком, и солдаты поняли. Один из них, здоровенный, с выбившимся из-под фуражки белесым чубом, ударил прикладом по замку; железо лязгнуло, но не поддалось. Чубатому пришел на помощь второй — низенький и шустрый. Он засунул штык за дужку замка, и замок не выдержал — полетел на пол. Степановский кассир торопливо сложил деньги в кожаный саквояж и в свою очередь сообщил, что кое-что имеется в кассе упродкома.

— Теперь поедem и туда, — ответил Степанов и, взглянув на плачущего казначея, постарался успокоить его: — У нас надежнее сохраняются. Придут чехи, все заберут, — и, повернувшись, вышел, сопровождаемый солдатами.

Сев в экипаж, Степанов посмотрел на своего начальника штаба и подумал: «А зачем все же мне таскать с собой этого кутенка? Пусть остается здесь, пусть поговорит с отколовшимися матросами...»

Подъезжая к упродкому, он сказал:

— Я сегодня с главными силами полка отбываю пароходами. Ты задержишься на день-другой здесь. Проведи работу с матросней, может, расскаются, вернутся к нам. Сделаешь дело — выезжай трактом...

— Хорошо, постараюсь убедить, — услужливо ответил Отрешко, все еще ничего не понимая.

Вечером Степанов спешно погрузил на два парохода

и две баржи вооружение, боеприпасы, продовольствие, лошадей и, объявив солдатам, что чехи уже в сорока верстах от Малмыжа и что надо сохранить силы, отплыл вверх по направлению к Уржуму.

Когда на следующий день пароходы начали подходить к пристани Русский Турек, Степанов с палубы увидел на берегу множество людей и, немало удивившись, навел бинокль. Люди толпились, среди шляп и картузов мелькали офицерские фуражки. И вдруг из толпы показался коврижский Илья Кротов, которого хорошо знал Степанов. На вытянутых перед собой руках, на полотенце, Кротов держал большой каравай хлеба с солонкой наверху.

«Вот так встреча!»—самодовольно улыбнулся Степанов и с чувством собственного достоинства сошел по пружинистому упругому трапу на берег.

— Милости просим!—отвесил поклон рыжебородый Кротов.—Примите хлеб-соль... И оружие,—шепнул он.

Степанов с благодарностью кивнул головой, не торопясь отрезал ножиком от каравая кусочек, макнул в солонку и, перекрестившись, сунул в рот.

— Видишь, как хрещеный-то,—прошамкала какая-то старуха и выбросила над головой руки:—Господи, по-ми-луй, помоги побороть антихриста...

Степанова окружили бывшие офицеры с георгиевскими ленточками на фуражках. Откуда-то взялся краснолицый лавочник—в одной руке он держал бутылку, в другой—стакан, наполненный водкой. Но Степанов отстранил стакан и, отдав распоряжения тотчас же арестовать местный волисполком, поднялся на кропотовскую пролетку, запряженную парой сытых лошадей.

— Граждане свободной России!—обратился он к толпившимся вокруг людям.—С каждым часом власть большевиков слабеет. Настало время сказать: долой насилие! Да здравствует Учредительное собрание!

Последнюю фразу Степанов выкрикнул так громко, что голос его сорвался и оратор, поднеся ладонь ко рту, закашлялся.

— Ради чего мы свергли царское правительство?—прокашлявшись, спросил он уже другим голосом, торопливо и надтреснуто.—Чтобы быть свободными! Но где эта свобода? Ее отняли у нас большевики. Долой их,

граждане! Чтобы остаться у власти, большевики заключили тайный позорный договор с немцами, по которому российский народ пойдет в немецкое рабство. Не дадим же погибнуть России! Долой комиссародержавие! Вперед, на Уржум!

Кругом захлопали, а Илька Кропотов, взмахнув ручищей, зычно крикнул «ура». Его подхватили степановские конники, только что выгрузившиеся на берег. Толпа шевельнулась и, послушно расступясь, дала им дорогу.

В тот день, когда степановцы снимались из Малмыжа, Егор Ветлугин возвращался в Уржум из дальней волости. Просезая мимо родных мест, он все же решил заглянуть домой. Лошадь, запряженную в тарантас, в котором лежали кое-какие товары, оставшиеся не обмененными на хлеб, он отослал со своим товарищем, а сам отправился в Ржаной Полой пешком. Через полчаса, поднявшись на взлобок, Егор увидел свою деревушку, настолько знакомую и милую, что он даже остановился. Охваченный волнением предстоящей встречи с родными, постоял немного, потом перелез через изгородь и по пропеченной августовским палом дороге спустился к Ветлужке, а там поднялся по тропинке — и к дому. На задворках, с трудом откинув скрипнувшие воротца, отметил для себя: подгнила веретей, надо бы поставить новую. Не доходят, видать, руки у тятки. И крыша на доме пообветшала. Да не у одних их — у соседей тоже не лучше. «Пора бы строиться мужикам, но не дают гады, белые. Осилить бы побыстрее их, утвердить наконец власть. Тогда и мне можно насовсем вернуться в Ржаной Полой...»

Домашние — отец Евлаха и сноха Глафа — так обрадовались гостю, что не знали, куда и усадить его, а Федярка — тот так и ходил за ним следом. Как только Егор умылся с дороги и, вытерев лицо расшитым Глафиным полотенцем, сел на лавку, Федярка в тот же миг уселся рядом, дотронулся до кармана гимнастерки, из которого высовывался кончик карандаша с блестящим наконечником.

— Это чего такое у тебя, дядь? — не утерпел он.

— Мое оружие. У деда вон твоего плуг, а у меня вот

эта самописочка,— улыбнулся Егор и, достав карандаш, протянул племяннику.

— И дорогая эта самописочка? — спросил Федярка.— Небось пуда два муки стоит?

— Ну что же, бери, дарю, если нравится,— все еще улыбаясь, ответил Егор.— Только, чур, писать им будешь тогда, когда в школу пойдешь...

— Так в школу-то что... Я нынче и пойду.

— Да кто тебя возьмет? — отозвалась мать, накрывая на стол.— В училище берут умников, а не шалунов... Ты только по деревне бегаешь... Ни буквочки не знаешь. И вы, Егор Евлампич, зря ему такую дорогую вещь отдаете. Такую вещь ему еще, соплону, совсем таскать не пристало.

— А вот и пристало,— обиделся Федярка.— Я же сказал, что хранить буду. Спрячу. Даже Степашка бы и тот не нашел.

— Степашка теперь досюда не доберется,— сказал Егор.

— Насовсем ли только из Уржума-то выкурили его? — спросил Евлаха, ставя на стол бутылку с мутноватой жидкостью.

— Это что у вас? — спросил Егор.

— А это кумышка наша,— как ни в чем не бывало ответил Федярка.

Подскочила Глафа, дернула сына за ухо:

— Если ты еще брякнешь кому — ухо оторву.

— Так ведь я не кому брякаю, а дяде...

— Ну, смотри у меня, пешкарь,— пригрозил внуку и дед.— Язык нынче за зубами держать следует,— и принялся откупоривать бутылку.— Угощение-то, Егора, сами гнали... Куда ж мужику податься? Водки, и той не стало. Вот и изобрели свои устройства. Я ружье старое пожертвовал для аппарата, а другие прочие змеевики тайком у Фаньки наковали... Кто как... Ничего — забористое получается. Прошлый раз для здоровья вон с Глафирой лагунчик зарядили в подполке. С четверть получилось первачу. Да второго сорту тоже такая же бутылка. Конечно, второй-то сорт малость послабее. Да еще и третьего натекло... Кисленькое, правда... Ну-кошь, давай... Для себя-то первого спробуем...

— А ты знаешь, отец, что за это полагается? По меньшей мере ревтрибунал...

— Ну-к, что? Не попрешь же отца в трибунальню? Или и меня за шиворот, буржуя такого, лапотки чок-чок и на высидку, как Олешку нашего? — усмехнулся Евлаха в усы и, неуклюже обхватив стакан толстыми прокуренными пальцами, чокнулся с сыном, потом со снохой.

Глафира — тоненькая, еще совсем молодая, лишь годом или двумя старше Егора, — смущенно улыбнулась, тоже потянулась со стаканом:

— Давай, братец... Поначалу выпьем, а потом, как говорит тятенька, хоть куда, хоть в трибунал. И гнать, как попадем туда, перестанем. Да и то сказать, отчего пьем это зелье? От горя, верно тятенька говорит... Видишь, рядом сидит какой опеныш?.. А каково хоть мне же растить его одной? Спасибо тятеньке вон — не обидит пока что...

— Ну, ладно, Глафирья, о Федосее чего уж горевать... Канул, как и не бывало. Живым о живых падоть думать. Хоть этот же опенок...

— Я вовсе и не опенок.

— Ишь ты, не любишь, когда правду говорят? А карандаш золотой вон у дяди небось захрабостовал...

Евлаха добродушно ухмыльнулся, поднес стакан к губам, заросшим усами и бородой, медленно начал тянуть из него. Выпив, неторопливо вытер рукавом рот, легонько крикнул от удовольствия, глянул на донышко стакана, словно проверяя, не осталось ли там лишней капельки.

— Не часто удается мужику так-то, — вздохнув, заметил он. — Потому и не страшно, сынок, теперичь ему ничего...

Старик осмотрел на тарелке закуску и, подцепив на вилку груздок с закругленными лохматыми крайчиками, услужливо протянул его сыну:

— На-ко вот... Сам на еловухе наймал, — и горько усмехнулся. — За грибы-то небось в трибунальню не потянут...

Свежий и крепкий груздь приятно хрустнул на зубах Егора. Он поддел с тарелки другой — грузди и впрямь были хороши, умела Глафа засаливать их.

— Чего слышно-то, братец, об Алексие? — присев на стул, спросила сноха. — Судить будут аль, может, отпустят?

— Должны на днях отпустить,— ответил Егор.— Тут не в Алексее дело было...

— Конечно, не в нем, ведь не нарошно, а за Пашку, за брательника заступился...

— А вот и не за Пашку, мам, а за деревню,— вступил в разговор Федярка.— Потому деревню всю наповал хотели степахи-то перекрошить.

— Да полно тебе, пострел! — крикнула Глафа.— Пострел, ты и есть пострел,— и, взглянув на вихор, вспомнила мужа: пострел-то ведь весь в Федосю: и нос, и глаза...

Потом тайком перевела взгляд на братца — и тот похож. Глаза у него тоже голубые... И нос горбинкой, и губы полные... «Господи, да ведь все ветлугинские смахивают на Федосия. Однако при чем тут Федося. Федосий сам похож на братца... И братец на него — как две капли воды... Не пойму — чего такое случилось, выпила с наперсток и вспомнила все...» И опять в груди открылась ранка и засадила вдовьей неумемной болью.

А старик уже допытывался у сына:

— Из нового-то намолота сколь хлебушка власть-то спроворит? Со всех поровну возьмет аль с кого и с покатом?

— Придется, отец, кое с кого еще и с покатом взять.

Евлаха не ответил, лишь только поморщился и долил самокуром стакан.

Поздно вечером Егора уложили на старинную деревянную кровать. На ней спала обычно Глафа с Федяркой, но когда в доме появлялся гость, кровать уступали ему. Глафа перетряхнула постель, накрыла полотняной с вышивкой по краям простыню, взбила подушку, тоже с вышивками по уголкам; достала из сундука стеганое одеяло, раскинула по кровати...

Когда Егор разделся и лег, Глафа подошла к нему и тихонько спросила, удобна ли постель. Потом склонилась к изголовью:

— Как, Егорша, ты на Федосия похож! Ровно на живого соколика нагляделась,— и, дотронувшись до его руки, чуть слышно добавила: — Дай я тебя по-родственному поцелую, за его, сердешного...

Егору долго не спалось — закроет глаза, а перед ним Ксена, такая же добрая, как и Глафа. Только она совсем молоденькая и смешливая шибко. Другой раз идет рядом, да вдруг ни с того ни с сего как расхохочется. Голос у нее звонкий, разливчатый...

«Несерьезная ты, Ксенка», — скажет иногда Егор.

«Ну и что ж, что несерьезная, зато веселая! — отшучивалась Ксена и, схватив Егора за руку и заглядывая в глаза, тут же начинала допытываться: — Серьезных любишь, да? — Не получив ответа, сердилась: — Ну и иди, ищи серьезных!..»

Но в этот раз, провожая Егора в командировку, она сказала совсем по-другому: «Я буду очень скучать по тебе. Возвращайся быстрее, комиссар».

Вспомнив это, Егор подумал: «И я соскучился по тебе, Ксена. Но ничего, побуду денек-другой дома — и вернусь. И опять будем вместе».

Наутро Егор проснулся рано. Он знал: вся деревня собиралась жать на старых дербах.

Из дому вышли всей семьей. Старик Евлаха даже принарядился — в пестрядишной новой рубаше, в белых полотняных штанах. За поясом — топор: на обратном пути свернет в лес, выберет подходящую березку и срубит. А дома изладит из нее двухрожные вилы, чтобы потом ими подавать снопы на скирды. Евлаха всегда такой, он никогда не возвращался с работы домой с пустыми руками: то лыка надерет для пестеря, то вырубит черемуховый обруч на кадку, а нынче вот ему вилы понадобились. За свекром шла Глафа с корзиной, в которой лежала еда. Рядом — братец Егор, он нес берестяной туюсок с квасом. Федярка бежал тут же, — то поотстанет, то забежит вперед и присядет где-нибудь за куст, чтобы потом неожиданно выскочить и пугнуть деда.

На угоре, посреди огромного поля, Евлаха отыскал свою полоску, оглядел ее с конца, для порядку перекрестился, мысленно пожелав себе побыстрее справиться с делом; потом плюнул на черенок серпа и, склонившись, словно он хотел боднуть рожь, подступавшую глухой стеной к дороге, захватил в горсть вызревшие стебли. И все услышали, как хрустнули, надломились они под серпом. Захватывал он ржаные стебли по-своему,

не торопясь, но сразу помногу, два захвата — и полная горсть. Глафа работала по-другому. В белом сарафане без рукавов, она быстро хватала рукой восково-белые стебли, ее серп ходко и деловито будто жевал их — хруп-хруп-хруп, — и свежая горсть уже летела за плечо. Свекор одну горсть положит на землю, а сноха в это время две да три метнет. Вот уже Глафа вырвалась вперед и, видя, как Егор на своей лехе начал отставать, норовила подсобить ему, вела не только свой загончик, но поджинала и его край.

— Не усердствуй шибко-то, братец, — шепнула она, когда серпы их приблизились и чуть не сцепились своими коваными носами. — Чего ж тебе надрываться? Это нам с тятенькой привычно.

И верно — с непривычки у Егора ломило спину, пот горохом катился по лицу, и, вытирая его платком, он оглянулся. Позади уже рядами лежали снопы. У отца — толстые и тугие, будто бочонки, у Глафы снопы чуть поменьше, но их столько было, что не умещались в ряд, и она клала их крестом — сноп на сноп. А у него — чего же у него — реденько снопиков лежало за спиной, и снопики-то не такие, как у Глафы, — головастые, взсрошенные. Украдкой Егор взглянул на сноху — крепкие, с загорелыми икрами ноги в берестяных ступнях, бойкие, свободнодвигающиеся руки, то и дело подбрасывавшие через плечо горсти тяжелого жита. И он снова подумал, какая дельная и работающая Глафа.

Подойдя к сгруженным крест-накрест снопам, Егор взял из-под них туесок, отпил через край холодного квасу и снова взглянул на Глафу: она стояла спиной к нему и ловко, словно играючи, свивала пояс для нового снопа, высокая, стройная, с гордо посаженной головой, повязанной белым платком.

К вечеру у отца от жары отяжелела голова, и они с внуком ушли домой пораньше: надо ведь на обратном пути вырубить в лесочке вилы, да и дома прибрать скотину, а потом еще и скипятить самовар. Как хорошо после работы прийти домой к готовому самоварчику! Пусть и морковный чаек, но все же не пустая вода, а чаек...

К концу дня поднавык и Егор — спина меньше ныла, и руки быстрее ходили возле земли. Закончили они полосу с Глафой, когда уже совсем стемнело. Но рано

еще уходить, надо поставить суслоны, за день-то вон сколько снопов наметали на полосе. А днем их ставить нельзя: на такой жаре все зерно окрошишь. И ставят их только вечером, когда спадет жара, отросит и снопы чуть повлажнеют.

Глафа и тут неутомима, возьмет на руки тяжеленный тятенькин сноп, опрокинет его на «голову» и, обхватив ржаные колосья ладонями, скажет:

— Осторожненько приставляй, братец,— и нетерпеливо добавит: — Подержи-ка...

А сама уже бежит за другим снопом. Подбежит, приставит его. Тут и Егор рядом — со своим. Вот поставлен третий, четвертый... Так тринадцать снопов сгрудят колосьями вверх,— и суслон вроде готов. Хотя нет, еще шапкой накрыть его надо, или, как говорят здесь, клубуком,— от дождя оградить да и от птиц... Тут уж, с клубуком управляться, дело мужское,— и Егор, выбрав потяжелее сноп,— тятенькины для такого случая как раз подходят! — ставит его на попа и принимается разламывать солому во все стороны — солнышком. Глафа тем временем сдружает, обхватывает суслон руками, чтобы колосья не топорщились, но суслон-то эвон какой — не обхватишь, а Егор уж тут как тут, поднимает на руки клубук и набрасывает его поверх суслона, как шляпу. И вот суслон готов — широкий, духмяный, от него так пышет свежим, распаренным, пьянящим ржаным караваем.

— Когда же, братец, дома-то побываешь опять? — охорашивая последний суслон, спросила Глафа. — Небось и не приедешь теперь... Может, и женишься там?

— Нет, что ты, Глафа, не думано еще жениться...

— Ой ли не думано? Поди, уж все думано-предумано,— с еле заметной грустью сказала она и обхватила руками новый суслон. — Обещал ведь приехать как-то насовсем...

— Обещал, да вот все дела задерживают.

— А то верно, братец, приезжал бы... Тятенька-то наш стар стал.

— А ты, Глафа?

— Я что... Я баба. Мужик в дому должен быть. Есть вон у меня опеныш, да мал.

Егор, изладив клубук, ловко подбросил его на руках и прикрыл им суслон.

— У нас ведь, братец, вон как хорошо.— продолжала Глафа.— Поработаешь вот так, и хлебушко есть, и скотинка во дворе, и овощ для разнообразу. А у вас все с привозу да с покупки. Приезжай-ка лучше домой! Земля-то вон как соскучилась по мужику, уже родить перестает.

— Спасибо, Глафонька,— дотронувшись до ее упругого плеча, сказал Егор.

— И тебе, братец, спасибо,— прошептала она.— Спасибо, соколанушко...

25

И ехать бы некогда,— стояла горячая пора уборки,— но Евлаха решил сам проводить сына до города.

Узнав о поездке Евлахи, вечером забежала к ним жена Кузовкова и просила увезти своему мужику косяк из стрепеньки, а то на чужих-то хлебах, да еще в каталажке, совсем старик подорвется здоровьем.

Утром, в воскресенье, как только выглянуло из-за угора солнце, Евлаха запряг пегого меринка, уложил в тарантасе — дощатом коробе — Егоровы гостинцы и стрепеньку для передачи Алешке — тоненькие ножки, натолкал в веревчатый кошель сена, привязал его к задку телеги. На всякий случай,— другой раз и заяц из лесу выскочит,— прихватил свое старенькое ружье, сунув его к ногам под сено.

Выехав за ворота, Евлаха вскочил на лавочку, что на передке телеги, ругнул для порядку Пегаша буржуем и, достав кисет, извлек оттуда скрюченный пожухлый листок самосада, только вчера снятый с гряды и подсушенный за ночь в печи на сковородке. Деловито размял его над бумажным желобком, закурил. Задохнулся кислым терпким дымом, закашлялся. Потом повернулся к сыну.

— Ты вот что, Егорша, я тебя спрошу,— попыхивая неровно горевшей сигаркой, начал он.— Гляжу вот кругом и вижу: некрепко, однако, стоит... Не кувыркнется?

— Кто?

— Власть-то... Ну, Ложенцов ваш, к слову, ты...

— Власть наша, тятя, теперь напрочно. Теперь уж старым порядкам не бывать.

— Ты думаешь? А вдруг?.. Куда ведь ни посмотри — все не спокойно. Не шибко верят мужики. Илья вон Ка-

линыч... Кропотов-го, родником нам еще приходился раньше, а нынь, слышь, и шапки не снимает. А все оттого, что хлебец у него повыгребли из сусеков. Вот и клянет он вас, коммунистов, а заодно и меня с вами.

— Пусть клянет... Его, этого Илью Калиныча, давно бы надо обрезать...

— Егор, милый, да слушай-ко, хлеб-то ведь у него тоже свой. Вчера, скажем, мы суслончики-то с тобой жали... И вдруг отдать их — не жалко ли?

— И придется, тятя.

— Неужели?

— Иначе неслзя... В красном вон Питере рабочий класс по осьмушке фунта в день получает. На фронте тоже не лучше. Заготовим хлеб, снабдим — пролетариат в долгу не останется.

— А чем им платиться?

— Машинами будут. Вот теперь с серпом крючимся до седьмого пота. Как только укрепим, рабочий класс снова встанет к станкам. Станки-то ведь да заводы теперь наши... Вот тебе, пожалуйста, и машины. И сеять будем машиной, и жать, и молотить... И каждую работу делать машинами будем...

— Так-то оно, допустим, так... — протянул неуверенно Евлаха. — Только другое учесть надо, практически... Почто хлеб забирать подчистую стали у мужика? Ведь мужик без хлеба, кто он? Ни коровы лишней, ни поросенка... Курица — не птица, и та зерно хлебное требует для пищеварения.

— Это берем как исключение. С неурожайного года...

— А вдруг еще неурожайный хлопнет? Тут как? — спросил Евлаха, послунявив расклеившуюся сигарку. — Нет, я так, сынок, понимаю, что мужику за хлеб всеми жилами держаться надоть. Он, мужик, и есть мужик... Без хлеба он какой же, к лешему, жилец, без хлеба он не мужик, а голый пролетарей...

Евлаха, взмахнув кнутом, снова окрестил Пегаша буржуем ленивым и, скособочив голову, смолк, надолго ушел в свои тревожные мужицкие мысли.

Всю дорогу он больше не начинал разговора с сыном, курил самосад да огрызком кнута поторапливал своего пегого «буржуя». Когда солнце, все время висевшее над головой, начало опускаться за зубчатую кромку косого-

ра, показался и Уржум. Какой-нибудь час пройдет, и они будут в городе.

— Санник-то есть ли у хозяев? — вдруг неожиданно спросил старик и, узнав, что сарай для саней и телег хоть и плохонький, но у хозяйки есть, успокоился. — А то без притулья, того и гляди, проворонишь лошадь...

Миновав деревню, они выехали в ржаное поле. К дороге концами упирались узкие полосы — одни были уже уставлены суслонами, на других еще только жали. Евлаха присматривался к полосам, по-хозяйски прикидывая, какой урожай должны собрать здешние мужики с десятины, сравнивал со своими хлебами. В думах об урожае он так бы и доехал, если б не показались навстречу три всадника. Они спускались по тропинке к тракту с левой стороны поля.

— Стой! — крикнул один из них, тот, что был в зеленом кителе, перетянута ремнями, и преградил путь Евлахе.

Егор соскочил с телеги и, подбежав к всаднику, взглянул в круглое, румянощекое лицо, слегка подбитое оспой.

— Кто вы такие? — спросил он.

— Я Вьершов, представитель Народной армии, а вы кто? — не моргнув глазом, ответил круглолицый.

— Да чего тут разговаривать с ним, господин подпрапорщик...

— Постой, постой, — будто вспоминая что-то, сказал Сафаней Вьершов. — Это не вы ли здешний нарком по продовольствию?

— Я нарком и есть, — ответил Ветлугин.

— Ну, так пожалуйста бриться, — и Вьершов потянулся к кобуре.

— Объясните, в чем дело?

— Лапти сушить пожалуйста, господин нарком!

Всадники засмеялись.

— Вы... вы не имеете права!

— Ах, права? А ну, предъявите-ка ему документик промежду лопаток, да с продергом, — потребовал Сафаней Вьершов, и плетка с твердым наконечником тотчас же прошла по спине Егора. — Какого черта с ним возиться, высушить его!

В это время Евлаха, на которого всадники, казалось, не обращали и внимания, выхватив из-под сиденья свой бердаш, выстрелил — кони шарахнулись в сторону. Вос-

пользовавшись минутным замешательством, Егор бросился в рожь. Но всадники успели задержать Евлахию лошадь. Потом, спохватившись, открыли по ржи стрельбу. Бабы, которые жали поблизости, подняли шум. Откуда-то сбежались мужики.

— Кончай стрельбу! — закричали они.

— Бросай оружие, а то весь Уржум ваш разнесем! — схватив за узду вьершовскую лошадь, подступил чернобородый здоровила.

— Мы, граждане крестьяне, не против вас, — сказал уже примирительно Вьершов.

— А против кого же?

— Мы против коммунистов-узурпаторов.

— Сам ты сузурпатор! — крикнул тот же мужик и вскинул вверх косу.

Сафаней Вьершов исподлобья взглянул на мужика и кивнул своим:

— Ну, и черт с ним, наркомом липовым! Поехали! Забирай старика с Пегашом!

26

Выбравшись из ржи, Егор спустился в лог и, обогнув поле, свернул на проселочную дорогу.

«Что за бандиты напали? И около города? Того гляди ухлопают отца. Может, мужиков взять да и — в догоню? Опять же они, эти бандиты, на конях. Не успеть догнать. Зря только тревогу поднимем. Скорей в город — там разберемся. Чуть чего — дружинников кликнем. Разыщем их, разбойников дорожных... Наверно, сынки все тех же богатеев? Вроде бы и знакомый... оспастый-то. Где я его видел? Да ведь это, кажись, нолинский Сафаней. Тот, что за Глафу сватался. Вот он, оказывается, где объявился».

— А ну, давай померяемся, купецкий сын, — сказал сам себе Егор и, сжимая от злости кулаки, заторопился к городу.

Вскоре около леса Егор встретил сотрудника уисполкома, который сообщил, что Степанов вчера ворвался в город, захватил власть, теперь в город пробраться днем почти невозможно, везде расставлены вооруженные патрули, идут повальные обыски.

У Егора заняло сердце.

— А гарнизон наш куда глядит?

— Чего же он сделать может? У Степанова почти тысяча штыков, два десятка пулеметов, своя кавалерия... Рассказывают, весь Малмыж ограбил, в Туреке арестовал волисполком, объявил сплошную мобилизацию, а потом — и к нам. В городе стон-стоном стоит. В тюрьме, слышь, места не хватает.

— Ложенцов где?

— Скрылся, должно быть. Вчера еще в городе был. Велел поднимать людей. Бегу вот в Аркуль к речникам...

— Мда-а,— протянул Егор и с болью подумал об отце.— Тут отца моего на дороге схватили,— признался он.

— Так не его ли я видел? За деревней воп. Иду, слышу, телега громыхает... И вдруг всадники... Я в рожь... Когда проехали, я выглянул из ржи, вижу — старик в тарантасе... А около его — верховые...

— Ну, что ж, спасибо за сообщение,— поблагодарил Егор.— А Степанов где теперь живет?

— Степанов? Кажется, на этот раз у священника... У которого дочка-то еще такая... с буклями.

— Дорожку-то куда торил?

— Во-во...

Егор на прощанье махнул рукой и с тревогой свернул к лесу.

Еле дождался Егор ночи. За несколько часов, которые показались невероятно долгими и томительными, он многое передумал. «Как же отца-то упустил? Но все равно, не отбить бы было... И меня б схватили... А к Степанову я доверчив был, не сумел тогда распознать вражину. Ложенцов сразу в душу его волчью заглянул...» И о Ксене думал Егор — надо обязательно увидеть ее... И снова об отце... Выручать надо старика, а как? Как выручать-то?

Как только стемнело, Ветлугин пошел, сторонясь большой дороги, в городе свернул на безлюдную улочку, дошел до Деревянного базара, с грустью посмотрел на стоявшее напротив массивное кирпичное здание тюрьмы: «Уж не здесь ли ты, тятка?»

На противоположной стороне улицы послышался скрип двери, где-то из подворотни твякнула собачонка и смолкла. Из проулка выехали двое верховых. Егор завернул за угол и припал к стене. Всадники сонно проехали мимо, и снова где-то запоздало твякнула соба-

чонка. Егор пересек улицу и на углу остановился, привлеченный необычным объявлением, наклеенным на забор. Объявление было действительно необычное, со множеством заглавных букв, четко выделявшихся на бумаге.

«Временно, впредь до установления связи с Верховным Управлением Северной Области или с Самарским Комитетом членов Учредительного Собрания,— прочитал он,— Верховную власть в Южном Округе Вятской губернии вручить Временному Управлению в составе: члена Учредительного собрания от Вятской губернии Кропотова, уполномоченного Северного областного центра Союза возрождения России Н. П. Чиркова, командира передового отряда Народной Армии А. А. Степанова и полковника В. П. Пантюхина».

«Вот гады! — чуть не вскрикнул от возмущения Егор и, оглянувшись, чтоб никто не заметил, рванул с забора лист, скомкав бумагу, швырнул ее в сторону.— Надо вначале разыскать Ксену. Она должна знать обо всем...»

Через полчаса Егор уже был у дома Ксены и, стараясь быть незамеченным, тихонько подобрался к окну, постучал.

— Кто-й там? — отозвалась спросонья старуха — Ксенина мать.

— Ксена дома? — спросил вполголоса Егор.

— Ксена-то... Ксена в штабу...

— У Степанова?

— У кого же теперь? Кому ни служи, все надо служить. Работы-то вон сколь... Сутками сидит там...

«Ксена — у Степанова? Как же это так? — метались мысли в голове Егора.— Ужель и в тебе, Ксена, я ошибся? Ужель ошибся? Ксена, Ксена...»

Все стало здесь чужим — и крыльцо с точеными столбиками, и окно с голубыми наличниками, и садик с кустами сирени, в котором встречался он с Ксеной,— все, все стало чужим, захотелось скорей убежать, никогда сюда не возвращаться... Но как разыскать Ложенцова? Где он сейчас? Однако разыскать надо. И быстрее — время не ждет...

Вторые сутки Ложенцов находился в подвале небольшого дома, затерявшегося на окраине городка. Сюда ночью тайком приходили люди и, получив поручение, так же тайком уходили.

Узнав от знакомых о местопребывании Ложенцова, Ветлугин спустился по лесенке в подвал. Ложенцов сидел в углу и, положив лист бумаги на днище перевернутой бочки, что-то писал при свете коптилки. Ветлугин сразу даже не узнал его: Ложенцов сбрил усы и бороду, одет он был по-крестьянски в старую рубаху, из-под которой на боку выпирал револьвер.

Увидев Ветлугина, Алексей Никитич обрадовался.

— Наконец-то ты вернулся,— протянув руку, сказал он негромко.— Без тебя, вот видишь, какие события тут,— и, повернувшись, кликнул: — Выходи на свет, Сипягин... Свои...

«И Сипягин тут?» — удивился Егор.

— Так вот, Сипягин,— продолжал Ложенцов.— Как только воззвание укома отпечатаешь, сразу же надо расклеить. На афишных тумбах, на заборах... А потом — в Прислон топай.

— Все будет сделано, как надо.

— Надеюсь, что не подведешь. А насчет прошлого... Дай вот клятву перед двоими нами, подтверди, что с эсэрами у тебя порвана ниточка.

— Чего же много говорить — делом докажу,— пряча в карман бумагу, ответил Сипягин.— Теперь вот она где, клятва,— в самом сердце... Когда уж мать-старуху обидели... Да разве я... Расстреливая старый прогнивший строй, разве я думал, что они так поступят. Против нас оружие, гады, подняли. Да мы еще скажем свое слово! — и, махнув рукой, Сипягин неуклюже стал подниматься по лесенке вверх.

— Вот видишь, Егор, как обернулось все,— проводив взглядом Сипягина, сказал Ложенцов.— Жаль, что нам с Капустиным тогда не удалось разоружить Степанова. Надеялись, что удастся это сделать в Малмыже. А он возьми да и опереди нас. У него же такая силища, что бы могли сделать? Хорошо, что кассу эвакуировали... Народ свой разослали по деревням. Создаем революционные дружины. Сегодня сам вот собираюсь в Аркуль, к судоремонтникам. Надо поднимать людей. В Теребиловке уже Сормах наш сколотил свою дружину. Почти полностью вооружил.

«Этот сумеет», — подумал Ветлугин, с восхищением вспоминая невысокого плотного мужичка с русой клинышкой бородкой.

Это был Николай Сорокин — по прозвищу Малахов, рабочий затона из Аркуля. Там он с двенадцати лет работал, вначале кочегаром, потом матросом, потом плотником по ремонту судов, пока не отправлен был на фронт. Воевал, получил за храбрость два Георгия, с войны вернулся подпрапорщиком, вступил в партию и целиком отдался ее делу. Звал он себя кратко — Сормах (по первым слогам своей двойной фамилии) и был грозой для местных богачей. А теперь он организовал, как рассказывал Ложенцов, свыше пятисот человек бедноты в боевую дружину, надел на свою плешистую голову папаху и сказал: «Теперь я готов лупить белую банду!»

— Он будет лупить! — согласился Ветлугин. — А мне какое дадите поручение, Алексей Никитич?

— Может, доедешь до Нолинска — ты легок в седле. Узнай там обстановку. Попробуй связаться с Вяткой. Чуть что — сообщи мне в Аркуль. Ну, а потом... Потом, Егор, сам решай, как лучше.

— Сипягин-то что, с нами? — выслушав Ложенцова, спросил Ветлугин.

— С нами... И не только Сипягин. Конечно, кое-кто перебежал и к Степанову. С усиками-то который, на телеграфе, — тоже сбежал.

«Значит, Ксена в самом деле изменила нам, — подумал с горечью Ветлугин. — Прав ты, Никитич, тогда был, гуляй, мол, да классовое чутье не теряй».

— А матрос Сипягин перешел в наш лагерь, — продолжал Ложенцов. — У него мать шомполами исполосовали.

— Степановцы?

— Кто же кроме их... Смотри, ты тут не попади к ним в лапы.

— Чуть уж не попал, Алексей Никитич. Жаль, отца схватили. Провожал из дому меня, и почти у самого города. — И Егор рассказал о случившемся.

— Доверчивы мы были, Егор, очень доверчивы, — промолвил с укором Ложенцов. — В исполком Степанова как своего родного брата приглашали. Да его бы и близко подпускать не следовало.

— У него ведь вон какие были документы.

— Документы что... Разобрались бы... Оружием он силен, черт возьми, — и Ложенцов встал. — Ну что ж, Егор, если тебе все ясно — действуй. Счастливого пути.

Штаб мятежников располагался в центре города на углу Воскресенской и Спасской в большом купеческом доме. У массивной кирпичной ограды с дремлющими львами на воротах стояли наизготове два пулемета. В распахнутые двустворчатые двери дома входили и выходили купцы, лавочники, мещане — все те, кто с радостью приветствовал возвращение Степанова.

Риторик теперь уже не ходил пешком, а подъезжал к штабу на рессорной пролетке — он стал начальником так называемого «Правительственного комитета». Когда лошади, — а он ездил на паре, — останавливались у крыльца, Риторик быстро соскакивал с пролетки, прикладывал к блестящему козырьку новенькой офицерской фуражки два пальца и скрывался в дверях. К его низенькой, юркой фигурке здесь уже привыкли — он был свой человек.

Приезжали сюда и городской голова, и помещик Депрейс, тучный и неразговорчивый, и купцы города — Казанцев и Жмакин. У каждого были, как считали они, неотложные дела, каждый хотел по-своему угодить «заступнику многострадального Уржума». Не остались в стороне и местные попы: они первыми возвестили колокольным звоном вступление в город степановцев.

Но больше всего здесь сновало бывших офицеров. Это были в основном молодые — сынки местных богатеев. С неделю назад при Ложенцове они не показывались, стараясь уклониться от мобилизации в Красную Армию, а тут вдруг оживились и хлынули в штаб, чтоб предложить свои услуги. Хотя они и не имели на плечах погон (сорванные новенькие погоны лежали дома в пузатых маминых комодах), но по одежде, по бравой выправке, по всему поведению их сразу можно было отличить от степановских солдат.

На другой день после того, как схватили Евлаху, Сафаней Вьершов подъехал на рыжем жеребце к штабу. Остановившись у ограды, он слез с седла и, неуклюже ставя ноги, затекшие от верховой езды, направился к крыльцу.

— Кто таков? — остановил его часовой с винтовкой в руках.

— Сафаней Вьершов, из Нолинска — руководитель повстанческого отряда, — козырнул тот.

— Это, что ль, за нашего командира который? Тогда проходите, — равнодушно сказал часовой и, провожая его глазами, подмигнул второму: — Ишь ты, тоже руководить хочет.

— А как же, — усмехнулся стоявший рядом мужик. — Отец-то его в купцы из веретеньщиков выбился. А сын-ок-от, Сафанейко, вишь, в военном, в ениралы, видать, метит...

Тем временам Сафаней Вьершов поднялся по крашеной широкой лестнице наверх. Войдя в прихожую и увидев среди военных плечистого и круглоголового Степанова, он шагнул вперед и, щелкнув каблуками, представился:

— Вьершов. Прибыл в ваше распоряжение из Нолинска с отрядом граждан. Готов служить верой и правдой...

— Ах, это вы и есть руководитель повстанцев? Вольно, вольно... Приятно познакомиться, — протянул ему руку Степанов и пригласил к себе в кабинет. — Мне уже доложили, что вы поймали отца комиссара Ветлугина.

— Да, это я...

— Ваше воинское звание?

— Подпрапорщик.

— Будете у меня прапорщиком.

— Благодарю за доверие, господин...

— Садитесь, рассказывайте о складывающейся ситуации в вашем городе.

— Ждем, господин командир, от вас подкрепления, — сказал торопливо Вьершов. — Мы ведь тоже пробовали восстать... Сломали замки на складах, захватили оружие... Но тут пронесся слух, будто по тракту от Вятки движутся красные. Не устоять, думаем, одним нам, — и, приложив руку к груди, он взмолился: — Все наготове, господин командир, все... Ждем подкрепления, пока Вятка не двинулась.

— Значит, ждете своих освободителей?

— Ждем, господин командир! На вашей стороне все купечество города, офицеры — цвет молодежи. Кстати, могу вам передать приятную весть. Слышал собственными ушами — в Бушковском лесу ваши обнаружили денежную кассу....

— Об этом я уже знаю, — ответил Степанов и само-

довольно добавил: — Вот видите, коммунисты похитили казну, а мы, социалисты-революционеры, спасли народное достояние.

— Поздравляю, господин командир, поздравляю и надеюсь...

— Спасибо, прапорщик. Насчет вашей просьбы вы доложите моему заместителю Звереву. Да, кстати,— перебив самого себя, спохватился Степанов.— Петровское, что на пути к вам, большое село?

— Немаленькое, волостное.

— И, говорят, отрицательно настроенное к Советам?

— Совершенно правильно.

— Так почему бы вам не пополнить силы там? Сколько вас, прапорщик?

— Полсотни...

— Ну, вот видите...

— Это только офицеры, а штыков — куда больше.

— Прекрасно, прапорщик Вьершов, прекрасно...

— Ждем, господин командующий. Хлебом-солью встретим...

Вьершов раскланялся, щелкнул каблуками начищенных сапог и, повернувшись, быстро вышел.

Степанов, проводив Вьершова, плотно прикрыл за ним дверь, как будто опасаясь, что этот длинноногий прапорщик вернется и снова будет клясться в верности,— штабс-капитан не любил этого. Теперь он ждал от своих сподвижников не слов, а дела.

«Такие говоруны, пожалуй, могут вызвать у мужиков недовольство против нас,— подумал он с недоверием.— С мужиками надо ладить умеючи, по-мужицки, как говорит наш Кропотов...»

Прихрамывая, он снова вышел в приемную. И уже через несколько минут вернулся обратно с рыжебородым мужиком.

— Вот что, Илья Калиныч,— сказал Степанов.— Пиджак тебе надо сменить, надеть попроще. Жилетку — совсем снять. И сапоги — тоже, сапоги другие надо...

— Что это вы задумали, Анатолий Ананьич?

— Поедешь свой полк сколачивать, мужицкий,— смотря в красное, лоснящееся от жары лицо Ильи Кропотова, сказал Степанов.— В Петровское поедешь... с прапорщиком Вьершовым. Наши там были, но, говорят, произошла осечка. Кое-кто к красным метнулся.

Может, Ложенцов уже там? Определить надо... Поезжай сегодня же. Собери тамошних мужичков. Начни по душам... Спроси их, что им дала Советская власть? Хлеба, спроси, дала? Соли, спичек дала? Керосину дала? Ситцу дала?

— Это уж как есть, Анатолий Ананьич. Я наскребу с достатком примеров.

— Иначе мужика не возьмем... Как думаешь?

— Золотые слова...

— Жилетку, жилетку сними,— опять посоветовал Степанов.— Теперь кулака-миroeда в жилетке больше представляют.

— Знаю... Там, в Петровском, у меня шурик живет.

— Тем лучше. Ну-с, Илья Калиныч... За тобой — и Зверев мой следом. Как говорят мужики, надо ковать железо, пока оно горячо... Так, что ли?

— Вроде бы так, Анатолий Ананьич...

28

Добравшись до Нолинска, Егор Ветлугин пошел сразу же разыскивать, как ему советовал Ложенцов, своего старого товарища, теперь здешнего военного комиссара Андрея Вихарева. Он знал, что военкомат располагался там же, где и уком партии, напротив собора, в бывшем духовном училище, и, не теряя ни минуты, направился туда. У крыльца Егор остановился, поправил фуражку, расправил под ремнем складки гимнастерки,— он помнил, что его друг не терпел неряшливости. Кивнув по-стовому, Егор легко взбежал по гулким чугунным ступеням на третий этаж и неожиданно в коридоре лицом к лицу столкнулся с самим Вихаревым.

— Чертушка, да какими же судьбами? — схватив его за плечи, обрадовался Вихарев.

— Обожди, задушишь, Андрей,— оглядывая его, как всегда стройного и подтянутого, сказал Егор.— Вчера чуть степановцы не задушили, а сегодня ты...

— Чего же ты поддаешься этим гадам?

— Хорошо тебе говорить, когда у вас отряд Жодялиса стоит,— упрекнул его шутливо Ветлугин.

— Да где он, отряд-то? — посерьезнев, на вопрос вопросом ответил Вихарев.— Ему исполком поручил охрану города, а он, как только со стороны Медведок офи-

церье осветило ракетой,—на телефон: так-то, мол, и так—не устоять отряду... Погрузился и—в Кырчаны. Тут, понятно, здешние богачи и зашевелились: красные, мол, бежали. Пошли слухи, что Сафанейко Вьершов всех комиссаров перевешать собирается. Я за Жодялисом, догнал в Кырчанах, взял у него пулемет и обратно сюда... А он в Вятку, по вызову, мол. Ну, мы и без него восстановили порядок. Заканчиваем вот переосвидетельствование офицеров,—и, взяв Егора под руку, повел по коридору к себе.—Не спим, Егор, кое-кого уже взяли крепко за бока. Да еще, к счастью, по пути товарищ Дрелевский к нам заехал.

— Дрелевский? — воскликнул радостно Ветлугин.— Губкомиссар. Этот поможет. Он в Вятке, говорят, так саботажников прижал, что те его, как огня, боятся.

— Еще бы не бояться. Недавно шайку воров там на вокзале схватили, ни один не увернулся.

Введя Ветлугина в просторную комнату, в которой стояли стол и две кровати, заправленные серыми солдатскими одеялами, Вихарев спросил:

— Ну, рассказывай, что у вас там?

— Такая у нас там началась заваруха, Андрей,—вздыхнув, начал Егор.— Степанов белой сволочью оказался. Всех подряд наших арестовывает... Отца моего даже схватили, черти. Не знаю, где он теперь. Вчера еле разыскал Ложенцова. Все, понимаешь, ушли в подполье. Придется обращаться в Вятку. Без помощи—не справимся...

В это время открылась дверь, и Егор сразу узнал на пороге Дрелевского. Он был, как всегда, в желтой кожаной куртке, в дымчатых очках. Почему-то теперь он показался ему выше ростом.

— Знакомьтесь, Юрий Антонович, это мой друг из Уржума,—представил Вихарев Егора.— Когда-то из одного котелка кашу ели. Теперь вот он, Ветлугин, продкомиссар.

— Ах, это Ветлугин,—мы уже как-то встречались? — и, обменявшись крепким рукопожатием, Дрелевский снял очки и взглянул на Егора воспаленными от бессонницы глазами.— Скажите, неужели и моряки пошли за Степановым?

— Да много ли у него моряков-то осталось, товарищ Дрелевский? — всматриваясь в комиссара юстиции, от-

ветил Ветлугин.— Большинство к Азину подалось. У Степанова теперь собрался разный сброд. Сынки купеческие, да офицеры, да богатые разные...

— И что же делает Степанов?

— Все вверх тормашками перевернул. Советы в волостях разгоняет. Восстанавливает земские управы. Землю передает кулакам да богатеям. Объявил военный набор....

— Значит, сведения наши подтверждаются,— взглянув на Вихарева, посуровел Дрелевский.— Пока не поздно, надо спешить...

— Сил-то у нас нет,— признался Егор.— Правда, Сормах у нас тут есть... военрук волисполкома. Сколотил дружину. Разыскал в деревнях оружие. У кого нашлась винтовка, у кого дробовик... Наготове стоит. Но этого мало. Не скрутить Степанова. Пробираюсь в Вятку, за подмогой.

— Вятка уже знает обстановку. Надо здесь, на месте, собирать силы, товарищи,— и, взглянув на Ветлугина, Дрелевский спросил: — Вы откуда родом?

— Из-за Прислона, товарищ Дрелевский.

— Вот и поезжайте-ка туда. Там, в тылу, есть наши товарищи. Помочь им надо. Ну, а мне, пожалуй, пора... Говорите, через Петровское ехали? Как там, еще не добрались степановцы?

— Пока что не слышно. Но село-то больно ненадежное... Прямо скажу: кулацкое село.

— Кулацкое, говорите, Ветлугин? — рассмеялся Дрелевский.— По-вашему, нет там ни бедноты, ни среднего крестьянина?

— Беднота есть, конечно...

— Однако будьте осторожны, Юрий Антонович,— предупредил Вихарев.— Я согласен с товарищем Ветлугиным.

— Ничего, ничего, найдутся там и наши друзья. Я однажды был уже в этом селе, знаю кой-кого.

— Миненч там есть...

— Встречался и с ним, мужик верный.

Дрелевский встал и, надев очки, легкой энергичной походкой прошел по комнате.

— Послушай, Вихарев,— сказал он.— Может, на твоей лошадке меня подвезут до Буйского перевоза? А там я пешочком... Пешочком-то лучше.— И, вздохнув,

подосадовал: — Сколько все же у нас нерешенных дел в губернии, сколько дел...

Он вспомнил о своем письме, недавно посланном в губисполком, в котором настойчиво просил подготовить ему замену: ведь его, как командира «летучего отряда», в любой момент могут отозвать на фронт. Однако сколько еще тут дел... Надо провести реорганизацию тюремных мастерских... Подготовить проект нотариата... Проект реорганизации сыскного дела... А продовольственный вопрос? Одни мешочники сколько времени отнимают...

— В самом деле, куча всяких забот,— снова вслух сказал он.— И везде не успеваю... А тут еще эти степановцы, черт бы их взял. По всему видать, опасный это нарыв, товарищи. Вскрывать нам придется этот нарыв.

— Не прислушались тогда к нам,— сказал Ветлугин.— Ведь мы просили товарища Капустина: пошлите, мол, к нам отряд. Обещал он. А ныне, смотрим, на пароходах вниз отряд-то спустился, даже и не привернул.

Дрелевский снова сдернул с носа очки и, взглянув на Ветлугина усталыми глазами, подумал: «Не все так просто, товарищ Ветлугин, как вы представляете себе с Ложенцовым».

— Вы, вероятно, имеете в виду батальон Азина? — спросил он.— Но учтите, этот батальон, как никогда, нужен Вятским Полянам. Мы должны преградить дорогу белочехам. Вы, надеюсь, знаете обстановку.— Дрелевский подошел к карте, висевшей на стене.— Смотрите,— он ткнул в середину карты тонко отточенным кончиком карандаша,— вот Ижевск... Ижевск-то теперь в руках белогвардейцев. А здесь Пермь, сюда тоже подступили уже белые. А вот тут, по Северной Двине, к Котласу рвутся англичане,— и он испытующе посмотрел на Ветлугина.— Вы представляете, что Советская Россия, в том числе и наша губерния, оказались в огненном кольце? И с каждой неделей это кольцо сжимается. Если не принимать мер, не посылать нам воинские части на дальние рубежи, от Вятки останутся одни головешки... Так ведь?

— Согласен с вами,— отозвался Ветлугин.

— Вот потому и послали мы товарища Азина в низовья Вятки. И вынуждены кое-куда еще наших посылать. Взять хотя бы Котлас... Там сосредоточены большие запасы взрывчатых веществ и боеприпасов. Защита

Котласа, как указал нам товарищ Ленин, во многом зависит от Вятской губернии. И мы вынуждены были послать туда вооруженный отряд во главе с товарищем Капустинным. А Пермское направление? Разве мы можем оставить его открытым? Восточный фронт не только для нас, а для всей республики стал главным фронтом. Но нам не следует забывать и о тыле... Кулацкое восстание в Яранске... Или вот этот Степанов... Это, поймите, тоже имеет непосредственное отношение к планам белогвардейцев. Они давно уже целятся на Котельнич, чтоб взорвать железнодорожный мост через Вятку, отрезать север России от центра... Но это им не удастся. Если возьмемся дружно, осилим не только Степанова, осилим и белочехов. Не пустим их на вятскую землю...

— Само собой, не допустим, товарищ Дрелевский.

— Похоже, и договорились,— слегка улыбнулся Дрелевский и, взглянув на ручные часы, сказал: — Ну, что же, мне пора и в путь.

— А может, все же кого-нибудь послать с вами, Юрий Антонович?

— Ну, что вы, товарищ Вихарев! — возразил Дрелевский. — В своей губернии — да с охраной? Чем меньше вначале буду привлекать к себе внимание — тем лучше. Не беспокойтесь, все будет в порядке, черт не выдаст, свинья не съест, — и, немного помолчав, сказал: — Только слушай, браток, куртку-то я свою, пожалуй, у тебя оставляю. Дай что-нибудь попроще, не так в глаза бросаться стану.

— Надевайте мою гимнастерку, — предложил Вихарев. — Как раз вам по плечу должна быть.

Дорога тянулась глухим сосновым лесом и, как назло, была не ходкая, песчаная, колеса то цеплялись за переплетавшиеся меж собой узловатые корни деревьев, то глубоко врезались в перемолотый колесами песок. Лаврушка, подросток лет тринадцати, в выцветшем картузе, из-под околыша которого выбивались рыжеватые волосы, стараясь побыстрее доставить до перевоза седока, поторапливал лошадь.

— Тяжело ей, — сойдя с телеги и поправляя на лошади взмокшую шлею, с сочувствием сказал Дрелевский.

— Она ничуть... она ведь, Рыжуха, привыкшая,— заступился возница.— Она вон какие воза возит. А что промокла насквозь, так это не от натуги, это от жары больше,— и, смахнув рукавом пот с лица, добавил: — Доедем, а там к вечеру и высохнем...

— А далеко еще?

— Ехать-то? Так, чай, не шибко далеко. А быват, и далековато еще, если не поторопимся.

«Забавный малый»,— подумал Дрелевский и, свернув на пешеходную тропинку, опять вспомнил мать, своих сестреноч...

«Шесть лет как не виделись. А теперь неизвестно, когда и встретимся... Только б они живы остались — немцы сейчас там свирепствуют... Как оккупировали они в феврале Латвию, так и начали ее терзать. А мать больная — выживет ли. И сестренки еще малы... Уходил на фронт — старшей только девять исполнилось...»

Это было в девятьсот двенадцатом. И не думал, что так затянется военная служба... Всех одногодков из ближних хуторов собрали тогда в пехотную часть, а его на флот. Потому — выше был ростом и пограмотнее других — церковноприходскую школу кончил с похвальным листом. Ушел из дому на флот на подводную лодку, да так и остался там. Хотел на побывку ехать, но началась война. А потом — вспыхнула революция, потом вот гражданская... Одни моряки встали на оборону Питера, другие отправились на восток. Поехал в составе «летучего отряда» на защиту Урала и он. Знал: и здесь, в далеком лесном краю, борется он за счастье своей Курляндии... На пути остановились в Вятке. Здесь было тоже беспокойно. Местные власти запросили подмоги. А тут еще в Вятке, кроме местных контриков, появились и приезжие гости: на поселение прибыли «великие» князья — константиновичи, кирилловичи, александровичи, да еще приехал епископ Исидор, тот самый Исидор, который тайком с царицей хоронил Гришку Распутина. Появился он в ветхой одежде, в стоптанных старых сапогах, в наскоро сшитой камилавке. Юродивый, да и только... Когда он выходил на улицу, за ним увязывалась толпа нищих. С приближением белогвардейцев начали поднимать головы бывшие царские офицеры, стали группироваться вокруг эсеровского центра.

Положение было не из легких. И Дрелевский с груп-

пой моряков, — их было восемьдесят пять, — остался в Вятке. Восстановление электростанции... Налаживание работы почты и телеграфа... И вот он — комиссар юстиции. Теперь едет в Уржум... Едет и удивляется: «Ведь там есть моряки... Как же они примкнули к белым? Большинство не пошло, говорят, за Степановым, но кое-кто и остался. Надо с них и начать. Поговорить по душам — не может быть, чтобы мы не поняли друг друга...

Дрелевский оглянулся на возницу. Тот, подстегнув лошадь, поравнялся с ним и, кивнув на телегу, сказал: — Садитесь, дорога-то под уклон пошла.

Дрелевский вскочил на облучок, снял очки и, дохнув на них, протер платком.

— А отец у тебя где? — спросил он.

— Отец-от? — переспросил мальчишка и нехотя ответил: — Нет отца-то...

— Погиб, что ли?

— Не-е... Не погиб... Ушли мы с мамкой от него.

— Это почему же?

— Так уж получилось... Мамка-то у меня хорошая. А он звонарем тут... На колокольне. С попами водится. А попы ведь те — какие живоглоды! Ну, мы с мамкой и отстегнулись от него. Мамка-то в сторожихи ушла, а я вот так, то вестовым бегаю, то отвожу кого-нибудь. Люблю на лошадях, твердая у меня рука, потому и слушаются...

— Твердая, говоришь, — улыбнулся Дрелевский. — А отца-то как звать?

— Звать-то? Больше Прошкой Моралом зовут... Потому — от Мораленков он... Теперь уж мы врозь с ним, нынче и совсем уедем.

— Куда же уедете?

— К деду... в Ржаной Полой... Там хорошо, просторно.

— Видать, ржи-то у вас там много? — услышав необычное название деревни, заинтересовался Дрелевский.

— Не-е... У деда овес больше, горох... Стручистый горох... Я уж там живал. Федярка там есть... Дружок мой.

Лаврушка махнул кнутом, и Рыжуха, почуяв твердую руку, пошла рысцей.

Соснячок, идущий возле дороги, сменился ольховни-

ком, мелким кустарником. Вскоре, за поворотом, из-за ивняка показалась свинцовая полоса реки.

— Ну вот мы и доехали,— остановившись, сказал Лаврушка.

Захватив охапку сена, он по-хозяйски подбросил ее лошади и, повернувшись, посмотрел на реку.

— А не покупаться ли нам? — вытирая с лица пот, сказал Дрелевский и спустился с берега на песок.

— Река-то здесь как море,— сказал Лаврушка.

— Море не такое, Лавруша,— стягивая сапоги, заметил Дрелевский.— Море как увидишь — и не расстанешься...

— А вы-то ведь расстались.

— Надо было, ничего не поделаешь,— ответил Дрелевский и, сбросив с себя полосатую тельняшку, прыгнул в воду и начал отмеривать саженками.

Лаврушка тоже плавал, но саженками он не умел. Однако он не сдавался, плыл, кряхтя и отдуваясь; на полпути повернул обратно — за моряком разве уплыл-вешь? На половине реки Дрелевский перевернулся на спину и поплыл обратно к берегу.

— Река не море, а все ж приятно,— ухватившись за свисавшие в воду кусты, сказал он.— Как только утрясем дела, браток, снова к себе поедем.

— Куда?

— На море-океан...

— Эх,— вздохнул Лаврушка.— Вырасти бы мне, я тоже б туда,— и он принялся прыгать на одной ноге, чтобы вылить из уха воду.

— Приезжай, браток, приезжай...

Выйдя на берег, Дрелевский принялся растирать ладонью широкую грудь с вытатуированным на ней якорьком, потом снова вошел в воду и, смыв с ног песок, стал одеваться.

«А не задержаться ли мне на денек в Петровском? — вдруг подумал он.— Однако переправлюсь — увижу...»

На берегу у причала уже толпились люди: какие-то бабы с корзинами, в домотканых сарафанах, мужики с котомками.

Когда к берегу подошла лодка-завозня, старик перевозчик, сидевший на корме, scomандовал:

— Кому ехать — давай в лодку. Ишь, на том берегу сколь дожидается.

Как только два дюжих мужика взялись за весла, перевозчик крикнул:

— А ты, гражданин в очках, присядь. Парусить будешь супротив ветру...

Дрелевский присел на борт и оглянулся, чтоб попроситься с Лаврушкой, но вместо него увидел спускавшегося с берега розовощекого мужика. Добежав, мужик прыгнул в лодку. Лодка качнулась и чуть не зачерпнула бортом воду.

— Ты чумной аль спятил? — сердито крикнул перевозчик. — Только что с того берега приехал...

— Надоть, — сипловато ответил розовощекий и, втиснувшись меж людей, будто сам себе повторил: — Надоть...

«Уж и этот не супротив ли ветру?» — вспомнив слова перевозчика, подумал Дрелевский и взглянул на мужика.

Лицо у него было холеное, круглое, обрамленное черной курчавой бородкой, маленькие, глубоко запрятанные глазки настороженно блеснули из-под лакового козырька картуза.

Дрелевский взглянул на берег и увидел Лаврушку: он стоял и помахивал рукой. А внизу ворковала вода, жадно лизала просмоленные бока лодки. Противоположный крутой берег становился все ближе. Вот он, с размытым рыжим спуском, с людьми, толпившимися около караулки. Вдали виднелись дома с тесовыми крышами, маячившими из-за зеленой кромки обрыва. Вдруг берег качнулся и поплыл куда-то в сторону. Но как только перевозчик огромной, загорелой до черноты ручищей тронул правило, лодка развернулась и послушно пошла по тихой заводи вверх к причалу.

Первым выскочил на берег юркий мужик с курчавой бородкой и заторопился в гору.

Сняв очки и положив их в карман гимнастерки, Дрелевский вышел из лодки и поравнялся со сторожкой перевозчика.

— Приворачивай, служивый, — окликнул его сидевший на лавочке старик.

Дрелевский, остановившись, поздоровался.

— Далеко путь держишь? — свертывая сигарку, спросил тот.

— Да не так чтобы далеко, — неопределенно ответил Дрелевский, принял протянутый стариком кисет и стал

набивать самосадом свою трубочку с изогнутым чубуком.— Как тут на Петровское дорога?

— Дорога-то что... сухая. Только нынче приглядываться надо, не пообидели б, думаю. Ты-то отколы, не комиссар, случайно?

— Не-ет, с ними я, папаша, не знаком,— ответил Дрелевский.— Я по другой части... От акционерного общества «Зингер» работаю.

— По ремонту швейных машин, значит?

— Ага, по ремонту... В Петровское вот иду.

— У петровчан машинки эти есть. Состоятельные там мужики.

— Об этом я уже слышал,— сказал Дрелевский.— Только ведь прижали их, наверное, здорово комиссары-то?

— Кого как... Одних прижали, других, стало быть, нет, потому нынче большой разброд пошел по деревне. Комбедовцы, скажем, за новую власть ратуют, а кос-кто и Степанова поджидает.

— Степанова? Это того, что в Уржуме?

— Его, его... До петровчан пока еще вроде не добрался, но будто бы видели ихних уже на полдороге к нам.

— Ну, что ж, папаша, спасибо тебе за табачок,— подавая руку, поблагодарил Дрелевский.— Крепонький, однако, ты вырастил.

— Не трудно вырастить, трудно заморить,— со знанием ответил тот.— Мы это с бабой своей морили табачок, по своему рецепту приготавливали.

— Хороший табачок получился,— и, поблагодарив, Дрелевский зашагал по кособочившейся рыжей дороге в гору.

Вдоль дороги почти сплошь тянулись поля с колкой белесой жнитвой. Тесными рядами подступали к дороге ржаные суслоны. В отблесках лучей опускавшегося на увал вечернего солнца они походили на здоровенных, плечистых великанов в растопыренных светло-рыжих армяках.

Расстегнув гимнастерку, Дрелевский шел и думал, как быстрее дойти до Минеича. Жаль, что домик его стоит на другом конце села. Надо пробраться незаметно. Правда, есть еще одна явка, но туда идти опасно, живет этот где-то в середине посада, на виду у всех. К Минеичу надо... Минеич—секретарь волисполкома, людей зна-

комых у него тут много. Обо всем от него можно узнать...

«А может, переждать и ночью пробраться к Минейчу?» — подумал Дрелевский, и на какую-то минуту его вновь охватила тревога. Но, стараясь отогнать ее, он тут же и упрекнул себя: «Чего же слишком опасаться? В Петровском, как и везде, живут люди... Поступай с ними хорошо, и они к тебе будут хороши. Крестьяне не любят, когда у них берут хлеб. А я же от компании «Зингер»... — И вдруг на душе полегчало и даже стало весело. — И Степанов, думается, не так уже страшен, как его малюют...»

Дрелевский поравнялся с лесом. Вдруг неожиданно он увидел впереди себя человека: это был тот самый розовощекий мужик, который переезжал с ним за реку.

«Чего ему тут надо?» — подумал настороженно Дрелевский и, не выдавая своего подозрения, подошел.

— Закурить нет ли, товарищ? — спросил мужик.

Дрелевский, не спуская глаз с мужика, достал табак и, протянув, спросил:

— Откуда идете?

— Тутошний я, — ответил тот и, забрав из кисета щепоть табаку, удивленно сказал: — Самосадку тоже покуриваете....

— А как же... Без самосадки-то ведь не обойдешься теперь...

— Кое-кто и обходится. Комиссары, например...

— Ну, то комиссары...

— Вы-то куда идете?

— По ремонту швейных машин я, — ответил Дрелевский, все более настораживаясь.

— А-а... У меня тоже машинка эта есть, — и, помусолив во рту сигарку, как-то неестественно кашлянул. — Не только у меня одного, вон и у соседей, должно, тоже есть...

Дрелевский увидел, как из лесу вышел рыжебородый мужик с топором в руках, за ним еще двое.

— Изгородь подправлять, должно быть, ходили, — заметил розовощекий. — Илья, а Илья Калиныч, товарищ-то вон, говорит, машины ремонтирует швейные...

— А документы на это есть?

— Конечно, есть, — с подчеркнутой уверенностью ответил Дрелевский.

— Вот пусть и показывает...

— Почему я должен вам показывать? Я не знаю, кто вы такие,— и Дрелевский, бросив взгляд в сторону леса, хотел было взяться за револьвер, как в тот же миг его схватили за руки, заломили их назад.

— Не брыкаться! — властно выдохнул Илья Кропотков.— Показывай документы!

— Вы не имеете права...

— Но-но... По эту сторону теперь наша власть,— и кивнул мужикам: — Обыскать его.

Но розовощекий и без него знал, что делать, он уже шарил по карманам.

— Вот он с чем! — выхватив из кармана Дрелевского револьвер, крикнул мужик.— Не иначе как комиссар, хоть и самосадку курит.

— Не комиссар я, а представитель общества «Зингер».

— Вот и проверим, «Зингер» ли,— сухо сказал Кропотков.

— И очки... Смотри-кось, Илья, очки-то какие забавные. Сажай, что ль, замалеваны, а?

— А ну, нацепи их!

Тут выступил наперед третий мужик. Он был мал ростом, но непомерно широк в плечах и казался совсем квадратным.

Окинув взглядом Дрелевского, квадратный крикнул что есть мочи:

— Вяжи его, ребя! Это тот самый вятский комиссар... Тот, что жилы хлебные тянул из мужика. Сам видел, как он, в этиких очках, допрашивал мово брательника... Сам... Не разведи вода — он... Комиссар... Как его... фамиль-та... Вроде Дробовской, не Дробовской...

— Ладно, вяжи его, там разберемся,— скомандовал Кропотков.

— Знамо, разберемся! — хихикнул розовощекий и сунул револьвер себе в карман. Пригрозил: — И не помышляй бежать... А то мы из твоего же пистоля...

В это время совсем неожиданно раздался приглушенный выстрел. Розовощекий испуганно выдернул револьвер и, присев, завыл, ощупывая простреленную им же самим ногу.

— И дурак же ты, шурин! — выругался Илья Кропотков.

— Так наган-то, видать, на взводе был...

— Ну, теперь ты нам, товарищ Зингер, ответишь вдвойне! — крикнул, все больше зверея, Кропотов.

В горнице у Илькиного шурина на мягком пружинном диване сидел изрядно подвыпивший Сафаней Вьершов. Он только что сытно пообедал и хотел было прилечь, как хозяйка, выглянув в окно, сообщила, что мужики кого-то поймали и ведут к ним со связанными руками.

Сафаней вначале нахмурился, потом, встряхнувшись, застегнул ворот офицерского френча и, приняв несколько напыщенный вид, положил рядом с собой наган.

— Прошу, — тупо уставившись на Дрелевского, когда того ввели в горницу, сказал он. — Вы, это самое, кто такие будете?

— Я сказал уже вашим, что от общества «Зингер», — ответил Дрелевский. — И то, что схватили меня, это недоразумение... Это, наверное, не иначе как комбедовцы... Они не имеют права...

— Никаких комбедовцев тут нет. На сегодня во всем Петровском я главное доверенное лицо от Народной армии. Я могу допрашивать вас, а также других прочих лиц... — и, самодовольно откинувшись на спинку дивана, стараясь копировать самого Степанова, продолжал: — Сознавайтесь! Вас опознали мои люди... вы комиссар...

— Комиссаром не был. Я рядовой служащий...

— Признайтесь, а то отправлю к самому Степанову.

— Вот-вот, и мне нужно к Степанову. И если я расскажу о беззакониях...

— Ах, так... — перебил Вьершов, лицо его, слегка изрытое оспой, налилось бордовой краской. — Не сознаешься, да еще и с жалобой, — и он повернулся к Кропотову. — Чего нам долго тут возиться с ним? Нарядить усиленную охрану! Усиленную, из надежных мужиков. И — в Уржум его... К самому командующему. Что, что? Пешочком ли? Ничего, этот дойдет и пешочком на веревочке, — ноги длинные. И очки, к тому же, вдобавок такие — все увидит и ночью. Так, что ли, господин комиссар, а? Там, в нашем штабе, разберутся, кого куда, кого никуда...

Прошла неделя, а Евлаха так и не вернулся домой. По деревне ходили слухи: степахи схватили старика и — в казематку, а лошадь забрали себе. Как теперь будет управляться Глафа с хозяйством? Надо везде успеть одной: и жать, и скирды класть, и молотить, и пары сеять. Не посеешь — безо ржи, без хлебушка на будущий год останешься. Но как сеять — ни лошади нет, ни свекра. Подкатилось неожиданно к Глафе горе горькое, неутешное. Ночью сомкнет глаза на часок-другой и опять не спит, вздыхает. Проснется Федярка — и к ней:

— Чего ты, маманька?

— Ничего, сынок, спи... Тебе еще рано горевать.

Уткнется Федярка головой в подушку, согнется калачиком на постели. Постель высокая, как гора; ржаная солома, набитая в домотканую наволочку, мягко хрустит и пахнет свежим хлебом. Непокойно на душе у Федярки, горюет и он: не засеет маманька паровое поле — ни хлеба тебе не будет, ни этой хрустящей соломы. Помочь бы надо маманьке... Лежит он рядом с ней и как взрослый обо всем думает, то жалеючи вспоминает деда, то кличет своего Пегаша.

Бывало, поднимется поутру дед с лежанки и скажет: «Вставай, Федярка, — солнышко-то, ишь, буржуй ты экий, пятки лижет... Проспали мы с тобой».

Вскакивает Федярка, наскоро умывается. По мокрой траве, подернутой холодной, щекочущей росой, бежит он на луг за Пегашом, который пасется на привязи.

Подбежит Федярка к свае-колышку, вбитому в землю, снимет с него конец веревки и начинает ее собирать; веревка от росы тоже мокрая и жесткая, как кость. Собрав веревку в кольцо, забросит ее на шею Пегашу, потрогает рукой его голову с белой вывездью во лбу. А тот уж понимает, ждет Пегашик, когда взберется на него верхом Федярка. Но Федярка еще мал, чтобы сразу сесть, он вначале подбирается к свае; привстав на нее, цепко хватается за жесткую гриву, и вот он уже на Пегаше. Садиться верхом Федярка наловчился и с изгороди, и с колеса телеги, и с чурбака, что лежит во дворе. И ни разу не падал он, потому Пегашка — самая умнющая лошадь. Вон Алешка — тоненькие ножки даже на ярмарку в Котельнич ездил за лошадыю, да толь-

ко кого выменял — Цыганка, тот и ногами брыкается, и за изгородь перепрыгивает. Это тебе не Пегаш. Такого, как Пегаш, может, и во всем свете больше нет. Потому и обзарились на лошадь степахи. Теперь они радуются, напропалую гоняют ее небось. А она ведь не человек — не скажет, не пожалуется. Другая бы поднялась на дыбки, сбросила с себя того самого степаху-жадюгу — и домой. А может стать, и прибежит еще, только бежать-то далеко, на дороге сколько ворот стоит...

Наутро Федярка раньше обычного вскочил с постели и, прихватив медный ковшик, из которого по праздникам угощали гостей пивом, побежал к Алешкиной кузенке.

Кузницу звали Алешкиной, хотя Алешка — тоненькие ножки и молот в руках не держал, ковал его младший сын, низкорослый Фанька-Фанаил. Невзрачный на вид згот Фанька, но на редкость сметливый да мастеровитый, что задумает — сделает, ничего из рук у него не валится. Посмотришь, то лодку весной из досок шьет, то острогу насаживает на шестик, то зимой в холода ложки из ольховых чурбанчиков вырезает...

Лет пять или шесть назад, когда Фаньке только стукнуло годков семнадцать, заметил он в соседней деревне кузенку-развалюшку. Кузнец в ней был не особенно ладный — подковывал лошадей, зубил в страду бабам серпы да кое-какие поделки делал для немудреного мужицкого хозяйства. Делал он все это медленно, вроде как без души, — кузница ему досталась от отца, тот куда как мастеровее был, да ремесло, видать, не перешло от отца к сыну. И вот зачастил туда Алеши Кузовова сын Фанаил. Парни, сверстники его, идут, бывало, с тальянкой на гулянье, а Фанька — в кузницу.

Как-то зимой запил старый кузнец, простудился и слег.

Когда стало ему совсем плохо, он подозвал к себе Фаньку и сказал:

— Слухай, Ефанаил... Сам видишь, кузня у меня не богата; мехи, да молот, да ржавая наковальня. Еще корыто для пшика с водой стоит. Что дельного было — порастряс за жизнь без толку. Теперь уж, вижу, не ковать мне больше — забирай, паря, все.

Так и отдал он кузницу Фаньке — потому любил старый кузнец-неудачник людей сметливых и мастеровитых.

Сам же он себя не считал таковым, может, от сознания своего бессилия и запил, да так и свалился...

Не прошло и года, как Фанька поставил на берегу Ветлужки сруб сосновый, в ближнем углу сложил печь с горном. Мехи кузнечные залатал новыми сыромятными заплатами и пристроил их тут же возле горна. Тронешь подвязанный к ним шестик — и начнут щекастые мехи выдувать огонь из угля. Посреди кузницы вкопал в землю здоровенный, в два обхвата, смолистый чурбак.

Две наковальни в него втаил. Перекрестился для «удачи» — и полился над сонной Ветлужкой металлический звон. И так с утра до вечера, с утра до вечера...

Миновала зима, и в кузнице уж тисы появились, потом строгальный станок, потом еще какая-то мудреная машина, которая гайки, как пряники, вертит. Раньше по округе никто толком их и нарезать не умел, а Фанька теперь крутнет рукой раз-другой — и получай.

С трепетным чувством навещал Фаньку отец. Придет, бывало, и, будто боясь испугнуть, тихохонько присядет на порог и с удивлением и гордостью наблюдает за сыном. А тот без пиджака, в одной пестрядинной рубаше, подпоясанной фартуком с нагрудкой, как добрая хозяйка, стоит у печи и щипцами, будто сковородником, держит в горне железный брусок. Подержит, приглядится малость к нему — «сварилось» ли железо. А как уж сварится, выдергивает он тот брусок из горна да скорей на наковальню. И тут уж начинает месить молотком лилово-красное тугое тесто, повертывает в руках брусок и так, и эдак, — смотришь и не веришь, как получается из бруска то дужка к замку, то ребристая подкова.

«Мастеровит ты, парень, не в меня, в старуху удался, что ль, — не раз прикидывал о сыне Алешка Кузовков. — Только не похоже и на нес, та пироги кует, что те кирпичи на селитре, а этот вон из бросовой железяки крендели круписчатые вертит. Второй сын Пашка — тот в самого, видать, удался: языком, что те на балалайке, лучше меня играет».

Бежал Федярка к кузнице с медным ковшиком и думал, как подмочь маманьке в трудную минуту. Подойдет он сейчас к Фане и расскажет ему обо всем, так мол и так. А Фанька — тот добрый, возьмет он у него из рук ковшик медный, кинет на горячие уголья, а потом бросит на наковальню — и плужок готов. Плужок хотя выйдет

и махонький, но на таком можно пахать без Пегаша. Подсмотрит Федярка в бору на гривке место получше да почище, вспашет своим плужком землю, навозу положит туда, снова вспашет. Потом соберет на поле ржаные колоски, вылушит зернышки, подсушит на солнышке — и в землю запрячет. Дед говорил, что одно зернышко может уродить десять таких же. Горсточка — даст десять горстей, а если высеять зерен с ведерко? Это же десять ведерков будет — вон какая подмога маманьке!

— Чего ты хмурый такой? — как только Федярка подбежал к кузнице, спросил Фанька.

— Да так, ничего.

— Ничего — не бывает.

— Не-е, бывает... Вон маманька скажет «ничего», я уж и знаю, что-нибудь да случилось.

— Теперича кажинный день что-нибудь да случается, — заметил лобастый старик, сидевший на пороге. — Земство вон в Уржумах появилось. Новый-то урожай земству прожорливому да нашему помещику исполу надоть снова сдавать. Вот и получается, что Степаха тот скрутит нас совсем в кочеряжку да и скажет тебе «аминь».

Спрятав ковшик за спину, Федярка прислушивался к разговору, молчал выжидаяще. И в самом деле, что-то происходит неладное кругом. А что, он еще не мог понять, не мог разобраться в той сумятице, которая охватила деревню.

А разобраться и ему хотелось — маманьке-то вон как тяжело жить.

31

Вечером зашел к Глафире Фанька. Вытер у порога о соломенный коврик ноги, снял кепку с крученым ремешком у козырька. Лицо, как кепка, круглое, огрубелое, нос крупный — картохой, лишь голубые глаза из-под белых выцветших мягких бровей блестят ласково и приветливо.

— Я вот тут, Глафа, вещицу одну принес, — начал он, как всегда, нескладно и, выдернув ковшик из-за нагрудки, повертел в руках. — Думаю, как же это так? Все же вещь, кто-то, добрый человек, трудился над ней.

— Да где это ты, Фань, ковш-то наш взял? — немало удивилась Глафа. — Не иначе как цыганка стянула. Бы-

ла вчера, гадать навязывалась, в руках держала ковшик...

— Не знаю, может, она, а может, и не она,— ответил несколько смущенно Фанька.— Может, и ребятишки какие на улицу с водой унесли,— и, словно засовестившись, что сказал совсем не то, пошел напрямик: — Да чего тут душой кривить, дело-то вот как было...

Слушая кузнеца, Глафа только головой покачивала:

— Ведь эдак из дому он, непутевый опенок, может чего угодно утащить. Веником его надо драть, вот как...

— Что ты, Глафа, зачем же так-то? Он же знаешь как заботливо пришел. Как взрослый рассказал. И все по секрету, мол. А я не сумел удержать секрет, значит, я виноват, меня вините. Да и что там ковшик, лучше давай о другом поговорим. Сеять-то как думаешь?

— Уж и не знаю, Фань, горсти еще не бросила.

— Чего же стесняться, бери нашу лошадь и сей.

— Ой, что ты, Фань, чужую, да как это? Вдруг что?..

— Бери, бери. Она только за огороды скачет, а в упряжке смиренная.

— Спасибо, Фаня.

— А Федярку не ругай,— уходя, попросил кузнец.— Он ведь тоже небось переживает за нас, взрослых...

Второй день Глафира от радости ног под собой не чуяла. Земля мягкая, пухлая, такая, какую и надо: рожь сей хоть в золу, да в пору.

«И пора пришла, и земля как зола,— радовалась Глафира.— Посею вот, а там и ждать есть что. Может, и свекор домой вернется. Перемелется, не век же такое сумятое время будет, когда-нибудь да остынет...»

Время, и верно, шло сумятое. Плотненькие мужички, те, что побогаче скотом да хлебом, с приходом Степанова снова ожили, вылезли из своих домов, как тараканы из щелей. Кое-кто из них уже начал поговаривать о старой жизни, того гляди и помещик Депрейс вернется в свое имение. Вернулся же Березинский к власти, а Депрейс-то ведь ему не чужой, как-никак свояк... Что же будет тогда с землей на Коромысловой даче? Однако все мужики, не оглядываясь, посеяли, надо засеивать свою полоску и Глафе. Полоска ей при дележке досталась в самой середине поля, земля тут спелая, хлебная, возьмишь на ладонь, как пшено рассыпается.

Держась за чапыги, Глафа шла бороздой за плугом, босые ноги по шиколотку увязали в свежей, рыхлой земле. Ветер срывал с головы выцветший платок, раздувал легкое ситцевое платье. Дошла до конца полосы, оставила лошадь, подняла руки, сложила ладони дудочкой:

— Федярка-а! Неси бурак!

Из ольховых кустов вынырнула белая Федяркина голова.

Отыскав в тени берестяный туесок с квасом, он неуклюже обхватил его руками, прижал к груди. Бурак был тяжелый и Федярка, стараясь не уронить его и не пролить квас, шел медленно, ступая на ощупь по ребристой пахоте.

Подошел, осторожно подал квас матери, вытер рукавом пот с лица, отмахнулся от наседавшего комара.

— Пить-то хочешь? — открывая туесок, спросила Глафа.

Федярка прикоснулся губами к берестяному краю, жадно глотнул прохладный квас с кислинкой, поперхнулся.

— Чего ты эдак?

Глафа взяла из рук сына туесок и, запрокинув голову, принялась пить сама. Вздулись загорелые щеки, заиграла на шее набухшая голубая жилка. Отпив несколько глотков, она снова поднесла его сыну.

— Шибко-то не усердствуй, — сказала она. — Неловко бы с жары не было...

— И ты много тогда не пей, маманька.

Федярка чуть отпил из туеска и вернул его обратно.

— За солнышко поставь да закидай ветками, — сказала Глафа — и снова к плугу.

Ладони горели от деревянных чапыг, ноги подкашивались, а отдыхать некогда — солнце-то вон уже с другой стороны подкатилось, надо успеть до вечера.

Но тут, как на зло, к Коромысловой даче подъехал человек в пролетке. Глафа еще издали признала в нем бывшего управляющего помещичьего имения. Управляющий поставил лошадь в тень, что-то спросил подбегавшего к нему Федярку и махнул кнутовищем Глафе, чтоб та подошла.

— Добрый вечер, мадам, — поглаживая тощие усики, со скрытой усмешкой сказал он, когда Глафа подошла

ближе.— Вы что же, добровольно изъявили желание вспахать наше поле? Или кто, быть может, заставил?

— Землю нам в Совете нарезали.

— Ах, в Совете? В том Совете, который уже, по воле божьей, умер? Да, да, не удивляйтесь. Совет ваш долго наказывал жить. Вот мы и к вашим услугам. Мы не обидим вас, ничуть. За проделанную работу господин Деп-рейс вам оплатит сполна, ну, а относительно урожая будущего года уж не взыщите, придется его собирать нам. Вернее, убирать вашими руками, но опять же для нас,— и он, шелкнув кнутовищем по лаковому раструбу сапога, подошел к колышку, отделявшему одну полосу от другой, выдернул его и не без удовольствия швырнул в сторону, потом подошел к другому и сделал то же самое. Так он прошел из конца в конец поля и, выбросив все вешки, вернулся обратно.

— А вы чья же такая, красавица, смелая? Говорят, Ветлугиных? Уж не тех ли Ветлугиных, у которых старик сидит в темной горенке и там же его сын, комиссар? Тогда чего же вам горевать? На этих же днях их расстреляют, а вам одной не так-то много и потребуется пшеничников.

Ноги Глафы сами собой подкосились, и она, закрыв лицо руками, упала на землю. Рядом опустился Федярка, затормошил мать:

— Чего случилось-то, мамань?

— Ничего, сыночек,— не сразу ответила мать.

«Опять ничего...» — и Федярка, сжав кулаки, повернулся в сторону уезжавшей пролетки, в которой сидел высокий узкоплечий человек в клетчатом пиджаке и в такой же клетчатой фуражке, небрежно надвинутой на оттопыренное хрящеватое ухо.

Когда стук колес смолк, Глафа подняла голову и с болью в голосе сказала:

— Ездят тут дьяволы проклятушие! Нет вам, извергам, гибели! Опять кровушку нашу собираются пить.

— А Фанька вон говорит, по гужам их надо рубить,— участливо отозвался Федярка.

— Давно бы надо, да где там — опять, вишь, отжились.

В тот же вечер Федярка прибежал в кузницу и, потоптавшись, попросил Фаньку сковать ему ножик, да такой, которым бы все можно делать: и вересовый прут

вырезать в лесу для лука, и обделать из березовой болванки шар для игры, и выстругать ложки такие же, какие умеет делать только Фанька.

— А чего же ковать, бери вот мой, дарю... Только не обрежься, остер, как бритва.

— Ни-ни-ни, я уже большой,— и, взяв ножик, Федярка убежал.

Через день повозка управляющего снова показалась в Ржаном Полое. Теперь рядом с управляющим восседал и сам помещик Депрейс — низенький, тучный старик в широкополой соломенной шляпе с черной лентой по тулье.

Федярка, игравший у себя на дворе, заволновался: опять клевить маманьку приехали! Думают, некому заступиться за нее, так и клевить можно. Я вот теперь вам поклевлю...

Приставив к дверям метлу, он побежал к десятскому Гавре Прялке, побежал не по дороге, а задворками, чтоб никто не видел. Обогнув дом, выглянул из-за угла: у крыльца стоял помещичий сытый жеребец и нетерпеливо бил копытом о каменную плиту — плита была только у Прялки. Сердце Федярки дробно билось: а вдруг кто увидит? Ну и пусть, пусть...

Стиснув кулаки, Федярка кинулся к жеребцу и, выхватив из кармача подаренный Фанькой ножик, чиркнул им по мягкому сыромятному гужу. .

32

Как только комиссара Дрелевского препроводили в городскую тюрьму, Степанов пожелал лично видеть его. Вначале он хотел приказать доставить Дрелевского в штаб, но, поразмыслив, решил поехать в тюрьму сам, — это полностью исключало побег арестованного.

Еще несколько недель тому назад, когда Дрелевский был проездом в Уржуме, Степанов, сказать правду, побаивался комиссара юстиции: вдруг он распознает его тайные связи с самарским эсеровским центром? А сейчас этот самый комиссар оказался в его руках. И то, что такого видного большевистского руководителя схватили на уржумской стороне, Степанов считал победой и готов был приписать эту победу себе. Ведь сейчас каждый его шаг был на виду, каждая его удача не пройдет бесследно,

успехи его заметят,— все это его радовало, обнадеживающе бодрило. Но где-то рядом с этим волнующим чувством в душе Степанова жило и другое — чувство внутренней тревоги.

Ожидая лошадь, Степанов нетерпеливо прошелся по кабинету и, остановившись, обхватил руками стриженный круглый затылок. Живо представилось, как помещик Депрейс и его управляющий в повозке легкой рысцой съезжают под гору,— и вдруг их конь по непонятной причине вывертывается из гужей, и повозка с седоками летит под откос. Так случилось недавно... «Не иначе это дело рук комиссаров, они скрываются где-то у мужиков и подбивают их... Но комиссарам подходит конец. Скоро и остальные, как Дрелевский, в наших руках будут...»

Через час в сопровождении охраны Степанов подъехал к торговой площади и, свернув к всполью, остановился у массивных тюремных ворот. Во дворе лежали кучи полусожженных бумаг, какие-то книги: все это выбросили степановцы при захвате тюрьмы. Из нее были выпущены все преступники, и теперь в освободившиеся камеры сажали коммунистов и им сочувствующих. Сажали целыми группами, без суда и следствия.

Когда вместе с начальником тюрьмы, здоровенным усачом, Степанов стал подниматься на второй этаж приземистого, будто вросшего в землю, здания, его неожиданно охватила неуверенность. Хотя он, казалось, и верил в успех своего, как он выражался, нелегкого предприятия, но стоило допустить какую-нибудь оплошность, и все полетит вверх тормашками, и он сам может вот так же запросто оказаться в этом большом каменном мешке. Но гут же упрекнув себя в минутной слабости, он перешагнул порог и слепыми шажками направился следом за начальником по узкому коридору, скупое освещенному ночником.

Кругом стояла гнетущая могильная тишина, как будто во всем этом здании не было ни одной живой души,— хотя Степанов знал, что все камеры переполнены. Об этом еще вчера уведомил его начальник тюрьмы и просил кое-кого снять с казенных харчей, недвусмысленно намекая на очередной расстрел; начальник тюрьмы любил применять к своим временным жильцам крайние меры.

Вдруг что-то дискнуло под ногами, и Степанов, от-

прянув в сторону, брезгливо сморщил лицо — он с детства не мог переносить мышей, а здесь, как ему показалось, они шныряли по всем углам.

Кабинет начальника тюрьмы был, как и сам начальник, неприветливо холоден. Пустые стены большой квадратной комнаты как бы говорили о житейской отрешенности его хозяина, дополняли его угрюмый вид.

Поеживаясь, Степанов подошел к шкафу, стоявшему в углу, вытянул из-за него — в позолоченной раме — портрет рыжеусого с одутловатым лицом Николая Второго. Портрет, по непонятным соображениям, все еще хранился здесь, то ли хозяин заведения поджидал зимы, чтоб использовать его на растопку, то ли ждал новых времен, чтоб возвратить портрет на прежнее место, которое отчетливо выделялось серым квадратом над массивным письменным столом.

— Чего же вы храните его тут? — спросил Степанов.

— Жалко, красочный...

— Красочный... — удивленно протянул Степанов и усмехнулся: «Николай Романов красочный... Это сказано неплохо».

Начальник тюрьмы, торопливо смахнув с портрета пыль, осторожно поставил его на прежнее место. Потом, услужливо подвинув гостю стул, спросил:

— Как же быть, господин Степанов? Во вверенном мне учреждении все камеры переполнены, а мне ваши предпровожают все новых и новых.

Не удостоив взглядом начальника, Степанов махнул рукой, словно стараясь оборониться от назойливой мухи.

— Дрелевский где находится? — спросил он.

— Пока что, по особому усмотрению, в одиночной камере.

— Привести его!

Начальник тюрьмы, сутулясь, открыл по-мышьиному пискнувшую дверь, и Степанов опять почувствовал нестерпимую могильную тишину, которая почему-то угнетающе действовала на него. Прошло несколько минут, и дверь снова открылась. На пороге в сопровождении начальника показался сухощавый светловолосый человек в полосатой тельняшке, разорванной на груди. По ввалившимся щекам пробивалась русая борода.

— Это вы и есть комиссар Дрелевский? — смерив глазами вошедшего, спросил Степанов.

— Да, это он, в точности, Дрелевский,— поспешил ответить начальник.

— Я не вас спрашиваю.

— Извиняюсь покорнейше.

— Так что же, комиссар Дрелевский? Как мне известно, вы хотели со мной встретиться. И вот, я к вашим услугам.

— Не разыгрывайте из себя победителя, вы плохо стоите на ногах.

— Ну что ж, ваш юмор я принимаю... Вполне... Хотя он прозвучал не совсем выгодно для вас. Не лучше ли поговорить нам о другом. Скажите, зачем вы пробирались в тыл нашей Народной армии?

— Чтоб расследовать вашу контрреволюционную деятельность и потом судить вас.

— А оказалось совсем наоборот?

— К сожалению, да... Но хотя кулаки, ваши подручные, и схватили меня, это еще не говорит о вашей победе.

— Вы так считаете?— и, снова смерив Дрелевского взглядом, Степанов резко спросил:— А вы знаете, что осталось у ваших коммунистов от России?

— Я знаю, вы пытаетесь задушить свободу, но придет время, и вся Россия станет советской...

— Я согласен с вами: мы установим Советы, но только без коммунистов.

— Из эсеровской сволочи?

— Я бы не советовал вам, Дрелевский, так категорически выражаться, вы здесь не дома.— Степанов перевел взгляд на начальника тюрьмы, дав понять, чтобы тот их оставил одних.

Когда начальник вышел в коридор, Степанов, указав Дрелевскому взглядом на стул, приглашая его сесть, спросил:

— Как вас, Дрелевский, содержат здесь?

— Превосходно... Отняли все — записную книжку, карандаш... Даже очки разбили...

— Вот видите, как они... Чего же вы хотите? Это не Питер, это почти что Азия... Я сочувствую вам. Вы, я вижу, в какой-то мере интеллигентный человек. И я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что вы и сами-то теперь не верите в эту грубую мужицкую революцию.

— Уж не ждете ли, чтоб я перешел на вашу сторону?

— А почему бы и не перейти?— оживился Степанов.— Вы бывший моряк, я — офицер. Я много передумал... сделал вывод... Мы должны освободить русскую землю от узурпаторов. И мы начали эту миссию.

— Слушайте, Степанов, вы сказали, что вы бывший офицер. Но я удивляюсь, как вы опрометчиво поступаете. Вам Советская власть простила многое... Она доверила вам, царскому офицеру, большое дело. Но вы, растоптав это доверие, вы снова цепляетесь за старое, которое с каждым днем рушится. И ни англичане, не белочехи — никто не может изменить ход истории. Уверяю вас... Поверьте, Степанов, ваши карты биты...

— Вы так думаете?— с минуту помолчав, спросил Степанов, удивленный непреклонностью комиссара.— Мы уже взяли Нолинск и Лебяжье...

— Не-ет, вы еще их не взяли. Борьба еще только начинается...

— Вот-вот, и я так считаю... Потому и делаю вам предложение. На нашей стороне военная сила.

— А на нашей — правда.

— Без оружия ваша правда бессильна. За нас передовая часть крестьянства. Наконец, верные мне моряки... Не скрою, они вас знают... И вы ровным счетом ничего не потеряете. Скажите «да», и я сейчас же дам распоряжение об освобождении вас. Получите у нас отличную работу... большие деньги...

— Слушайте, вы, белогвардейский офицер,— Дрелевский метнул гневный взгляд на Степанова.— Я не продаюсь, как вы. Вы предали моряков, втянули их в грязное и позорное дело. Вы потеряли честь русского солдата. Вы пошли на преступление. И не вы меня будете судить, а мы... мы будем судить вас именем революции!

— Прекратите, арестованный!— вскочив, крикнул сорвавшимся голосом Степанов и попятился к двери.

— Не увернетесь,— спокойно сказал Дрелевский.— Будем еще судить! И не вас одного — всю вашу белогвардейскую банду будем судить! Судить нашим, рабоче-крестьянским судом!

— Вы еще пожалеете, Дрелевский,— крикнул Степанов и, схватившись за револьвер, открыл спиной дверь.— В наручники его!

— Руки, руки, арестованный, как предписано,— вбежав в кабинет, монотонно и холодно бросил начальник

тюрьмы и вдруг иным, будто потеплевшим, голосом добавил:— Черт вас, комиссаров, поberi... Можно сказать, на краю могилы, и так...

— Это вы с ним на краю могилы!— бросил Дрелевский.

И в ответ — монотонный окрик:

— Но-но-о, в камору, арестованный, в камору...

33

Комиссар Вихарев сбежал по гулкой лестнице на крыльцо и, расправив плечи, вдохнул все еще душный, перегретый августовским жаром, вечерний воздух.

Парадное крыльцо с деревянными ступеньками было пристроено к срезанному углу большого четырехэтажного кирпичного здания духовного училища — ныне красного военкомата — и выходило на площадь, заросшую огрубевшей и кое-где порывевшей травкой. Около здания росло несколько тополей, уже добравшихся своими ветвями до окон второго этажа. Чуть поодаль стояла водопроводная будка.

День был суматошный. Только что закончили пересвидетельствование бывших офицеров, а впереди еще предстояло много других дел: надо проверить посты, захватить на почту и отправить в губком партии телеграмму о заготовках хлеба, сделать ряд срочных распоряжений по военкомату.

Спустившись, потрепал рукой по мягкой гриве коня и, бросив недоверчивый взгляд на позеленевшие луковицы Успенского собора, стоявшего напротив, подумал: «А бойницы-то божьи неплохо бы под свой контроль взять...» — и, повернувшись к часовому — рослому красноармейцу, сказал:

— За собором-то поглядывай!

— Доглядаю в оба, товарищ военный комиссар.

— Прошлой ночью тут видели подозрительных людей,— пояснил Вихарев и, ухватившись за луку, легко вскочил в седло и тряской рысцей выехал со двора.

Вернулся Вихарев, когда почти уже стемнело, со стороны реки Вои подувал прохладный освежающий ветерок.

Кинув у крыльца поводья, комиссар подошел к часовому, спросил:

— Ну, как, никого не заметил подозрительного?

— Никого, товарищ военный комиссар,— приложив руку к козырьку, ответил тот.

— Смотри зорко и никого не подпускай. Чуть чего, давай знать мне,— наказал Вихарев и прошел в здание.

В общежитии, которое было тут же, жило человек двадцать красноармейцев, охранявших военкомат. Свободные от дежурства бойцы растянулись на кроватях и спали, в изголовьях у них стояли винтовки. Стараясь не разбудить их, Вихарев тихонько прошел к столу, отрезал от ржаной ковриги ломоть, круто его посолил и принялся есть, запивая водой из стакана. Потом снял ремень, растегнул гимнастерку и, не раздеваясь, прилег на кровать.

Только теперь он почувствовал, как устал. Он закрыл глаза, но не спалось. В голове роем теснились обрывки событий прошедшего дня, снова перед ним встали знакомые люди, слышались голоса... И среди всего этого вдруг вспомнил он мать, жену, сынишку, которому вот-вот и годик будет. Трудно в деревне жене, звал ее сюда, но дом оставить никак нельзя. Мать давно болеет, отец уже старый; есть сестра Анка, но где ей успеть везде. Потому и отец сердится, что сын не дома живет. Заезжал вот недавно он домой, отец так ему и сказал:

— Чего ж ты блукаешь, Андрей, по чужим волостям да уездам? Ты хоть и кавалер егорьевский, но все одно мужик. Из мужиков вылупился, с мужиками и должен веревки вить. А ты, смотри-ка, в партию записался.

— Без партии не могу, тятя.

— Другие живут же,— сердился отец.— Да и что толку, что ты в партию... Революцию сделали... А чего тебе она дала? Ране бы ты без революции вернулся домой, да со всеми регалиями да отличиями — знаешь, какой бы почет на деревне был и мне, старику? Лучшую полоску без жребия общество б нарезало! А теперича что? Кресты да медали сбросил с себя, да и гоняешься за таким же, как сам, мужиком. То за скотину у него уцепишься, то силком хлеб выжимаешь... Не за свое дело забрался, Андрей. Вон и жена одна тут с мальчонком... Зовешь к себе, да пристало ли бабе по чужим домам таскаться? Ни в жизнь не посоветую...

Вспомнил этот разговор Вихарев и пожалел, что не успел написать домой письмо. Хоть и предупреждал жену, что часто писать не удастся, но все равно они ведь

ждут. И он решил, не откладывая, завтра же написать. Живо представилось, как жена получит письмо, как усядется с Анкой на скамейку возле рябинки у крыльца и будет долго по складам читать. Она так и просила, чтоб письма писал он печатными буквами и покрупнее, поразборчивее...

Не успел Вихарев заснуть, как вбежал разводящий и сообщил, что внизу стоит какая-то девушка и желает видеть комиссара.

— Впустите,— сказал Вихарев и, на ходу застегивая гимнастерку, вышел из комнаты.

Это была еще совсем молоденькая черноглазая девушка.

— Товарищ... я из Уржума,— взволнованно начала она.— Ксеной меня зовут... Ксена Окаева... Сказывали, у вас здесь наш комиссар Ветлугин...

— Зачем он вам?

— Да надо бы, очень надо... Хотелось повидать... Дело одно тут есть...

— Его здесь нет,— ответил Вихарев и, заинтересовавшись, спросил:— А что у вас за дело?

— Так дело-то очень важное... не для всех... Вы-то кто будете?

— Я тоже комиссар.

— Комиссар?— обрадовалась девушка и, оглянувшись, словно боясь, кто бы не подслушал, сказала:— Ну, если комиссар, то и вам можно. Я в Уржуме телефонисткой у Степанова была. И вот услышала—и сюда, тайком. Надо, думаю, сообщить, товарищ комиссар. Они ведь не сегодня завтра сюда нагрянут. Думала, уже пришли, но вижу, нет их здесь, слава богу,— и, словно поняв, что озадачила этим комиссара, поправились:— И то сказать, силы-то у вас побольше, чем было у нас в Уржуме...

— Конечно, оилы есть,— сухо заметил Вихарев и подумал:— «А не подослали ли тебя степановцы?»

— Откуда ты Ветлугина знаешь?— спросил он уже строже.

— Ну, как же мне не знать Егора Евлампьевича? Дружила с ним... Степанов-то чуть не схватил его,— и, помолчав, спросила:— Так вы не знаете, что ль, не встречали его, Ветлугина-то?

Ничего не ответив, Вихарев провел девушку в соседнюю комнату и сказал:

— Вот вам кровать, раскиньте матрас и спите. А там утро вечера мудренее...

Спустившись вниз, Вихарев разыскал разводящего и строго-настрого наказал:

— За девчонкой приглядывать. И ни под каким видом не выпускать. И не впускать никого.

Поднявшись наверх, он позвонил начальнику караульной роты и приказал, чтобы тот усилил в городе посты.

— Особенно обратите внимание на мост со стороны Медведка,— добавил он.

Отдав распоряжение, Вихарев снял ремень и, взглянув на часы — было без четверти два, опустился на кровать.

Повернувшись на бок, он опять вспомнил о родном доме, о вымытой добела скамейке у крыльца, о рябинке, которую когда-то в детстве он сажал. Теперь красные гроздья ягод свисают, наверное, над самым козырьком крыльца.

— Чего не спишь-то?— проснувшись, спросил его товарищ.

— Не спится что-то, Мурин,— ответил Вихарев.— О доме вспомнил. А тут девчонка какая-то пришла, не поймешь, правду говорит или врет,— и, дотянувшись до руки приятеля, стиснул ее:— В случае чего — живыми не сдадимся!..

Помолчав, он снова повернулся на бок, потом, приподняв голову, тихонько спросил:

— Может, лучше бы тебе не здесь, а у себя на квартире быть? Чуть что, я дал бы сигнал, ты на коня — и в комбед за помощью.

— Винтовок-то у них маловато, Андрей.

— Это верно, винтовок мало,— согласился Вихарев. Через минуту-две сказал в полудреме:

— Из Вятки уже вышел батальон... Подмога...

По телу разлилась легкая приятная истома, он словно куда-то погружался легко и свободно. Откуда ни возмись — мать: такая же, как в молодости, круглолицая, без единой на лице морщинки. Глаза добрые, улыбчивые. Волосы гладкие, с пробором. В ушах сережки, — как и глаза, с блестками... И речка с мостиком. Мать ловко бьет вальком по перемытому белью. А его голубой рубашки нет, той, что в белую полоску. Вместо рубаш-

ки — серая еловая кора. Он хочет что-то крикнуть... Но вдруг сквозь сон слышит голос разводящего:

— Какие-то у собора люди, товарищ комиссар!

Вихарев, вскочив, увидел в окно, как по площади, левее будки, пригибаясь, бежали к парадному крыльцу солдаты.

— Трево-о-га! — поняв все, крикнул он. — Пять человек вниз! Забаррикадировать вход! Остальные — к окнам! Двое — к пулемету! — и, оглянувшись, увидел Ксену с пулеметной лентой в руках. «Так вот она какая», — мелькнуло в голове. — Давай сюда! — указав взглядом на пулеметчиков, устанавливавших «максимку» в проем окна, крикнул Вихарев и бросился к телефону, чтоб вызвать на помощь солдат караульной роты.

В телефонную трубку ответили, что рота по распоряжению комиссара Вихарева уже выбыла с полчаса назад. И, вдруг поняв, что его именем воспользовались степановцы, Вихарев ужаснулся: они обманули красноармейцев. Бросив трубку, Вихарев подбежал к окну и увидел, что степановцы уже окружили здание. На углу у водокачки устанавливали пулемет. Раздались первые винтовочные выстрелы. Со звоном посыпались стекла на пол.

— Сдавайся, Вихарев! — кричали мятежники на площади и рвались с винтовками к дверям и окнам.

— Не подпускай, товарищи! — скомандовал Вихарев. — Гранатами их!

Сверху полетели гранаты. Вспышки огня осветили площадь. Степановцы в смятении бросились обратно к водокачке.

— Комиссара к телефону!

Вихарев метнулся к стене, схватил трубку. Чей-то властный голос приказывал ему немедленно сдаться.

— Черта с два! — бросил в ответ Вихарев. — И разговаривать с врагами не хочу!

И снова в трубке:

— Мы уничтожим ваше здание!

— Не взять нас!

Его перебивал тот же властный голос, но Вихарев не хотел и слушать:

— Вреш! Не погибнем! Нас много... — и, кинув на рычажок трубку, бросился к пулемету. — А ну, получай, гады! — стиснув зубы, крикнул он и дал очередь по столпившимся около водокачки степановским солдатам.

Сафаней Вьершов в тот день был особенно деятелен. То он скакал на телеграф с каким-то важным поручением, то, скособоچась, сопровождал по городу карательную тройку, хвастаясь, что он, мол, сам уж шашкой срубил милиционера...

Узнав, что комиссары с бойцами, забаррикадировавшись в военкомате, настойчиво сопротивляются, что уже ранен заместитель Степанова, который командовал взятием города, Вьершов понял — дошла пора до него.

Подъехав к военкомату и окинув беглым взглядом площадь, на которой уже валялись убитые, он выругался и, соскочив с седла, подбежал к столпившимся у водокачки солдатам.

— Чего ждете? Надо наступать, а вы?!

— Попробуй, наступи, вон сколь наших положили... Командира...

— Пре-кра-тить разговоры! — оборвал Вьершов. — Я теперь буду за командира...

Он выхватил из растопыренной на боку кобуры револьвер и, размахивая им, побежал к зданию. Степановцы, подбодренные неожиданной решимостью прапорщика, взяли винтовки наперевес и тоже кинулись было за ним. Но в этот момент где-то рядом цвиркнули пули. Сафаней Вьершов крикнул что-то и вдруг ткнулся лицом в землю, но тут же вскочил и, поддерживая руку, побежал обратно, к будке, увлекая за собой и остальных.

— Не взять их нам так-то, — тоскливо подсадовал кто-то. — Они же каждого на мушке держат, а мы в пустые окна дуем.

— Неправда, возьмем! — ответил Вьершов. — Осаду не снимать! — Поднявшись с помощью офицеров на лошадь, он погрозил в сторону военкомата: — Мы еще покажем, где раки зимуют! — и куда-то усакал.

Вскоре к осажденному военкомату подвезли ржанные обмолотки. Вихаревцы снова открыли по степановцам огонь. По команде возвратившегося Вьершова его смельчаки, прижимаясь к стене, чтоб уберечься от пуль, начали подтаскивать снопы к парадному крыльцу. Сафаней Вьершов, стоя у водокачки, поторапливал:

— Живей! Живей!..

Когда степановцы обложили крыльцо снопами, ни-

зенький кривоногий звонарь Прошка Морало, только что утром выпущенный Сафанеем из тюрьмы, подобрался к крыльцу и, припав на колени, чиркнул спичку. Огонь трепетно побежал по сухой соломе. И вдруг снопы разом охватило пламя, оно с зловещим треском поползло по белым крашеным косякам вверх.

— Ага-а, теперь выкурим,— злорадствовал Вьершов.— Теперь сами в окна полезут, как миленькие...

Вслед за соломой занялось крыльцо, запылали косяки, двери. Но, к общему удивлению, огонь вовнутрь здания не пошел.

— Не может быть, чтоб не взяты!— все больше ожесточаясь, злился Сафаней Вьершов.— А ну, Пьянков, Куракин, Прошка... Кто там наши есть? За мной!— и, повернувшись, поехал на склад к купцам Небогатиковым.

Осада военкомата продолжалась весь день.

К вечеру, когда уже начали сгущаться сумерки, к площади купцы подвезли две бочки керосину. Привезли еще воз ржаных обмолотков. От каланчи к водокачке подтянули на лошадях пожарную машину.

— Распускай кишку быстрее,— командовал Сафаней Вьершов.— И солому вон туда кидай, вдоль стены... Да не бойся.— И, выхватив левой рукой револьвер из кобуры, погрозил:— А ну, вперед!

— Они же стреляют!— бросил кто-то в ответ.

— А ты думал, теща тут для тебя блины пекет?— огрызнулся Вьершов.— Приказываю не оглядываться! А то я сам спишу тебя с довольствия,— и, повернувшись, проковылял к пожарной машине.— Чего застопорились? Качайте вон в то окно... среднее... Не хватит керосину — добавим!

В окно, из которого вихаревцы вели пулеметный огонь, ударила тугая струя, и керосин, обрызгивая стены, начал разливаться по полу казармы светло-маслянистым поломом.

— Перебирайтесь в соседнюю!— поняв замысел степановцев, крикнул Вихарев и, ухватившись за ствол пулемета, потащил его к порогу.

А в это время по водосточной трубе вверх уже карабкался Прошка Морало. За пояс у него был прицеплен ржаной сноп. Добравшись до второго этажа, он поджег сноп и, ловко кинув его в проем окна на пол, залитый керосином, спустился обратно.

Огонь мигом объял комнату. Густые, черные клубы дыма вырывались наружу и застилали окна третьего этажа, откуда все еще отстреливались вихаревцы.

В расстегнутой гимнастерке, без ремня, с темным от копоти лицом Вихарев стоял посреди комнаты. Он отчетливо понимал трагичность положения. Еще час назад он верил, что они продержатся до утра — у них есть патроны и гранаты, и они белогвардейцев не пустят в дом, а там — подоспеет и подмога. Но сейчас, когда здание охватил огонь, надо принимать другое решение, надо спастись, и в первую очередь — спасти людей.

Хорошо, что ночью каким-то чудом удалось вывести через заднее крылечко женщин и детей — семьи военнослужащих, которые жили на третьем этаже. Теперь нужно спасти бойцов... Но здание уже блокировано со всех сторон...

Вихарев выбежал в коридор, заглянул в комнату, выходящую во двор, подбежал к окну: внизу, в щербатых отблесках огня, виднелись кусты малины, за кустами в темноте угадывались огороды, спускавшиеся под уклон к слободке.

Вернувшись, он крикнул:

— Спасайтесь, товарищи! Еще можно в окна... по водосточной трубе...

— А ты, товарищ комиссар?

— Я пулеметом буду прикрывать.

Бойцы молча переглянулись.

— Ну нет, комиссар, — возразил Семен Мурин. — Мы не оставим тебя!

— Приказываю спастись! — снова крикнул Вихарев.

— Приказывайте другое, комиссар, — раздался рядом с ним женокий голос — это была Ксена в красной рваной кофтенке. — Приказывайте, будем бить белых гадов! У нас еще ни одного раненого, а у них весь двор завален.

— Сколько у нас патронов?

— Есть еще, комиссар!

— За оружие! — крикнул Вихарев и, подбежав к пулемету, опустился на колени.

— А ну, патроны, Ксена, патроны...

Девушка метнулась в дальний угол к ящикам.

Красные гривастые языки пламени по стенам уже добрались до третьего этажа и, потрескивая, жадно обли-

зывали косяки окон. С каждой минутой становилось труднее дышать.

Где-то внизу треснули балки, и Вихарев понял: вот-вот рухнет пол.

— За мной, товарищи! — воскликнул он и бросился к двери.

Из соседних комнат огонь уже вырывался в коридор, казалось, вот-вот он перекроет единственный проход в другой конец здания.

— В подвал!

Оглянувшись, Вихарев увидел Мурина, Степу Кудрина, Ксену...

Нашупав в темноте скобу, он рванул дверь.

— Сюда-а! — и метнулся по узкой винтообразной лесенке в подвал со сводчатым бетонированным потолком.

Вихарев надеялся, что огонь все же не доберется туда, пусть даже рухнут потолки и полы верхних этажей. Но как только он вбежал в подвал, его обдало удушливым едким дымом. Закашлявшись, он бросился к водопроводу, судорожным движением открыл кран. На пол хлынула освежающая струя воды. В это время в развороченное маленькое квадратное окошко кто-то с улицы швырнул горячий сноп, облитый керосином.

— Пробивайтесь, братцы, на ту сторону, во двор! — прижатый дымом к залитому уже водой полу, закричал Вихарев. — Отстреливайтесь, сколь можете! Спасайтесь!..

Зажимая ладонью глаза, Вихарев подполз к стене и, ухватившись за подоконник, приподнялся на руках: кажется, к счастью, вокруг никого нет. Собрав остаток сил, он поднялся на подоконник и только хотел выскочить, как кто-то схватил его за руки и, словно желая помочь, вытащил наружу.

— Расступись, я Вихарев! — увидев подбегавших людей, взмахнул он револьвером и вдруг среди них в отблесках пожара увидел худенькое веснушчатое лицо Лаврушки.

— Не трожь, это наш комиссар! — крикнул мальчик и преградил путь отцу, бежавшему к Вихареву с железной тростью.

— Пошел вон, щенок! — Прошка откинул в сторону сына.

В это время уже кто-то успел набросить на шею Вихарева веревку.

— Тащи его в штаб! — подбежав с факелом в руках, охрипшим голосом крикнул Сафаней Вьершов и, осветив потемневшее лицо комиссара, злорадно бросил:

— Попался наконец-то!

Среди мальчишек Федярка считался самым бывалым. Был он не только в соседней деревне, но и в Уржум как-то с дедом ездил, и в Прислоне гостил у бабки три недели, и на мельнице был, и ходил за груздями на Былину — дальнюю зеленую веретею. Возвращался домой хотя и усталый, но всегда довольный, собирал где-нибудь у амбаров ребятишек и рассказывал о лесных чудищах, о водяном колесе, о бабкином доме...

Дом бабки Мариши стоял у обрыва на самом выступе высоченной горы. Выбежишь, бывало, утром на крыльцо, кругом туман, а под восьмисажженным обрывом журчит вода, словно ты стоишь не на крыльце, а на мостике корабля и куда-то плывешь вместе с бабушкиным домом, украшенным голубыми веселыми наличниками, плывешь с бабушкиным огородом, в котором чего только нет: тут и репа по блюдцу, и морковь здоровущая, и пузатая капуста, и стручистый горох. В углу огорода — колодец, рядом бочка с водой, а за бочкой тоненькие колышки, и по колышкам взбирается вверх духмяный кудрявый хмель. «У меня все свое, — хвалилась, бывало, бабушка. — Лето припасет, а зима длинна да прожорлива, уберет, как и не бывало...»

А когда снимается туман — от бабушкиного дома видать, как река разливается на два огромных рукава. Нигде Федярка не видал так много воды, как здесь, под Прислонной горой. Вот она какая, Вятка! Это тебе не Ветлужка. Течет тут Вятка и никогда не пересыхает, все полным-полна.

Не раз Федярка допытывался у маманьки, когда они снова поедут в гости к бабке. Глафа хмурилась, отвечала с тоской:

— А на ком ехать-то, сынок? Пегашку-то нашу, видишь, степахи отняли. И деда посадили, не отпускают. Теперь уж пешком разве? Подрастешь вот малость, и пойдем.

И вдруг однажды мать говорит:

— К бабке, Федя, надо идти, собирайся.
— Подрос я, что ли, мам?
— Вырос-то не больно шибко. Боюсь, не дойти с тобой.

— Дойду, эвон я какой,— и Федярка, подбежав к двери, повернулся спиной к косяку. — Отметинки-то, зарубочки дедовы, смотри, перерос уж.

— Ну, ладно, дойдешь ли — не дойдешь, а идти надо. Степахи-то вот-вот нагрянут, тогда беды нам не миновать. Дядя Егор у тебя комиссар. За первых за нас возьмутся.

Дорога к бабушке Марише и в самом деле была не близкая. Пройдет Федярка, присядет где-нибудь на холмике, спросит:

— Далеко ли еще?

А мать отвечает:

— Да совсем недалеко, вон видишь сосну? Вот дойдем до ветвистой сосны, а там — рукой подать.

Вот и сосна та, высокая да корнистая, — корни как огромные жилы надулись, из земли повылезли на дорогу.

— Присядь, передохни, сынок, теперь уж недалеко, — снова успокаивает мать. — Перейдем вот за речку, а там близко и бабушка наша.

Перешли речку и новую сосну встретили, такую же высокую и ветвистую, а мать ему по-прежнему: «Теперь уж совсем близко, сынок...»

Только к позднему вечеру добрались они до бабушки. Бабка Мариша, собой худенькая, увидев на пороге дочь, всплеснула руками:

— С ребенком-то, да в этакую дорогу...

— Я уж не ребенок, бабушка, — словно обидавшись, ответил за мать Федярка и подбежал к косяку — здесь у дверей тоже была своя, бабушкина, пометка-зарубочка.

И верно ведь, подвырос Федярка, на целых два вершка бабушкиных вытянулся.

— А умом-то подрос ли? — улыбнувшись, спросила бабушка.

— Какое еще ума спрашивать, — ответила мать. — Все с мальчишками, где ему ума-разума набраться — одни шалости.

— Без шалостей, скажи, и наставники не вызревают, — и, взяв самовар, бабушка пошла на кухню. Поставила на табуретку, сказала: — А вороги-то эти белые не-

бось и сюда вот-вот придут. Попы да межевики уж переглядываются, ждут...

Прошло дня два, Глафа и бабушка уходили жать, а Федярка бегал с прислонскими ребятишками в лес по ягоды. Приносил он в жестяной кружке земляники и вечером отдавал бабушке. Та брала кружку и угощала из нее внука.

Как-то в воскресенье утром Федярку разбудил колокольный звон. Это было непривычно, такого звона он в Ржаном Полое не слышал. Выбежал на улицу Федярка и увидел на колокольне старика в белой рубахе. Старик, будто подплясывал, дергал руками за веревки, подвзятые к колоколам, колокола пели на разные голоса — большой гулко и торжественно, средний как бы вторил первому, голос у него был нежнее и мягче. Маленькие же колокола-подголоски выполняли свою роль, они подпевали двум первым, словно прославляя их.

— Ишь, как звонарь-то зазывает, — выйдя на крыльцо, сказала бабушка. — Пойдем ли, Глафа?

— Молилась раньше, а что вымолила? — ответила дочь. — Одни слезы бабы... Глаза-то который год не сохнут.

— А сегодня спектакля у магазина, — обрадовавшись, что мать не собирается в церковь, сообщил Федярка.

— Только по спектаклям нам с тобой и ходить.

— И меня, мам, не отпустишь?

— Отправляйся, хоть по селу не бегаешь...

Федярка раньше других убежал к магазину. Он видел, как артисты на длинном магазинном крыльце устраивали сцену, прибивали какие-то щиты, вешили холщовые полога. Когда собрались люди, полога эти раздвинули. На сцене стояли стол, стулья, на стене висели часы-ходики — все как в настоящей избе. И старик сидит с длинной бородой. Сидит он на лавке и плетет лапти. Присмотрелись к старику, — а это, оказывается, вовсе не старик, а учитель местный, и засмеялись: как он ловко бороду приделал! Особенно смеялись мальчишки. Смеялся и Федярка.

После первого действия, в перерыв, вдруг кто-то с тревогой в голосе крикнул:

— Беяки едут!

Прислонцы заволновались — они поняли, о ком шла речь, — отступили от сцены и торопливо, задворками, ста-

ли расходиться по домам. Только ребяташки, любопытные до всего, побежали не домой, а к волисполкому. Со стороны кладбища уже слышался заливистый перезвон колокольцев. Вскоре из-за крайних домов показались две тройки. Взмыленные от быстрой езды кони остановились у крыльца исполкома, замотали головами, словно стараясь сбросить с себя гремевшие ошейники. Из тарантасов повыскакивали военные, обвешанные револьверами, гранатами. Один из них, высокий и длинноногий, как журавль, шагнул к крыльцу. Федярка понял, что он-то, Журавель, и есть самый главный. А к нему навстречу уже бежал из волисполкома низенький, с выпирающим брюшком человек.

— Это чего советчик-то, красный ведь он? — толкнув в бок мальчишку, спросил Федярка.

— Какой он красный... урядник... Только, говорит батька, затесался в советчики, — ответил мальчишка и, держа Федярку за руку, стал протискиваться меж людей ближе к крыльцу.

Журавель важно поднялся на крыльцо и, заложив руку за ремень, на котором висела, как телячья нога, ружья кобура, окинул взглядом собравшихся.

— Мы передовой отряд Степанова, — сказал он. — Вчера мы были в Уржуме, сегодня утром заняли Сердеж, сейчас вот у вас...

— Очень приятно, очень приятно, — лебезил урядник. — Волисполком наш, так сказать, волостное управление, к вашим услугам, господа...

— Это хорошо, когда без кровопролития, — кивнул головой Журавель и приказал офицерам выгружать из тарантасов оружие.

Кое-кто из мужиков в надежде, что их угостят водочкой, стали помогать офицерам снимать с переднего тарантаса пулемет.

— А вы чего стоите? — крикнул рыжеусый офицер, взглянув на ребят. — Помогайте!

— Вы стешки? — спросил Федярка.

Офицер, усмехнувшись, ответил:

— Мы Народная армия, тебя защищать приехали... Поднимай подол! — приказал он.

Федярка нахмурился, нехотя загнул подол рубахи. Офицер быстро начал кидать ему патроны. Наполнив, скомандовал:

— Наверх!

Поднимаясь по узкой крутой лестнице, Федярка не заметил идущего за ним урядника, сказал:

— В нужник бы бросить...

— Чего, чего? — насторожился урядник.

— Да он так. Живот у него квелый, — заступился за Федярку идущий следом мальчишка.

Вечером, укладываясь на сеновале спать, мать ругала Федярку:

— Дурачок ты... Приехали беляки, а ты им — патроны таскать.

— Да это ведь Колька, я говорил, в нужник надо. Я и то одну бонбу в огород бросил.

— А вдруг она взорвется?

— Так она же на кобуре, как у дяди Егора...

На другой день на церковную площадь собрали народ со всей волости. Журавель поднялся на телегу и, размахивая длинными руками, стал призывать записываться к нему в книгу. Рядом с ним стоял урядник с брюшком и держал эту самую книгу в руках.

— Фига им, а не добровольцы! — крикнул кто-то.

Но Журавель не услышал, он говорил и говорил о какой-то власти, о Добровольческой армии... Говорил так долго, что не заметил, как из-за реки надвинулась туча, пошел дождь и люди бросились к волисполкому. За взрослыми побежали и мальчишки — интересно все же, что там будет.

В самой большой комнате исполкома набралось людей полным-полно. Мужик с повязкой на глазу притащил к дверям кресло и, взобравшись, уселся на его спинку. Из-за него ничего не видно. Федярка низенький, а цепкий, изловчился — и тут же прилепился на подлокотник. Прилепился и смотрит: в одном углу — Журавель с урядником, в другом вроде пушка стоит. Около нее возится рыжеусый офицер, он расправляет какую-то железную ленту, прилаживает ее. Федярка смотрел, смотрел — и оборвался. Хотел было подняться снова, как вдруг что-то в углу застрекотало, и сидевший на кресле мужик охнул, схватился за грудь и, как тяжелый мешок, грузно повалился на пол.

— Убили, убили! — всполошились люди и бросились к выходу.

Узнав о случившемся в волисполкоме, Глафа запретила Федярке отлучаться из дому. Днем стала брать его с собой на поле: так-то спокойней, а то мальчонку, того гляди, пристрелят.

Разыскав на подволоке старенький серп, Глафа показала сыну, как надо жать. Федярка нетерпеливо смотрел на ловкие руки матери и думал: чего же тут трудного, наклонись, заberi в горсть стебельки и знай срезай их. Хруп-хруп-хруп — и горстка готова.

— Смотри, не торопись, — передавая серп, наказывала Глафа, — не обрежься.

— Не обрежусь. Я же большой, знаю как.

Федярка повертел в руках серп с гладким, отполированным до блеска черенком, плюнул себе на ладошку, как это обычно делал дед, чтоб черенок крепче в руке держался. Потом, забрав левой рукой жестковатые спелые стебли ячменя, дернул правой — хрустнули стебельки под серпом, повисли усатыми колосьями. Распрямился довольнехонький Федярка и, осторожно положив горсть на землю, снова наклонился, снова хрустнули от серпа стебельки, и легко срезается, и спина не болит — напрасно бабка Мариша по ночам охает, жалуется на усталость.

С каждым разом Федярка старался захватить как можно больше стебельков. И вот новая горсточка набралась, Федярка дернул серпом — и, вскрикнув, схватился за руку.

— Я же говорила, не торопись, — подбежала Глафа. — Смотри-ка, чуть напрочь не отсадил, — и, оторвав от края старенькой косынки ленточку, принялась завязывать сыну палец, с которого капала густая алая кровь.

— Я не сам, — оправдываясь, морщился Федярка. — Это серп взял да и соскользнул.

— Ладно уж, до свадьбы далеко — заживет, — успокаивала его мать. — Нет вот сахару, натоlochь бы да присыпать рану. Теперь уж тебе не жатье, иди вон в лесок, собирай ягоды. Да смотри, далеко не забирайся, держись дороги.

К полудню Федярка уже насобирав полное блюдо голубики, сколько еще сам съел, — ягод-то здесь видимо-невидимо уродилось. И никто, видно, не знает...

Выйдя на поляну, Федярка услышал, как кто-то о сос-

ну постукивает. Подошел поближе к дереву: да ведь это дятел. Еще дед ему рассказывал о дятле. Где ты теперь, дедушка? Говорят, степахи силком забрали тебя к себе в армию... Да только правда ли, не пойдет он к ним.

— Браток, а браток, где тут дорога на Прислон? — услышал Федярка позади себя чей-то голос и оглянулся.

На лесной тропке стоял широкоплечий мужик в лаптях, а рубаше пестрядинной. И баба какая-то с ним...

— Дорога-то здесь, рядом, — ответил Федярка. — Только не пройти тут. Мостик-то дальше, с той руки, с правой...

— А ты, видать, все знаешь: и мостик, и ягоды где собирать. — Мужик подошел к Федярке и, взяв из блюда щепоть ягод, попробовал. — Ягоды у тебя сладкие, — похвалил он и, присев на мшистую кочку, принялся переобуваться.

— А вы откуда, дяденька?

— Издалека, сынок, — ответила за мужика женщина. — Хлебушка ищем, — и тряхнула пустым мешком. — Мучки, не знаешь ли, где раздобыть?

— На мену? Так тут на мену не променяют. Тут беляки...

— Да ну? — удивился мужик. — И много их?

— Много не много, а есть... На тройках в воскресенье наехали, с оружием.

— Перепугался, наверно?

— Еще бы не перепугаться... Ведь с пушками.

— Да ты и не видел, пушки-то?

— Как тебя не видел — видел. Когда мы прибежали к каменному дому, тройки те и подкатили. Все на тарантасах. А в коробах-то до верхов оружие. И пушка была тут... Еще потом, когда собрались мужики в волисполком, так она как трахнет в дядю Матвея! Наповал...

— Отчего бы так-то?

— А кто ее знает. Собрание шло, Журавель-то ихний, самый главный, выступал. А в другом углу — пушка... И вдруг разрядилась, тр-р-р — и в дядю Матвея.

— Ну, а сельсоветчики ваши что?

— В советчики-то, говорят, урядник затесался да Борька-межевик. Вышли на крыльцо, милости, мол, просим. А на другой день пушка-то возьми да и бабахни. Испугались все, кто куда побежал. Теперь никто к Журавлю и не идет — за смертью разве?

— А где у Журавля пушка-то?
— Которая?
— Не одна, что ль?
— Какое тебе одна. Одна-то на колокольне, чу...
Сторож Микешка-кривой обседлал ее. Другая на городище, в капусниках стоит... Да у школы вон, что строится, в срубах...

— По-твоему, получается — у них три пушки?
— Может, три, а может, и больше. Вот и боятся наши. Они-то красных ждут. Вон с той стороны и ждут, с верхов. Не оттуда идете? А может, видели уж их?

— Да где их увидишь, они по своим делам, а мы по своим. Семья-то у нас большая, а работников мало... Разорили большевики-то.

— Нет, врешь, они не зорят, — обиделся Федярка. — Это беляки зорят.

— Конечно, и от беляков достается, — примирительно согласился мужик и, поднявшись, снова спросил:

— Так муки-то не достать, думаешь?

— Теперь не достать.

37

Федярка проснулся от неожиданного гула. Вверху, над самой крышей, будто что-то разорвалось. Где-то в стороне, за амбарами, гроыхнуло. Потом раскатилось: та-та-та...

— Чего это, мам? — схватился Федярка за ее руку и вскочил.

— Это стреляют, сынок, лежи.

— Наши?

— Кто их разберет, — сердито ответила мать и схватила Федярку, который уже натягивал на себя штаны. — Куда ты?

На поветку тем временем поднялась бабушка и, увидев проснувшуюся дочь и внука, вполголоса зашептала:

— Слава те, господи, покатались ведь...

— Это которые, беляки-то?

— Они, внучек, они самые... Выхожу нынче к колодцу, слышу, гремит где-то. И я оно кругом, и небо без облачка. Выглянула из-за дверей и вижу: с берегу-то, от волисполкома, только земля шуршит. Смотрю, в одних

подштанниках скатываются с берегу. Вот как турнули наши, дай бог им здоровья да силы...

Не дослушав бабушку, Федярка стремглав сбежал с повети.

— Куда ты? — крикнула вдогонку Глафа.

— Я на минутку, мам.

Выбежав на крыльцо, Федярка оглянулся и бороздой — к черемухе. Мокрая от росы трава хлестала босые ноги. Ухватившись за сук, он ловко подтянулся и, перебирая цепкими руками, пополз на верхушку дерева. Раздвинув руками ветви, увидел на середине реки лодки. И вдруг скрип уключин заглушило с берега громкое, раскатистое «ура».

— Мам, наши! Ура-то наши кричат!

По реке уже плыли на тот берег не только лодки, но и бревна, и доски — за них судорожно цеплялись беляки, стремясь к противоположному берегу, а река упрямылась, относила их вниз все дальше и дальше.

Но тут подбежала к черемухе мать, сломила прут и, пригрозив отхлестать Федярку, заставила его спуститься. И хлестнула даже, однако Федярке нисколько не больно, зато интересно: он видел сам, как красные гнали на тот берег беляков. Беляки плывут, а река их относит. Карабкаются они, карабкаются — и на дно идут. Винтовки-то да гранаты на поясах у них тяжелые, должно, вниз тянут. Так им и надо...

Вскоре выстрелы смолкли, и Федярка снова выбежал на улицу. У волисполкома уже было полно людей. Побежать бы туда, да маманька не велит, опять грозитя, черемуховый прут подоткнула под притолоку.

— Я недалечко, мамань... до амбарчика.

— Ну, чего это я с тобой буду делать? — словно пожаловалась она и, подойдя к воротам, выглянула и сама.

Федярка понял — согласилась. Однако и без разрешения убежать нельзя.

— На минуточку толенько я, — попросил он, — только гляну...

— Знаю твою минуточку.

— Так ненадолочко, — и Федярка не вытерпел, подпрыгнул да так припустил, что мать только покачала головой.

Смотрит она, — батюшки, да что же это такое, какой-то мужик хватает Федярку — и на руки, прижимает к се-

бе. Уж не Егорша ли наш? Да нет... А вот второй-то, что рядом, чуть ли не он. Точно, он, братец Егор!

Глафа поправила на голове платок, одернула фартук и побежала в избу, чтоб сказать о госте. А гость уж тут как тут, на дворе. Худой, загорелый, с черными усами. Кожанка внакидку. И рука из-под кожанки выглядывает перевязана.

Глафа подбежала к двери, прижалась к груди, заплакала.

— Зачем плачешь, Глафа?

— О тятеньке-то ни слуху ни духу. И тебя вот ранило.

— Скоро, Глафа, все узнаем, о бате и о других,— и взглянул на свою подвязанную руку: — А это ничего, немножко царапнуло.

— И я палец тоже поранил, — сообщил Федярка. — Вчера поранил, а сегодня вон сбросил тряпку-то...

— Ты у нас, Федярка, герой, — похвалил дядя и взъерошил рукой его русые, выгоревшие на солнце волосы. — Вчера разведчики наши с тобой разговаривали. Матрос Сипягин... Ты здорово нам помог...

— Да когда он успел увидеть-то их? — удивилась Глафа.

— По ягоды когда ходил, — ответил Федярка. — Мужик-то, который в лаптях был, даже сегодня узнал меня.

— Вот и говорю, герой ты, Федяра.

— Не-е, это ты герой, дядя... Я видел, как беяки-то от вас удирали. Бабка говорит, в одних подштаниках с берега в лодки совались.

Ворвавшись в Прислон, Вятский батальон захватил два пулемета противника, сто пятьдесят винтовок, несколько тысяч патронов... Степановский Журавель, застигнутый врасплох, видимо, так спешил, что даже оставил на кровати под подушкой свой планшет, туго набитый штабными бумагами.

Пока председатель чрезвычайного штаба Иван Васильевич Попов рассматривал оставленные Журавлем бумаги, губвоенком Петр Симонов, командовавший батальоном, решил вызвать по проводу Нолинск, но тот не

отвечал. Симонов настойчиво крутил ручку громоздкого телефона, висевшего на стене.

— Попробуй связаться с другим городом, — посоветовал Попов, и, взглянув на только что вошедшего человека в морском бушлате, перехваченном пулеметной лентой, сказал:

— Так вот, товарищ Сипягин, вы крепко нам тут помогли, оставляем вас здесь с комендантом Монаховым... Возьмите в помощь человек двадцать бойцов.

— А как Уржум?

— До Уржума еще далеко. Пока освобождаем Нолинск и Медведок, а вы восстановите здесь Советскую власть. Потом и туда подоспеете. Видите, у власти здесь были сплошь чужаки. Дело тут не простое...

— Ну, что ж, — согласился Сипягин. — Хорошо бы еще придать нам «максимку»...

— «Максимка», товарищи, нам самим нужен, а вы постарайтесь все же третий пулеметик-то, о котором подсказывал мальчишка, разыскать.

— Есть отыскать пулемет!

— Что же касается людского состава, предлагаю в течение суток за счет крестьян устроить ваш отряд.

— Постараемся и это выполнить.

— Но главное, немедленно с Монаховым восстановите Советскую власть. Вы местные, знаете людей, и вас здесь знают. Вот так... Тотчас же приступайте к исполнению обязанностей.

— Есть приступить к исполнению обязанностей, — приложив руку к бескозырке, ответил Сипягин и, повернувшись, раскачивающейся походкой вышел.

Тем временем губвоенком поймал чей-то голос на проводе и, насторожившись, отдернул от уха трубку.

— Кажется, на самого Степанова напал, — полусе-потом сообщил он Попову и снова стал прислушиваться. — Вы спрашиваете о положении в Прислоне? — вдруг переспросил спокойно Симонов и так же спокойно ответил: — Положение великолепное, но у нас мало сил... Что, что? Вы говорите, к нам должен подойти снизу пароход с подкреплением? Так я вас понял? Когда же? Завтра? Не позднее, как послезавтра? Спасибо, — и, переглянувшись с Поповым, в свою очередь, заинтересовался: — А как дело обстоит у вас, господин Степанов?

Губвоенком Симонов услышал, как на другом конце провода обладатель басовитого голоса недовольно кашлянул и, видимо поняв свою оплошность, спохватился:

— А это кто говорит?

Губвоенком усмехнулся и, не ответив, повесил трубку.

— Пока Степанов не послал свое подкрепление, надо опередить его, — сказал Попов. — Может, нам вначале спуститься до Медведка?

— Сумеем ли мы взять эту пристань? — ответил вопросом на вопрос губвоенком. — У нас же мало сил.

— Сил, верно, у нас маловато, — согласился Попов и, подперев рукой голову, задумался. «А не зря ли мы поделили батальон? — спросил он сам себя, думая об отряде, направленном на Нолинск по тракту. — Не рассредоточили ли мы этим свои силы? Да, надо поспешить соединиться... Но прежде чем идти на Нолинск, может быть, и в самом деле спуститься до Медведка?» — и, протерев платком пенсне, принялся разглядывать лежавшую на столе карту.

— А если все же попробовать, товарищ военком, появиться там, где нас не ожидают? — и вдруг застенчиво усмехнулся: — Ведь у нас с вами теперь как-никак есть боевой опыт...

— Да, опыт теперь есть, — улыбнулся и Симонов. — Я даже не предполагал, что мы так быстро их выьем отсюда, — признался он. — С Медведком может быть сложнее дело. Мне думается, что у противника внизу должны быть пароходы. Однако так решать нельзя, надо разведать.

Под вечер, когда начали сгущаться сумерки, батальон погрузился на пароход и отбыл вниз по направлению на Медведок. Но прежде чем дойти до пристани, Попов и Симонов решили остановиться у Буйского перевала и выслать разведку. До перевоза рекой здесь недалеко, верст двадцать с небольшим, и пароход часам к десяти вечера уже был там.

— Ну, кто, товарищи, хочет в разведку? — поднявшись на палубу, спросил губвоенком.

— Разрешите, я пойду, — оказал сидевший в кругу бойцов Егор Ветлугин. — В этих местах у меня товарищ есть. Человек надежный, верный...

— Это неплохо, что знакомый есть, только вот как с рукой?

— Ничего, товарищ губвоенком, это же небольшая царапина.

— Ну, что ж, Ветлугин, забирай с собой двоих бойцов — и в путь, — распорядился Симонов. — К утру быть здесь.

Уходя в разведку, Егор снова вспомнил отца. Все эти дни его не покидала мысль: что случилось с ним? Отпустили ли его? А может, уже расстреляли... И Ксену вспомнил. Он никак не мог смириться с мыслью, что Ксена осталась там и служит Степанову... «Ведь как она говорила мне, клялась в верности — и вдруг... Нет, нет, не может быть... Надо спешить... Скорей на Медведок... а там — и Уржум...»

На рассвете разведка вернулась обратно.

Переодетый в крестьянский армяк Ветлугин вбежал по трапу на пароход — и сразу в салон, где находились Попов и Симонов.

— Дело серьезное, товарищи, — сказал Егор и сообщил, что Степанов концентрирует большие силы в Уржуме, под страхом расстрела проводит дополнительную мобилизацию крестьян, забирает лошадей, повозки. Ну, и кулаки все идут за ним... Вчера они даже собрали в Уржуме свой съезд. Эсер Чирков да Илья Кротовы призывали к повсеместному переделу земли...

— А как с оружием у них? — спросил Симонов.

— Оружия много, товарищ губвоенком, — ответил Ветлугин. — Три шестидюймовки откуда-то появились. Должно быть, подбросили из Казани. Кулачье много винтовок, обрезов по деревням собрало. Что же касается Медведка, то туда прибыло человек пятьдесят солдат.

— А что слышно о Нолинске?

— Над Нолинском дым большой видели мужики вчера. Будто бы военкомат горел...

— Судя по всему, и впрямь положение у нас не из блестящих, — слушая Ветлугина со все возрастающей тревогой, сказал Попов. — Однако как быть с Медведком?

— По-моему, не мешкая, надо плыть туда, — посоветовал Ветлугин. — Подойти и так же, как здесь, ударить...

— Ой, нет, товарищи! — возразил Симонов.

Широкое, с полными губами лицо военкома посерьезнело, глаза заблестели. Он достал из своего планшета карту с какими-то пометками и, раскинув ее на столе, сказал:

— Допустим, что мы возьмем Медведок. Но мы невольно окажемся в клещах противника, который в данный момент нас намного сильнее. Посмотрите, товарищи, что получается: с одной стороны — Уржум, с другой — Нолинск. Противник, таким образом, может блокировать и раздавить нас, как грецкий орех. Не имея быстроходных судов, мы не сможем даже отступить и погубим нашу кампанию. Это первый довод против того, чтобы сейчас двигаться на Медведок. И второй: нам, как вы и сами, Иван Васильевич, считаете, во что бы то ни стало надо удержать тракт, ведущий на Вятку...

— Обязательно надо удержаты!

— Вот видите...

— И каков ваш план? — спросил Попов, все больше проникаясь уважением к военкому, который был так же, как и он, молод.

— Мне думается, что мы должны предпринять следующий маневр. — Симонов пошарил широкой ладонью по карте и, отыскав на желто-зеленоватом поле ее чуть повыше Прислона маленький кружочек, пояснил: — Вот, Иван Васильевич, здесь Большие Ключи. Нам сейчас же надо подняться до этих Ключей, выгрузиться и, соединившись со вторым отрядом, всеми наличными силами, включая артиллерию, двигаться по проселочной дороге и с ходу ударить по Нолинску. Мы сохраним при этом за собой тракт, сумеем на какое-то время защитить Вятку и будем иметь возможность получить подкрепление отсюда.

— И потом уж — на Медведок? — спросил Попов.

— Если мы возьмем Нолинск и сохраним свои основные силы, то на Медведок должны двигаться немедленно, на плечах отступающего противника.

— Теперь вы, Петр Яковлевич, меня убедили, — согласился Попов. — Почему я вчера настаивал, чтобы сразу идти на Медведок?..

— Знаю, у вас тоже были свои доводы, — прервал его Симонов. — Медведок очень важен, это узел, где пересекаются водные и сухопутные пути, и оставлять его дальше в руках противника нельзя.

— Вопрос решен — двигаемся на Нолинск, — подытожил Попов и отдал распоряжение идти обратно и к полудню быть на месте высадки.

Когда губвоенком и Ветлугин вышли из салона, По-

пов достал бумагу и, склонившись над столом, начал составлять телеграмму, которую надлежало спешно отослать в губернский чрезвычайный военно-революционный штаб. Надо было подробно объяснить обстановку, чтобы оставшиеся в Вятке товарищи поняли, насколько серьезное здесь создалось положение.

«...Теперь положение таково: через полчаса выступаем в поход, — написал Попов и, откинув голову, беглым взглядом пробежал страницу. — Нолинск думаем взять, ибо противник артиллерию вряд ли подвез туда, — снова склонившись, продолжал писать он крупным размашистым почерком. — Взяв Нолинск, мы должны будем идти немедленно на Медведок, чтобы занять и этот опорный пункт, защищающий водный и сухой путь. Но состава живых сил у нас очень мало, посему вам самым категорическим образом заявляем: положение в высшей степени серьезное. У них пополнение при помощи мобилизации крестьян и офицеров прекрасное. Советская власть пала, и противник строит свою: в некоторых волостях уже забрали землю у крестьян и возвратили помещикам...»

Попов на минуту задумался, перечитал написанное, вставил строчку о том, как относятся здесь крестьяне к белогвардейцам, и, поднявшись со стула, отдернул занавеску. За бортом по-прежнему медленно двигался навстречу обрывистый берег.

«Когда все же прибудет к нам пополнение? Дня через три-четыре, не раньше... Черт возьми, как все же медленно, как медленно...»

Он вспомнил, еще совсем недавно один из членов губисполкома настойчиво уверял, что восстание продовольственников не найдет поддержки среди крестьян и вряд ли степановцы пойдут дальше Уржума: восстание, как он выразился, «задохнется в своем эмбрионе». Вспомнив это, Попов подумал с досадой: «Все ли наши товарищи в Вятке представляют себе в полной мере опасность? Мы ждем подкрепления, а посланный на помощь броневик где-то застрял в пути... Положение с каждым днем осложняется...»

Попов резко повернулся к столу, и снова по белому листу бумаги побежали тревожные строчки:

«...Вы обязаны немедленно, как только дадим знать, что мы взяли Нолинск, отправить нам самые лучшие си-

лы со всем снаряжением: пулеметы, артиллерию, машины грузовые и лошадей. С другой стороны, оставив в Котельнице из отряда Кутузова 300 человек для охраны города, остальные триста немедленно, ибо долго мы не продержимся, двинуть на Нолинск по тракту, не ожидая нашего сообщения».

Он приложил к губам кончик карандаша, подумал минуту-две и приписал:

«...Мы вас умоляем и приказываем сделать все указанное немедленно,— и подчеркнул последние слова жирной чертой.— Думая, что вы теперь, поняв весь ужас положения Республики, примете все меры, мы ждем подмоги и помощи и приветствуем вас и вашу армию, которая немедленно по получении сего выступит к нам на помощь».

Кинув карандаш на стол и сняв очки с высокой дужкой, Попов снова подошел к окну.

Пароход глухо хлопал колесами о воду. За окном надоедливо тянулась обрывистая кромка угрюмого рыжего берега. «Как медленно все же мы плывем, как медленно»,— подумал он снова с нетерпением и, опустившись в кресло, стоявшее в углу, почувствовал, как он устал, как хочется спать,— он не смыкал глаз уже третьи сутки.

39

После степановского визита в тюрьму Дрелевского перевели в одиночную камеру, узкую, как каменная нора, сырую и грязную. У обшарпанной стены стоял топчан из железных прутьев, намертво впаянный в цементный пол.

Два раза в день через оконце в дверях подавали ему — пустой отвар, именуемый супом, да кусочек хлеба величиной со спичечный коробок — и все. Правда, воды разрешали пить вдоволь, она стояла в коридоре в баке, теплая и застойная, отдающая больной плесенью.

Ни на один час Дрелевского не покидала мысль о побеге. Он не раз осмотрел решетку, ощупал руками ржавые прутья, исследовал пол... Когда убедился, что вырваться из камеры почти невозможно, начал присматриваться к надзирателям, круглосуточно дежурившим в

коридоре. Некоторые из них, реквизируя у мужиков самогонку, частенько находились под хмельком.

Однажды во время прогулки Дрелевский взглянул на коридорного, и ему показалось, что тот в ответ кивнул головой. А вечером в оконце, предназначенное для раздачи пищи, этот низкорослый парень сунул осьминку табаку.

— Кури, браток,— и тут же, повысив голос, сердито прикрикнул:— Не нарушать порядка!— и захлопнул ставень.

На следующий день в камеру зашел начальник тюрьмы: и, остановившись у порога, спросил:

— Ну, как, не надумал еще?

— Что «не надумал»?

— Как ты не понимаешь? Отрекись от коммунистов, дай знать публично об этом в нашем бюллетене — и ты свободен.

Дрелевский резко повернулся и запел:

Соловей мой, соловей мой,
Прилетай-ка в Видземел..

— Прекратить песню!— багровея, крикнул начальник и выскочил из камеры.

В тот день Дрелевскому не принесли обед. Это было наказание,— так объяснил себе Дрелевский. Когда встал на дежурство низкорослый с угреватым лицом парень, у Дрелевского появилось желание перемолвиться с ним. Но парень и сам, видимо, ждал этого, он то и дело заглядывал в глазок, потом, улучив момент, открыл ставенек в окошечке и, кинув бумажку, шепнул:

— Проглоти!— и опять крикнул:— Не нарушать порядка!

Дрелевский подобрал бумажный шарик величиной с горошину, расправил его.

«Выведу, беги к воротам — там свои»,— прочитал он и почувствовал, как его забила нервная дрожь.

«Уж не провокация ли?— порывисто ходя по камере, вдруг почудилось ему.— Не хотят ли совсем отделаться от меня?»

Он снова пробежал глазами полустершиеся слова, написанные карандашом, потом скатад бумажку в шарик и бросил его в рот.

Вечером зазвенели тюремные ключи, открылась дверь, и в камеру втокнули седобородого старика. Да так втокнули, что тот от дверей пролетел вдоль камеры и чуть не стукнулся о стенку головой. Осмотревшись при тусклом свете керосиновой лампочки, старик, однако, обрадовался:

— Сказали, что в одиночку, а тут, смотри-ка, люди есть...

— Хоромы не без жильцов,— все еще не расставаясь с мыслью о записке, ответил Дрелевский и, приподнявшись, почувствовал, как от голода у него закружилась голова.

— От мышей-то как оберегаешься?— первым делом спросил старик.— В общих-то камерах, буржуи они экие, так по людям и бегают. У одного горемыки, сказывали, ночью чуть ухо не отгрызли,— и, помолчав, спросил:— Вас-то здесь за какие провинки?

— Давно, говорят, не отдыхал, вот и пригласили в гости на недельку,— ответил Дрелевский.

— Это понятно,— согласился старик.— Они теперь вашего брата вкруговую толкают, будто снопы на овин,— и, ухватившись руками за голову с седеющими нечесаными волосами, глухо простонал:— А дома-то... Знали бы вы, дома-то, как они, буржуи, обошлись со мной,— и, присев на корточки, спросил:— Слушай, сынок, ты грамотный, вижу, объясни мне, какую жизнь хотят уготовать нам эти степановцы?

— А ты сам прикинь, какой будет жизнь, когда у тебя отнимут землю, а у рабочего — фабрики, заводы...

— Так это что ж получается? Вроде тот же хомут, да только супонью вверх?— спросил старик и в раздумье добавил:— Не-е-т, буржуй ты экий, на это я никак не согласный.

— А тебя и не спросят.

— Как не спросят, а еще революционеры, мол, мы, социалисты...

— Это у них вывеска такая.

— В буржуя их, в душу тогда, коли с такой вывеской они к нам,— и, потерев сполстившуюся бороду, опять спросил:— Дак как же делу-то теперь быть?

— Бороться надо, отец.

— Как же бороться, коли руки веревкой скручены? Подмога-то придет ли?

— Скоро придет, папаша.

— Слава те, господи,— старик даже перекрестился.— Думаешь, с которой стороны жаюк-то им уготован?

— Со всех сторон.

— Да ну?! — просиял старик.— По такому случаю покурить бы не лишне...

Дрелевский молча пошарил в кармане и, насобирав немного табачных крошек, протянул старику:

— На вот, затянись — и спать. Ложись рядом — теплее...

— Спасибо, товарищ... Морячок, что ль?

— Он самый.

— По рубахе вижу. Не с Балтия?

— Оттуда.

Дрелевский подполз к стене и потянулся рукой к маленькому оконцу под потолком.

— Тоскуешь по воздуху-то? — укладываясь в углу, спросил старик.— Я тоже тоскую. Воздух-то у нас, в Ржаном Полое, звон какой вкусный да сытный. Травами пахнет медовыми да хлебушком, да у меня в огороде хмелем душистым.

Слушая старика, Дрелевский невольно вспомнил свое судно, и вдруг его словно опахнул свежий, упругий морской воздух, слегка подсоленный. Бывало, выйдешь в море — ширь-то какая кругом, душа радуется!

Веря в то, что он все равно еще увидит и море, и родную и милую Латвию, Дрелевский вполголоса запел свою любимую:

Соловей мой, соловей мой,
Прилетай-ка в Видземе...
Сядь на яблонь, спой мне песню
О высокой Рижской башне.
Если петь ты не захочешь,
Бойся: ястреб заклюет!..

— Верно, сынок, ястреб-то, стервец когтистый, всю душу истребав нашу,— согласился старик и принялся укладываться на пол.

— Звать-то тебя как, папаша?

— Прежде бы вроде Евлантием, а теперь вот, видишь, следственный... А за что следствие — неизвестно.

Слушая Евлаху, Дрелевский придвинулся к нему и, подложив под голову большие ладони, задумался.

«Сам я виноват, сам,— в который уже раз упрекнул он себя.— Недооценил противника. Думал — тут моряки, свои братишки... С ними всегда можно найти общий язык. А о мужиках и не думал,— с детства я знал мужика... Чего же его бояться было? И предупреждали ведь... И в губкоме говорили, и Маша моя просила, чтоб остерегался, и Вихарев... А я только отшучивался: не таких, мол, брали... А тут, смотри, дело-то не шуткой обернулось. Краснощекий-то... Как он приметил меня? Не у мальчонки ли выведал что-нибудь? Нет, непростительно это мне,— сам, черт возьми, виноват. Революция требует бдительности... бдительности и еще раз бдительности...»

И вдруг еле слышный голос коридорного:

— Дрелевский, на выход!

Дрелевский вскочил, пригладил рукой волосы, шагнул за порог камеры в длинный, слабо освещенный коридор.

Коридорный быстро набросил на его плечи чей-то мундир, толкнул к выходу. Вот он спустился вниз. В привратнике тихо. Часовой, опустив взлохмаченную голову на стол, спал. У ног валялась пустая бутылка. Тем временем коридорный открыл дверь, ведущую из привратника во двор, шепнул Дрелевскому: «Беги!»

Дрелевский, окинув глазами двор, бросился вдоль кирпичной стены к массивным воротам.

«Тихо, тихо...» — прошептал было часовой и только собиравшись открыть ворота, как вдруг раздался сигнальный звонок. В дверях неожиданно появился начальник тюрьмы в сопровождении вооруженных солдат из охраны.

— Здравия желаю, господин начальник! — вытянувшись, козырнул растерявшийся Дрелевский.

— Здравия желаю, — машинально ответил тот и вдруг спохватился: — Постой, кто ты? — и, загородив ему проход, отшатнулся. — Держи его! Держи!!!

Еще дымился обгоревший остов военкомата, а в доме Вьершовых собрались нолинские купцы поговорить о том, кому же теперь надлежитправлять в городе всеми де-

лами. Будто бы Степанов все управление возложил пока на своего заместителя Зверева, но Зверев был ранен и лежал в больнице. А тут не дремали и святые отцы, они уже давненько намеревались протолкнуть к власти поповского сына — офицера Амфиохия Илюминарского, весельчака и страстного игрока в карты. Купечество же возражало и желало, чтобы управлял городскими делами кто-нибудь из своих людей, хотя бы, на худой конец, тот же Сафаней Вьершов.

Отец Сафаней Ипат Вьершов, дородный, чернобородый старик-красавец, сегодня был особенно оживлен, он то и дело поднимал стакан с самогоном и кричал здравицу отцам города. Когда гости заговорили о Звереве, старик накрыл голоса гостей своим не ждущим возражения баоком:

— А что он нам? Офицер этот не наш, а пришлый. Им бы, пришлым, хлеб увезти, и только. Оголодят мужика, тогда кто товары наши будет покупать?

— А может, попы на престол взойдут, Ипат Фокенч?

— Чего они такого дельного сделали для нашего города? — возразил старик. — Ударили в колокола — и все тут. Надо становить к власти человека своего роду-племени. Кто победу одержал над комиссарами? Купецкие сыновья. Кто подкатил бочки с керосином? Опять купцы. Купцы и должны властвовать. Это простонародью все едино, кто у власти будет. Ему бы, простонародью этому, только стянуть что-нибудь. Вон Прошка Морало — пустил Вихарева в Вою на самую глуботину с камнем на шее, и все. Ходит теперь в сапогах да похваляется: вчера, мол, комиссар носил, сегодня он, Прошка-звонарь, щеголяет. Ему нет дела до власти, ему, Моралу, сапоги только подавай смазные. Так говорю или не так? Сафаней, ты чего глазами хлопаешь, не спать пришли — дело делать.

— Так чего же спорить, батя, — очнулся захмелевший сын. — Зверев, говорят, уж при смерти. Как-никак грудь прострелена. У Амфиохия, я знаю его, нет для этого дела настойчивой распорядительности в характере. Тут, что ни говори, придется нам самим браться за дело. Я так думаю: завтра же я выставлю свою фамилию на обозрение, как это делается во всех прочих культурных государствах...

— Ну, и что же?— оборвав сына, насупился отец.

— Голосуюсь, значит, по всем правилам.

— Да разве эдак, Сафаней, надо?— взъелся Вьершов-старший.— Не голосоваться, а руками брать надо живо власть, которую добыли. А добыли ее, повторяю, мы, купцы...

— Верно, Потапыч, говоришь, мы добывали,— про-
слонявил шупленький старичок в поддевке.— Ежели бу-
дет надобность в керосине, еще нальем. Против кого угод-
но бочки выкатим. Пользуйтесь, сограждане, нашей доб-
родетелью для справедливости...

— Именно для справедливости, дас-с,— поддержал старичок.

Гости засиделись у Вьершовых и разошлись только на рассвете. Довольный и возбужденный хозяин дома проводил подвыпивших отцов города до ворот и, захлопнув за ними тяжелые двери, обитые листовым железом, повалился в прохладные пуховики. Но самогонка разгорячила старшего Вьершова, ему стало не по себе. Он распахнул окно и только хотел лечь, как откуда-то до-
неслись отдаленные выстрелы. Старик перекрестился и все же прилег. Полежав минут с десяток, он встал и, не одеваясь, вышел в сени. Теперь уже были слышны не только выстрелы, но где-то, должно на Пугинской го-
ре, гроыхнула пушка, и снаряд, свистя, пролетел, каза-
лось, над самой крышей.

У Вьершова сразу выбило хмель из головы. Он выгля-
нул за ворота и похолодел: по улице в беспорядке уже бежали военные. Какой-то офицер с косо висевшим на плече погоном бросил:

— Держи, батя, подштанники, а то красные тебе на-
кладут крапивы,— и, подстегнув коня, пустился обгонять
убегавших солдат.

Вьершов метнулся в сени, опрометью вбежал в гор-
ницу.

— Сафаней, леший, проспали!— прохрипел он.— Кра-
сные в городе! Да не «ту» — тебе говорят! Натягивай га-
лифе — и с глаз долой!

В доме уже был полный переполох. Старуха и две
дочери хватали белье, одежду, хлеб, совали в руки то
самому старику, то Сафанею, те в сутолоке не
могли разобраться, что следует взять с собой, и бестол-
ково кидались из угла в угол. Услышав где-то совсем

близко разрывы снарядов, старик не своим языком пролепетал:

— Пьехали!— и, толкнув дверь, выскочил в сени.

За ним бросился и Сафаней, на лестнице обогнал отца и, распахнув ворота каретника, схватил под уздцы лошадь.

На улице уже не было солдат,—они скрылись за поворотом. По булыжной мостовой спешили купцы и лабазники, попы в черных рясах, мещане... Ехали кто как мог — и в повозках, и верхом. Многие шли пешком, с узлами в руках. Какая-то одинокая дряхлая старуха с болонкой тряслась в тарантасе и, всхлипывая, приговаривала одно и то же, как заклинание:

— Погубили, погубили...

Обгоняя движущуюся пеструю вереницу,—люди, повозки, лошади — все теперь смешалось в один гремевший поток,—Сафаней Вьершов оглянулся, бросил тревожный взгляд на военный комиссариат — обгоревший остов здания все еще дымился. Яростно хлестнув лошадь, Сафаней галопом полетел догонять поднимавшийся в гору степановский отряд, который был для него теперь не только опорой и надеждой, но и пристанищем.

41

Егор Ветлугин подъехал к разрушенному огнем военкомату в тот момент, когда из все еще дымившегося здания выносили трупы погибших и клали их на землю около обгоревших деревьев.

В измазанной сажей и копотью одежде они лежали в ряд; кожа на лицах, на руках вздулась, потрескалась, кое у кого обгорели волосы. Никто толком не знал, сколько тут погибло, но из подвала уже было вынесено человек пятнадцать.

Сдернув с головы фуражку, Ветлугин окинул их скорбным взглядом и увидел тело коммуниста Мурина. Мурин лежал с откинутой в сторону головой, от рта по подбородку запеклась кровяная струйка. Тем временем бойцы принесли на носилках еще одного человека.

— Там женщину нашли,—сказал один из них и опустил носилки.

На носилках лежал подросток. Ему было лет двенадцать-пятнадцать, не больше. Белобрысый, веснушчатый, он лежал скорчившись, в неловкой позе.

— Мальчонка-то откуда?

— Вестовой, говорят, из деревни. Да распрямите его, человек же...

— Не разогнуть теперь уж...

А из темного проема здания снова показались бойцы с носилками в руках. Передний просил людей, чтобы дали дорогу.

— Батюшки!— всплеснув руками, вскрикнула какая-то старуха.— Да ведь совсем молодехонька!

Ветлугин издали взглянул на женщину, лежавшую на носилках, на ее вспухшие руки, сложенные на груди. Луч солнца, вырвавшийся из-за тучи, коснулся, их и вдруг Егор заметил, как на руке женщины блеснуло колечко.

Он соскочил с лошади, расталкивая столпившихся людей, протиснулся наперед, взглянул на женщину — и ужаснулся.

— Ксенушка, ужели ты?— чуть слышно прошептал он и опустился тут же, возле носилок, на колено.— Как же ты так, как же так?..

— Муж убивается, что ли?— спросил из любопытства кто-то.

— Не знаю... Дальняя, говорят.

— За смертонькой-то куда залетела, касатонька.

— И у нее, гляди-кось, кровиночка у рта...

Егор достал из кармана белую тряпочку, оставшуюся от бинта, и осторожно вытер струйку крови.

— Прости, Ксена,—чуть слышно шепнул он.— Прости, что плохо тогда подумал о тебе...

— Товарищи, внимание! — прогудел возле будки чей-то мужской голос.

Волновавшаяся площадь стала стихать.

Егор, приподняв голову, увидел подъехавшего в седле Ивана Васильевича Попова.

— Товарищи! — приподняв руку, сказал тот. — Похороны наших дорогих братьев, погибших за революцию, состоятся завтра в двенадцать часов на этой умытой кровью трудового народа, отныне называемой Красной, революционной площади. Не забывайте, товарищи, хотя враг в панике и отступил, но он еще силен в своей зве-

риной злобе. Удесятеримте, товарищи, наши силы! Да здравствует революция!

— Да здравствует! — раскатилось окрест, и десятки винтовок поднялись вверх, блеснув на солнце примкнутыми штыками.

— Товарищи бойцы второго Вятского батальона, — снова услышал Егор голос Попова. — Товарищи красноармейцы, доблестные сыны трудового народа! Мы с вами освободили от врагов Прислон и Нолинск. Вы видите, как степановцы и местная буржуазия расправляются с нашими товарищами. Враг засел в Уржуме, Медведке, Аркуле, Русском Туреке, Малмыже... Он еще собирает силы... Но теперь уже ничего не может удержать наш наступательный порыв! Так поклянемтесь же, товарищи, перед павшими в верности революции! Ни минуты промедления! Вперед, товарищи, на освобождение Уржума!

— Вперед! — прокатилось по площади.

Ветлугин сквозь слезы, застилавшие глаза, увидел стоявшего рядом командира роты. Ничего не сказав ему, он снова взял вспухшую руку Ксены и, припав к ней губами, прошептал:

— Прости, голубка...

Потом поднялся, тяжело опустился в седло и, стиснув до боли в суставах рукоять револьвера, покинул площадь.

Передовая колонна батальона перевалила уже по мосту через Вею и гуськом стала подниматься в гору по дороге, ведущей на Медведок.

Ветлугин, обгоняя других, поскакал на коне в голову колонны.

— Товарищ командир! — поравнявшись с Симоновым, крикнул он. — Чего же мы тихо двигаемся? Давайте же, товарищ командир, поспешим, чтоб ни один гад не ушел от нас!

— Не уйдет! — ответил твердо губвоенком и, придерживая коня, сказал: — А знаешь что, рядом в деревне, верстах в двух отсюда, сходка, говорят, собралась. Не захватить ли к ним?

— А почему бы и нет?

— Тогда забирай, Ветлугин, двух-трех человек — и туда. Через час привал — нагонишь нас.

Не прошло и полчаса, как Ветлугин с тремя бойцами

уже был в деревне. На площади, у церкви, толпились мужики с котомками, кое у кого за плечами висели ружья.

— Что у вас за сбор? — подъехав, спросил Ветлугин.

— Да агитатор тут, — ответил низенький безбровый мужичок. — Записывает в мобилизацию на Медведок...

— А ну, посторонись! — крикнул Ветлугин и, выхватив револьвер, въехал в гущу толпы и остановился у стола, за которым сидел человек с маленькими, мышиными глазками.

— Ты для кого мобилизуешь, для белых? — спросил он и, не дожидаясь ответа, скомандовал: — А ну, руки вверх, а то сейчас тебя в распыл к господу богу отправлю!

— Так велено же, — поднимая руки, ответил тот.

— Никаких «велено»! За мной лесом идет могучая Красная Армия. Беляков — долой! — и, заметив одобрение на лицах мужиков, добавил: — А теперь ближе к делу. Кто с нами в Армию Красную, тот становись по левую руку. А кто белым хочет кланяться, оставайся на месте.

Толпа заволновалась.

— С белыми нам не по пути! — крикнул кто-то из мужиков.

— Чего тогда стоим?

И вдруг, словно по уговору, толпа качнулась влево, к церкви. На опустевшей площади остался лишь стол, накрытый скатертью, да человек с мышиными глазками; лицо его стало бледнее самой скатерти. Дрожащими пальцами он начал сгребать в одну кучу бумаги.

— А кто тебе разрешил руки опустить? — строго спросил Ветлугин и, когда тот снова поднял их, сказал: — Ну, а теперь докладывай, белый агитатор, кто ты такой? Не сын, случайно, того Небогатикова, который керосин подливал? — и кивнул головой бойцам. — А ну, взять его со всеми потрохами!

Забрав бумаги со стола, Ветлугин подошел к мужикам.

— Оружие у всех есть?

— Есть частично, товарищ командир.

— Тогда забирайте его с собой, товарищи, и в наступление! В последний бой! В решительный!

Избитого до полусознания Дрелевского бросили в карцер. Он лежал на грязном, холодном полу в разорванной на груди тельняшке и чуть слышно стонал. Болели руки, ноги, по щеке сочилась липкая кровь.

Под утро Дрелевский немного задремал. Но уснуть не удалось: вскоре за дверью камеры загремели ключи, щелкнул железисто запор.

— Поднимайся! — скомандовал глухим голосом начальник тюрьмы. — На прогулку, живо!

— Рано ведь? — ничего не понимая, отозвался старик.

— Раннего мороз не берет, — ответил начальник. — Живей поворачивайся! — и толкнул с трудом поднимавшегося с полу Дрелевского сапогом.

На тюремный двор, кроме Дрелевского, вывели Евлаху да еще одного, молодого с окровавленным лицом парня, — это был нолинский комиссар Ефим Карелов. Несмотря на то что он был болен, его, как и Дрелевского, тоже избили, и он еле держался на ногах.

— Ага, наш нолинский, — бросив взгляд на Карелова, усмехнулся Сафаней Вьершов, который сам вызвался проследить за исполнением приказа Степанова.

К Дрелевскому подошел начальник тюрьмы, дохнув водочным перегаром и чесноком, сказал:

— Ну-к, что ж, комиссар, как видишь, бежать из моей горницы не так-то просто, а? Только себе неудовольствие да другим хлопоты...

Он передернул пышными усами.

— Все хлопоты у вас еще впереди, — ответил спокойно Дрелевский. — У вас же все проиграно... Вы обречены... Вы не живете, а существуете... Вы уже мертвец! Живой мертвец! Солдаты, что ж вы стоите?!

— Намордник ему! — крикнул Вьершов и, подскочив к Дрелевскому, заломил ему назад руки.

Начальник тюрьмы подбежал с веревкой, солдаты принялись помогать ему.

Веревка была длинная. Одним концом связали руки Дрелевскому, другим — Карелову.

— Чего же это такое делаете-то? — спросил Евлаха. — Меня-то зачем?

— За сына. Выдай своего сынка-комиссара — освободим! Потому заложник ты, — пояснил начальник и толкнул старика к выходу.

— Отцы сынов своих не продают! — повернувшись, резко бросил Евлаха.

— Еще скажешь, старый хрыч, — стрелять будем, — пригрозил Сафаней Вьершов.

Вдвоятером они вышли за ворота: трое безоружных, пять солдат с винтовками да Сафаней Вьершов.

Над острыми макушками деревьев уже занималась заря. В бледно-розовый цвет красила она край голубоватого неба, все больше и больше подбавляя в него желто-огнистого блеска, щедро отдаваемого коротким уходящим летом. Но вот нижняя кромка неба вдруг загорелась, и кровавая полоска побежала по верхушкам деревьев, ослепительно брызнув на землю животворным теплом.

Евлаха повел глазами поверх сплюсненной фуражки Сафанея, вышагивавшего вперед всех. От дороги к лесу теснились ржаные суслоны. Верхушки их походили на мужицкие растрепанные картузы. Освещенные солнцем суслоны, казалось, совсем придвинулись к дороге. Евлаха, тоскливо вздохнув, словно сам себе сказал:

— Табачку бы, а-а?

Никто не ответил.

Пройдя несколько шагов, он снова заговорил:

— Вот вы спросите, кто я? Верно говорю, не коммунист я, не беспартийный, — я мужик, крестьянин, — и, взглянув на солдатика, идущего рядом в кургузой шинельке продолжил: — И ведь ты, хоть и с ружьем, а тож небось из крестьян? Так дай же перед смертью, буржуй ты экий,дохнуть хоть разок самосадным дымком...

— Не надо унижаться, отец, — глотая кровавую слюну, сказал Дрелевский.

— Не разговаривать! — прикрикнул Сафаней Вьершов и, остановившись, косо посмотрел на Дрелевского.

— Ну, дай же курнуть, господин офицер, — и Евлаха протянул руку, словно готовясь принять табак.

— Солдаты, бейте офицера! — пытаясь воспользоваться последней возможностью к побегу, крикнул Дрелевский и в тот же миг увидел, как старик взмахнул кулаком и, опрокинув Вьершова в канаву, бросился между суслонов к лесу.

Рванулись было в сторону сцепленные друг с другом веревкой Дрелевский и Карелов, но их тут же смяли солдаты...

Где взялись у Евлахи силы, такая, не по возрасту, прыть — он и сам не мог понять. Свалив Вьершова с ног, в один миг он перемахнул узкий закраек поля. Когда бежал, слышал, как из-за суслонов раздались два или три выстрела, видно, били по нему, но пули, к счастью, пролетели мимо. Еле переводя дыхание, он добежал до лесу и, хватая раскрытым ртом пахнущий багульником пьянящий воздух, перекрестился:

«Слава те богу — теперь дома...»

Он опустился на мокрую от росы землю, поросшую кукушкиным льном, и беззвучно заплакал. Это были скупые мужицкие слезы, вызванные и неожиданным счастьем, что наконец-то он ушел от смерти к своим крестьянским делам, и сознанием того, что там, по ту сторону суслонов, может, теперь погибают комиссары, его товарищи по тюрьме. Ржанные суслоны, выстроившиеся в ряд, как бы сейчас были той границей, которая разделяла жизнь и смерть, добро и зло. Кто из них победит, Евлаха еще не представлял толком. Но он после этих двух недель твердо знал, на чьей стороне он должен быть.

Пролежав с полчаса, Евлаха поднялся и пошел лесом, петляя и спотыкаясь о корни деревьев, переползая через валежник, проваливаясь в лесные мочажины, дурманяще пахнущие переспелыми травами и прелой гнилью опадающей листвы. Он чувствовал, как ослаб за эти недели, как не слушались все еще дрожавшие ноги, но надо было идти.

Часа через три Евлаха вышел на опушку леса и увидел деревеньку, а за ней — луг, уставленный стогами сена. Деревенька развернулась к лесу задом; тут были

хлевы, погребки, поленицы дров — все немудреное мужицкое хозяйство, которое обычно не выносилось на красную сторону деревни.

«Идти или не идти? Может, переждать здесь денек и уж потом обнародоваться?» — оглядывая деревеньку, подумал Евлаха.

Увидев бегающих на улице ребятишек, Евлаха решил, что беляков тут не должно быть. «Тогда чего же мне и страшиться, — подумал он. — Зайду вон с краю и разузнаю все, как есть; мужик мужика не выдаст».

Стараясь не скрипнуть еловыми, с облупившейся корой жердочками, он перелез через изгородь и тихонько направился к крайнему, небольшому и старенькому, с покосившимся крылечком, дому. Подойдя, заглянул в приоткрытое окно.

— Поесть, хозяйюшка, нет ли чего? — попросил он.

— Откуда ты, болезный?

— Из тюрьмы.

— Бог подаст, — с испугом отшатнулась от окна старуха и захлопнула створку.

Сходяв за перегородку, она, однако, вернулась и, приоткрыв окно, протянула кусок хлеба. И тут же, не утерпев, спросила из бабьего любопытства:

— За какие грехи-то сидел аль так?

— Да и грехов-то не было. Не дальний я, из Полоя, степановцы схватили.

— Ай-яй-яй... Свояка мово тоже они было заграба-стали, — потеплев, участливо сказала старуха. — Заходи уж, накормлю, чем бог припас, небось нагрязя там всухомятку-то...

Полная и медлительная старуха первым долгом поставила с божницы берестяной сапожок с солью, потом спустилась в подполье, вынесла оттуда кринку с молоком и на деревянной тарелке ватрушки.

— Из свежей мучки, вижу? — отломив кусочек, спросил Евлаха.

— Пришлось нынь... Запасец-то был, да сплыл, — ответила старуха и, выглянув в окно, всплеснула руками: — Батюшки-светы, на лошадях-то сколь, — уже с тревогой: — Не беляки ли? Одначе с этой стороны не должны бы... а?

— А может, наши? — и, сунув за пазуху хлеб, Евлаха выскочил на крыльцо.

Всадники уже вступили в деревню. Один из них, на рыжем, приморенном за дорогу жеребце, крикнул с дороги:

— Белых тут не видел, батя?

— Вроде как, буржуй, не видать,— ответил Евлаха.

— Да ты сам-то кто? — услышав знакомое словцо, удивился всадник и, свернув с дороги, подъехал к дому.

— Сынок, ты это, что ли? — узнав его по голосу и не веря слезившимся глазам, воскликнул Евлаха. — Неужели жив? — и, подбежав к нему, протянул руки. — Сынок... от смерти ведь я ушел. Жалко комиссаров-то...

— Каких комиссаров? — прижимая к себе лохматую голову отца, спросил Егор.

— В лесу-то кои... за Теребилкой нынче расстрелянные... Чудом я-то убежал. Где и силы взялись — не знаю...

Подъехавшие красноармейцы переглянулись, и поняли друг друга без слов: забирай с собой папашу, пусть укажет место, где расстреляли тех красных комиссаров.

Егор Ветлугин, подхватив отца под мышку, усадил его к себе в седло, сказал:

— Ты место нам только укажи, тятя.

— Место-то? Точно ведь не знаю... Я ведь, говорю, сбежал раньше времени. Далеко их, думаю, от суслонов не увели... Нет, тут же рядом, где-нибудь в лесу, и прикончили,— держась рукой за луку седла, рассказывал Евлаха. — Комиссар-то — тот, который был со мной в камере, избитый весь... Слабый шибко, ему не убежать. С Балтия, сказывался... По морю все тоску свою изливал.

— Так это кто ж, не Дрелевский?

— Фамиль не знаю. Помню одно, товарищ-то, который помоложе, Антонычем величал.

— Юрий Антонович? Так это же Дрелевский! — воскликнул Егор. — А ну, ребята, быстро...

Через полчаса красноармейцы уже были в поле на том месте, откуда бежал Евлаха. Старик слез с лошади и, указывая на ржаные суслоны, сказал:

— Они меня, голубчики, и прикрыли от пули... А комиссаров, должно быть, вон там,— и он махнул рукой

в сторону лесной гривки. — Далеко не поведут, не-ет, с краю смотреть надо, ребята, с краю...

Евлаха был прав — искать долго не пришлось.

Как только въехали в лесок, у самой почти дороги увидели большую яму, наспех, не вровень с краями, заброшенную землей. Земля была совсем свежая, неподсохшая.

— Здесь, здесь, — утвердительно сказал Евлаха и, осторожно опустившись на колени, начал разгребать руками влажный песок, отдающий сырым холодком.

Взглянув на сына, который тут же начал отбрасывать саперной лопаткой землю, Евлаха посоветовал:

— Ты только осторожней. Ведь тут люди же, не покалечить бы...

Разгребая, он почувствовал ладонью что-то твердое, слегка потянул — из земли проглянула рука... и часы на запястье...

— Вон он, тот комиссар, — прошептал Евлаха и осторожно смахнул с часов землю; секундная стрелка беззвучно двигалась по маленькому кружочку циферблата — часы еще шли, деловито отсчитывая минуту за минутой...

44

Степановцы, не приняв боя, бежали из Уржума. Они бежали так поспешно, что даже не успели расправиться со всеми заложниками, томившимися в тюрьмах, хотя к этому готовились. Убив двух комиссаров — Дрелевского и Карелова, они хотели ночью расстрелять еще человек пятьдесят. Но обстановка неожиданно изменилась: вятский батальон Попова и Симонова, после Нолинска, взял Медведок и, не задерживаясь, пошел на Уржум на помощь теребиловской дружине Сормаха. Не надеясь на свои силы, Степанов быстро собрался и потек по Казанскому тракту в сторону Малмыжа.

Разномастный, поспешно отступающий полк растянулся на несколько верст. Впереди, покачиваясь в седлах, ехали всадники в лохматых белых папахах, с винтовками за спинами и шашками на боку. За верховыми двигались в пешем строю солдаты. На телегах везли оружие, ящики с патронами, кули с продовольствием, даже прихватили две железные бочки со спиртом, привлекав-

шие общее внимание солдат. А дальше, следом за военными, тянулся огромный пестрый хвост беженцев: ехали в кибитках, на рессорных повозках, на тарантасах, на дрожках, просто верхом — это увязалась за отступающими степановцами уржумская и нолинская «знать» — купцы, лавочники, чиновники...

В середине колонны, сразу же за конницей, ехал сам Степанов, мрачный и неразговорчивый. Навалившись на край тарантаса, он тупо смотрел на рыжую репицу кобылицы, бежавшей в пристяжке. На козлах сидел Сафайей Вьершов. Он уже второй день служил адъютантом у Степанова и, как он сам считал, являлся негласным его советчиком. Но теперь Степанову с адъютантом не о чем было говорить, он даже тяготился его присутствием. Однако лошадьми кому-то надо править, и Степанов мирился, что этот сын недавно выбившегося в купцы веретенщика сидит с ним и привычно, по-крестьянски чмокает на лошадей отвислыми губами.

Время от времени Степанов доставал из саквояжа фляжку со спиртом и прикладывался в горлышку, стараясь на какое-то время забыться, уйти от тяжелых мыслей.

Как круто все обернулось. Еще три дня назад он с Риториком рассматривал на карте трактовую дорогу на Вятку, помечал цветным карандашом, где он должен делать привалы, и вот опоздал — красные опередили его. Теперь волей-неволей пришлось повернуть оглобли назад. Однако и обратный путь был не безопасен: ему передали, что от Вятских Полян по направлению Шурмы движется Полтавский полк красноармейцев, а водой, с низовий, идет отряд моряков на трех бронированных пароходах. «Хотя бы тут не опоздать, взять в свои руки инициативу, иначе красные зажмут в клещи. Отступая, надо сохранить силы, соединиться с чехословаками и уж тогда — бог нам подмога! — двинуться снова на Вятку...»

Разморившись за дорогу, Степанов клюнул было носом, но тотчас же спохватившись, поправил съехавший на глаза картуз и, провожая сонным взглядом яркий кружок солнца, опускавшегося за темно-зеленые шпильки елок, спросил своего адъютанта:

— А где, по-вашему, привал лучше сделать?

— А-а, привал? — восторженно Вьершов. — Привал

в Кизерях надлежит, господин командир. Селение тут большое, богатое...

— Пополнить конский состав сумеем?

— Сколько угодно отмотбилизуем.

— Прекрасно, прапорщик! — похвалил он. — Бочки-то везут, не знаешь?

— Как же не везут — везут, господин командир...

— А то ведь тут такие есть, того и гляди за дорогу высосут...

— Ничего, господин командир, убережем, — ответил самоуверенно Вьершов и, тряхнув ременными вожжами, вспомнил о Дрелевском — сегодня утром, по заданию Степанова, он принимал участие в расстреле комиссаров. И теперь, желая выхвалиться перед своим новым хозяином, он будто между прочим сказал:

— А живучий же был тот флотский комиссар... Который помоложе, уснул быстро, а этот — жилиц. Как замороженный. Стреляем в него, а он стоит... Оботрет с лица кровь, сожмет в кулак пальцы...

Молча слушая говорливого адъютанта, Степанов вспоминал недавнюю встречу с Дрелевским. Он приехал к нему тогда с деловым предложением, но Дрелевский и слушать не захотел, он словно отхлестал его, как провинившегося мальчишку. Все время после этой встречи Степанов чувствовал себя неловко. И лишь сейчас, когда беспокойного комиссара уже не было в живых, ему показалось, что все уладилось, все встало на свое место.

Пополнив свои силы в Кизерях и осушив в бочках прихваченный на заводе спирт, на рассвете степановцы двинулись на Шурму, оживленные, шумные, с новой надеждой на успех. Кавалеристы ехали, как и вначале, впереди. Пересмеиваясь, они хвалились друг перед другом ночными похождениями.

— Хорошо тебе смеяться, — говорил один из них, в лохматой серой папаше. — Тебе по старой стоянке тут знакомо. А я вот заглянул в хату, смотрю — девка, что мармеладка, так на глазах и тает.

— Ну и как, далась?

— Хитра больно эта девка. Подмигнула мне, я, мол, до ветру выйду. Вышла, да и сейчас ходит...

— Хо-хо-хо-о, вот так разговелся! — засмеялся другой и посоветовал: — Ты б за матку тогда брался.

— А ты как думал? Оставил, думаешь, в покое, что ль? Как бы не так. Схватил я ту старуху, спрашиваю, где, мол, твоя дочь-мармеладка? А она одно: «Не знаю». Тогда взял я ее за ноги, да и метнул головой в печь, на уголье...

— Хо-хо-хо-о, — опять раскатилось веселое гоготанье, но тут подъехал Сафаней Вьершов — он после Кизерей, как и Степанов, ехал верхом на лошади.

— Тихо-о-о! — гаркнул Вьершов. — Слушать! Как только переедем за ложбинку — и с богом, как сказал господин комиссар, на Шурму! У кладбища занять рубеж и ждать дальнейших наших распоряжений, — и, повернувшись, ускакал обратно.

Часа через полтора за ржаными суслонами показалась и Шурма, большое торговое село, растянувшееся по высокому крутому берегу.

Заняв позицию вдоль водосточной канавы и дав для острастки несколько выстрелов по селу, степановцы было поднялись, но в это самое время из-за суслонов неожиданно двинулся на них отряд моряков, только что высадившихся с пароходов.

Степановцы дрогнули, повернули обратно, но тут ждала их новая неприятность — от Большого Лога подоспели бойцы Полтавского полка (степановцы проехали мимо и не заметили красноармейской засады). Они дружно ударили с левого фланга.

Конные и пешие смешались, под пулями падали на землю. Степанов с револьвером в руке метался на коне по полю, стараясь удержать своих солдат, но те, видя, что бой уже проигран, все дальше и дальше отступали к дороге, за которой стояла неубранная рожь. Вдруг конь под Степановым рванулся и, как-то странно храпя, рухнул на бок, придавив собой ногу всадника. Тут подошел Вьершов.

— На Казань... К своим! — чуть не плача, крикнул ему Степанов.

Высвободив его ногу, Вьершов поднял Степанова на овоего коня и, вскочив на стремя, поскакал с тяжелой ношей следом за отступающими, приминая и втоптывая в землю поникшую колосом, переспелую рожь.

Конец августа был не менее тяжким, чем начало месяца. Белогвардейские полчища жали на южные границы губернии. Им помогали местные богатеи, то и дело в волостях вспыхивали кулацкие мятежи. Да и в других губерниях и городах было неспокойно. По газетным полосам жирными буквами каждый день шли все новые и новые тревожные вести.

...В Москве раскрыта крупная белогвардейская контрреволюционная организация. Вдохновителем диверсантов и заговорщиков — глава британской миссии Локкарт. Активизировались белогвардейцы и эсеры на Волге и Прикамье. В Казани всюю действовали Савинков, Капель и Фортунатов.

Двадцать восьмого августа белые взяли Свияжск и, продвинувшись вперед, отрезали штаб Первой армии. Вслед за Свияжском пали Сарапул и Ижевск. Снова ожили и вятские эсеры. Бывший член Всероссийского Учредительного собрания от Вятской губернии, правый эсер Василий Бузанов, бахвал и говорун, души не чая, уже носился в Сарапуле с планами образования своего автономного Прикамского края. Около него увивались Карякин и Евсеев — и все эсеры. И вдруг на газетной полосе: в Петрограде убит Урицкий. Кто стрелял? Какой-то, говорят, юнкер Канегиссер. Наверняка эсер... В тот же день, тридцатого августа, поздно вечером, всех потрясло новое сообщение: совершено покушение на Ленина...

К зданию Вятского чрезвычайного штаба на Московской молча стекались люди, собирались срочно партийцы, весь актив города. Шли, от горя сжимали кулаки. У некоторых на глазах блестели слезы. «Жив ли Ильич? — наворачивался у всех один вопрос. И опять: — Кто стрелял?»

В полночь кончилось экстренное совещание. Было оно на редкость коротким, всем было ясно: надо браться за оружие — идет борьба не на жизнь, а на смерть.

В накуренном опустевшем кабинете стоял осунувшийся похудевший Иван Попов. Он только что вернулся из Вятских Полян. Второй армии нужна помощь людьми, оружием, продовольствием... Белые уже топчут вятскую землю. Надо укреплять армию. И вот такое неожиданное известие... Все еще держа в руках правительственное

сообщение, он снял очки, протер стекла. В глазах прыгали строчки:

— «Всем Советам рабочих, крестьянских депутатов. Всем армиям. Всем, всем, всем. Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина...

...По выходе с митинга товарищ Ленин был ранен. Двое стрелявших задержаны», — вслух прочитал Попов тихим, охрипшим голосом.

— Это тоже дело рук эсеров, — облокотившись о стол и сжав ладонями голову, отозвался Петр Капустин.

— Не сомневаюсь, — согласился Попов.

— А мы с вами, Иван Васильевич, все еще с ними цацкаемся. Господинна Трейтера и К^о уговариваем, — вскочил возбужденный Капустин и быстрыми шажками принялся кружить по комнате. — Да я бы, пусть разрешит мне штаб, я бы их всех к стенке!

— Спокойно, Петя, — Попов положил бумагу на стол. — Большевики не мстят.

— Будем мстить! Не дадите разрешения, сам буду действовать.

— Пе-е-тя... Товарищ Капустин! Давай к прямому проводу. Срочно оповестить уезды. Повсюду должны знать сообщение Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов.

— А в Уржум как? Отменяется моя командировка, что ли?

— Нет, не отменяется, — с вновь появившейся привычной твердостью в голосе сказал Попов. — Передай сообщение и утром на рассвете в путь.

— Есть, утром на рассвете в путь! — прищелкнул каблуками взъерошенный Капустин. — А все же не согласен я с вами, Иван Васильевич.

— Это насчет чего?

— Насчет эсеров-то...

— Милый ты мой, Петушок, — тронул ладонью по плечу своего помощника Попов. — Да разве я спорю с тобой! Тут с ними куда сложнее... Ты знаешь, сколько эсеры ведут за собой темных людей... особенно крестьян? А эти люди, крестьяне то есть, нужны нам. Придет время... Всему придет время, Петр...

— А по-моему, пришло. Степанов-то знаешь где? В Казани. В должности командира северной группы...

— Знаю... проглядели мы тут.

— Вот так и с другими может быть.

Петр Капустин вытащил из кобуры пистолет и с сожалением покачал головой: мало патронов.

— Нет у тебя лишней обоймы? — спросил он.

— Возьми мой наган.

— Он тебе самому пригодится. Уж лучше трофейный заберу. Но и старый не оставляю. С двумя-то надежнее. Тут уж пощады, господа эсеры, от Петра Капустина не ждите!

— Слушай, Петр. Мы решаем завтра, теперь уже не завтра, а сегодня, объявить массовую мобилизацию. А как быть с активом?

— Что же, поедем организовывать.

— Этого мало. Надо объявить партийную мобилизацию. Надо всех коммунистов, комсомольцев, весь наш актив срочно вызвать в губвоенкомат. У кого есть бронь — онять... Всех под ружье!

— Вот это правильно! Может, мне лучше не в Уржум, а на фронт.

— Пе-е-тя... Товарищ Капустин! На рассвете в пути!

— Есть, на рассвете в пути! А теперь бегу к проводу, — и, легко повернувшись, низенький и юркий Капустин, слегка сутулясь, вышел в соседнюю комнату.

Попов открыл окно, глубоко вдохнув влажный ночной воздух, прислушался. Мимо в сопровождении конных прошли люди с огромными мешками.

— Кого поймали? — спросил постовой у ворот.

— Видишь кого, спекулянтов, кляп им в маковку, — ответил верховой и поторопил: — Давай двигай, по сторонам головами не вертеть.

— Стой, кто таковой?! Стрелять буду, — уже другим голосом крикнул постовой штаба.

— А у нас у самих стрелялы есть, — ответил из темноты басовитый голос.

Попов взял наган, дозарядил его, опять подумал о Ленине: «Жив ли, родной... Как же так без охраны-то отпустили... Здесь и то надо смотреть в оба».

Смолкло за поворотом цоканье копыт, где-то скрипнули двери, приглушенно таякнула собачонка. Вроде за окном стало светлее. Попов прошел в сосед-

ною комнату и, дотронувшись до плеча Капустина, тихо сказал:

— Давай поговорю я, а ты с часок вздремни.

— Нет-нет, я сам.

— Пе-е-тя, товарищ Капустин... На рассвете в путь.

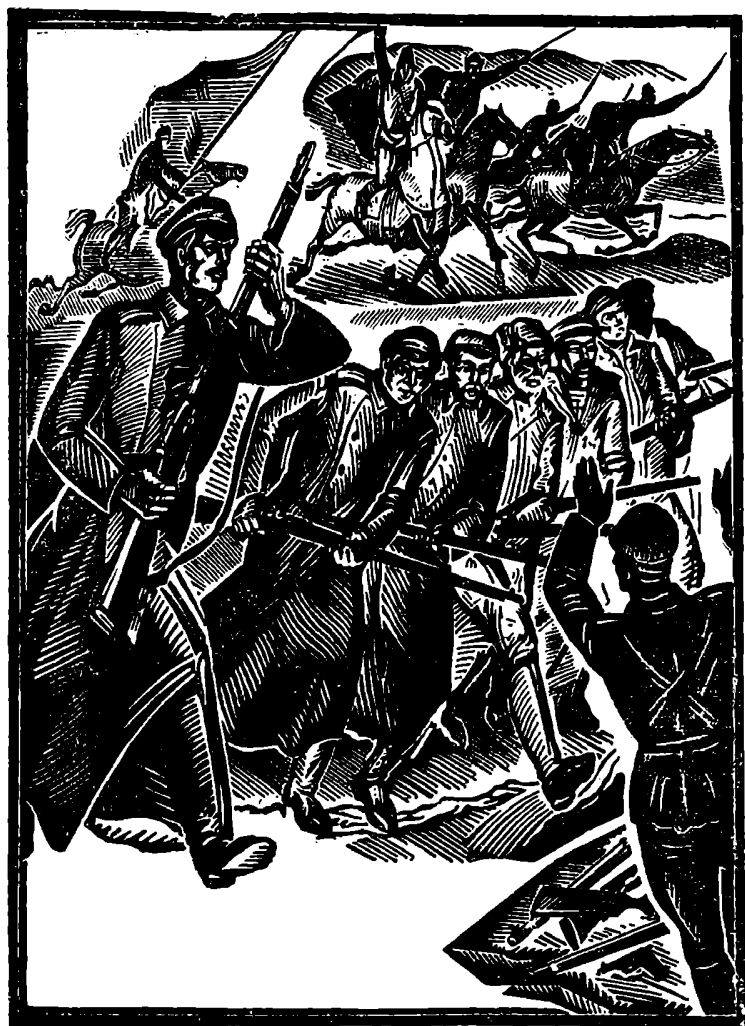
— Есть, на рассвете в путь, — ответил Капустин и, бросив под голову подшивку газет, повалился на диван. Полежав, добавил: — Звонил Ложенцову. Сегодня с Сормахом поднимают людей. Мобилизуют с конями...

— Спи, Петя.

— Есть спать! На рассвете в путь!..



ЧАСТЬ ВТОРАЯ





Всколыхнулась реченька, Вятушка глубокая,
Бережки круты да каменные
Супротив врага горой пошли.

1

Наголову разбитые под Шурмой степановцы бежали к Казани на соединение с белочехами, надеясь собрать новые силы и снова двинуться в низовья Вятки. Под Казанью в это время шли ожесточенные бои; под натиском красных частей белые дрогнули, но еще не сдавались. Однако перевес на этом участке фронта уже определился. Командир первого батальона 19-го уральского стрелкового полка сообщал председателю Вятского чрезвычайного штаба: «Рад донести, что Вятский батальон, мною окрещенный в Вятский железный отряд, жестоко и стойко дрался с врагом. За наши победы получил благодарность от имени социальной революции... Приветствуем. Надейтесь, что на днях возьмем Казань. Всегда с вами. Азин».

Десять дней шли бои за Казань, и наконец 10 сентября 1918 года она штурмом была взята красными. Началось очищение от белогвардейских банд Поволжья.

Однако белые не дремали. На этот раз на арену политических и военных событий выдвинулся адмирал Колчак. В середине ноября в Омске он арестовал членов директории и, произведя государственный переворот, провозгласил себя верховным правителем России. Вслед за этим, в декабре, Колчак арестовал в Уфе членов комитета Учредительного собрания и при поддержке Антанты пошел войной против молодой Советской Республики, неся на своих штыках смерть и опустошение. Такого еще

здесь, на сибирских дорогах, не видели: день и ночь по деревням и селам стонали люди, непокоренных колчаковцы без суда и следствия вздергивали на виселицы, до смерти забивали розгами, сжигали дотла целые деревни.

Но вот Колчак добрался и до Урала.

В то время, когда две дивизии — Вятская особая и вторая Сводная — после тяжелых боев переформировались в Ижевске и Воткинске в 28-ю дивизию, Колчак, нащупав слабое звено на участке Третьей армии, бросил против нее пять своих свежих, с ниточки одетых и обутых дивизий. Третья армия, измотанная в шестимесячных боях, растянулась тонкой ниточкой на четыреста верст — от Надеждинского до левого берега Камы, южнее Осы, — и теперь уже не в силах была противостоять натиску превосходящих сил противника. Ведя при тридцатипятиградусных морозах непрерывные бои, плохо одетая и слабо вооруженная армия с каждым днем откатывалась назад. 30 ноября противник занял станцию Выя и, отрезав левый фланг красных от центра, почти целиком уничтожил 3-ю бригаду 29-й дивизии. На следующий день белые на Лысьвинском направлении заняли станцию Крутой Лог, а 3 ноября — Кушву. Не прошло и месяца, как колчаковские войска подошли к Мотовилихинскому заводу и в ночь на 25 декабря без единого выстрела заняли Пермь.

Колчак ликовал, гудели на церквях колокола: пройдет немного времени, падет и Вятка, — и путь на Котлас открыт. С одной стороны Котлас, Северная Двина, наполовину занятая англичанами, с другой — Москва. От Вятки теперь рукой подать до матушки — белокаменной, вот-вот и долгожданные золотые маковки!

Так думал новоиспеченный правитель всея Руси, кутая свое аскетическое тощее лицо в зеленый башлык, сшитый из добротного английского сукна. Сытые кони, запряженные цугом, легко несли просторную повозку по дороге следом задвигающимися войсками. От сознания того, что он скоро въедет в Вятку на белом коне, а немного спустя будет в Москве короноваться шапкой Мономаха, захватывало дух, и с каждым днем все больше и больше овладевало им нетерпение. Скорей бы свершилось все это, скорей бы... Прикрыв медвежьей полостью

коченевшие ноги, Колчак двинул отяжелевшими от мороза бровями. Вдали, левее соснового частокола, отсвечивало пламя пожара, отчего ночное дальнее небо становилось еще темнее. На фоне этого, до жуткости темного неба, нет-нет да и вспыхивали, как большие свечи, остроконечные шпили: вместе с домами горели деревья. Где-то чуть подальше послышался гул, точно весенний гром громыхнул, и через несколько минут пламя нового пожара охватило полнеба.

«Вот она, моя, самой судьбой предначертанная дорога к золотым маковкам», — самодовольно усмехнулся Колчак и, заметив, что кони начали переходить на шаг, бросил ездоному:

— А ну, поторапливай, а то генерала Пепеляева и не догоним, того и смотри один в Вятку въедет...

2

Каждый день со стороны Перми и Глазова в Вятку прибывали эшелоны с беженцами, эвакуированным имуществом. Железнодорожный узел был до отказа забит вагонами, занесенные снегом составы с хлебом, мясом, мехами, кожами, боеприпасами тоскливо и беспомощно жались друг к другу. Неразбериха и сумятица, казалось, властвовала здесь над всем, перекидывалась от прикипевших к рельсам вагонов на перрон, будоражила людей, несла по улицам панические слухи о скором падении Вятки. Каждую ночь на афишных тумбах появлялись свежие листовки, призывающие хлебом-солью встречать «верховного правителя».

Перрон вокзала сейчас невольно стал не только своеобразной перевалочной базой людей, вещей, сырья, но и средоточением дезертиров, спекулянтов, мешочников, всех тех, кто каким-то образом в это смутное время хотел «выиграть», приобрести, нажиться. Здесь, за сломанным деревянным забором, на серых утопанных сугробах шла молчаливая, скрытая от лишних глаз торговля, вернее, не торговля, а мена. Старики и бабы, настороженно оглядываясь, с опаской доставали из своих мешков пышные, с зарумянившейся корочкой ярушники, в обмен на них получали кто что: одни брали с синими прожилками куски мыла величиной со спичечный коробок или твердые, как камень, плитки кирпичного чаю; другие выговаривали

соль, которую отмеривали маленькими стаканчиками или крохотные белые кусочки сахара — единственное лакомство для детей, — бросишь в чашку с водой крупинку этого снадобья и, пожалуйста, наслаждайся, мадай целый день хлеб в сладкую воду; третьи выменивали махорку и спички; спички считали не коробками, а плашками, по десять спичек в каждой, чиркнешь одну из них, зашипит желтая головка — «сначала вонь, а потом огонь», — так в шутку отзывались о них мужики.

Однажды утром, когда еще мена хлеба на городокные товары не развернулась полным ходом, к вокзалу на запасный путь медленно подошел московский поезд. Услышав пыхтенье паровозика, люди бросились из-за забора к вагонам, высыпали и бабы с детишками из маленького приземистого вокзала, и перрон задвигался, многоголосо загудел: все, казалось, хотели куда-то уехать. Но кто-то сказал, что поезд дальше не пойдет, и люди остановились, хмуро, недоверчиво принялись разглядывать покрытые куржевенью облезлые домики на колесах.

— Мотри старух, сколь их тут насбивалось, и ни один не везет, — подосадовал старик в нагольном кожухе, держа в руках большущий мешок.

— Разреши пройти, папаша.

Старик, уступая дорогу, попятился. Высокий и плечистый, в черном меховом полушубке, раздвигая плечом людей, увлекал за собой такого же широкоплечего, как и он сам, только несколько ниже ростом.

— Старуха! — вдруг крикнул старик в кожухе. — Держись товарищев комиссаров. Мож, и пойдет вагонка-то...

— Не пробежали ли? — шепнул на ходу Капустин.

— Да нет, вон этот должен быть, — ответил высокий и схватился за обледеневшие поручни вагона.

— Стой! Вам кого? — преградив путь, строго спросил военный.

— Комиссия Совета Обороны не здесь?

— Вы кто такие?

— Председатель Уральского облизполкома Белобородов, — отрекомендовался высокий и протянул удостоверение. — А это товарищ Капустин, здешний губкомиссар...

Один из военных, тот, что был постарше, взял документы и, бегло взглянув в них, скрылся в вагоне.

— Не спят? — переминаясь на скрипком снегу с ноги на ногу, спросил Капустин.

— Шутить изволите, товарищ комиссар, — ответил постовой, явно недовольный неуместностью вопроса. — Мы не знаем, когда они вообще отдыхают. Это у вас, в Вятке, любят поспать...

— Ну что вы, здесь тоже горячая пора, — поняв необходимость своего вопроса, пояснил Капустин.

— Горячая, а смотрите — сотни вагонов заморозили, — и, увидев вернувшегося товарища, выпрямился.

— Проходите, товарищи, — сказал военный, тот, что постарше, и возвратил документы.

В противоположном конце вагона стоял высокий человек в наброшенной на плечи длинной шинели и неотрывно смотрел в окно. Услышав за спиной шаги, он повернулся. Белобородов сразу узнал в нем Дзержинского, с которым он не раз встречался в Москве.

— Вот и местные власти явились, — идя навстречу, приветливо сказал Дзержинский; на худощавом, с тощей светлой бородкой лице скользнула улыбка и тут же погасла, уступив место обычной озабоченности. — Кстати, что это за люди на перроне?

— Да вот пассажиры... все едут, — ответил Капустин.

— Мне сдается, что тут многие никуда не едут, а только ждут, — сказал Дзержинский. — Ждут свою очередную жертву. Вот тот, обратите внимание, что с костылем, в солдатской папаче.

— Этот, видать, красноармеец... из госпиталя...

— Да... из госпиталя... А что это он вытащил из мешка? Никкак, подметки?

— Ничего удивительного, Феликс Эдмундович, — слышался за спиной глуховатый голос с характерным кавказским акцентом.

Белобородов и Капустин оглянулись и увидели человека в полувойенном кителе.

— Вятка, как известно нам с вами, главный кожевенный район России, — разглаживая пальцами усы, такие же черные и густые, как и волосы, продолжал он. — Пока наши товарищи на местах говорят громкие фразы о мировой революции, ее враги не преминут, чтобы не поживиться за счет трудового народа.

— А мы сейчас это выясним, товарищ Сталин, — и Дзержинский быстрой походкой направился к тамбуру.

— Ну, что ж, товарищи, — проводив взглядом председателя ВЧК, сказал Сталин. — Пока товарищ Дзержинский выясняет, мы пройдем вот сюда, — и он указал взглядом на двери, верх которых был застеклен толстым матовым стеклом.

Войдя в салон, Сталин взял со стола газету, испещренную красным карандашом, и, взглянув на председателя облисполкома, сказал:

— Надеюсь, читаете местную губернскую газету? Не находите ли вы, что в ней много общих фраз и мало конкретного, будничного? Смотрите, на первой странице обо всем есть, даже ширококвещательно объявляется о так называемом грандиозном концерте... Кабарэ-балет... Танцы до трех часов, и прочее... Но зато нет ничего о пере выборах Советов, о чрезвычайном налоге, о целях войны с Колчаком... Или же спекуляция. Она, по всему видно, процветает у вас, а почему спекулянты не выведены на свежую воду?

— Кадры у нас слабы, товарищ Сталин, — ответил Белобородов.

— Это не беда, что слабы, — учить будем. Вопрос в другом: имеем ли мы в учреждениях наших людей, которых следовало бы учить?

— Мы стараемся подбирать в советский аппарат по пролетарской принадлежности.

— Но, вероятно, и «бывших» еще полным полно? — и, взглянув на вошедшего Дзержинского, Сталин продолжал: — Может быть, Феликс Эдмундович, мы послушаем товарищей вкратце о состоянии дел, а тем временем нам принесут кипятков, немного с дорожки отогреемся, а уж тогда всерьез за дело. Как раз подъедет и командующий фронтом.

— Я не возражаю, товарищ Сталин, кажется, у нас есть еще на заварку чаю, чтоб угостить товарищей, — ответил Дзержинский и снова вышел.

Не прошло и нескольких минут, как Дзержинский вернулся.

— Должен заметить, товарищ Капустин, ваш красноармеец с костылем — не красноармеец, а самый заправский спекулянт. Родственник одного бывшего хозяйчика по выделке кож.

— Вот же, гады, — вспыхнул Капустин. — Разрешите, Феликс Эдмундович, задержать его...

— Не беспокойтесь, я уже отдал распоряжение,— успокоил Дзержинский и, улыбнувшись, вобрал в ладонь свою светлую бородку.

3

Вагон-салон, в котором работали Дзержинский и Сталин — члены партийно-следственной комиссии, приехавшие по предложению Председателя Совнаркома Ленина для выяснения причин сдачи Перми и принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе Третьей и Второй армий Восточного фронта, стал своеобразным штабом — здесь решались самые неотложные и важные вопросы. Весь день, с утра, сюда приходили озабоченные создавшимся тяжелым положением на фронте люди — партийные и советские руководители Вятки и Перми, ответственные работники штаба фронта, комиссары, железнодорожники и рабочие кожевенных заводов. С каждым из них в комиссии обстоятельно беседовали, выясняя обстановку, тут же давали советы, поручения.

Когда волна посетителей схлынула, Дзержинский почувствовал, что он устал так, что слегка кружилась голова. Он достал папиросу и, взглянув на склонившегося над столом Сталина, сказал:

— После утреннего чая нам так и не удалось с вами перекусить. Может быть, сейчас что-нибудь сумеем... Хотя мне хотелось бы еще просмотреть несколько дел с жалобами,— и он усталым взглядом обвел стол, заваленный бумагами.

— Я тоже еще не закончил письмо товарищу Ленину. Через полчаса управлюсь, подпишем, и уж тогда, Феликс Эдмундович,— и Сталин, прикурив от общей спички, углубился в работу.

И снова в салоне воцарилась тишина, лишь под редкие простуженные гудки паровозов шелестели в руках Дзержинского бумаги да поскрипывало перо и изредка раздавалось глухое и сдержанное покашливание Сталина. Так длилось полчаса или, может, дольше. Наконец Сталин поднял голову и, откинувшись на спинку стула, молча перечитал написанное, подчеркнул два-три каких-то особо важных слова и, ткнув потухшей папиросой в пепельницу, полную окурков, встал:

— Вот я и готов, Феликс, послушай.

«Расследование начато,— начал читать он низким, несколько глуховатым голосом.— О ходе расследования будем сообщать попутно. Пока считаем нужным заявить Вам об одной, не терпящей отлагательства, нужде Третьей армии. Дело в том, что от Третьей армии (более тридцати тысяч человек) осталось лишь около одиннадцати тысяч усталых, истрепанных солдат, еле сдерживающих напор противника. Присланные Главкомом части ненадежны, частью даже враждебны к нам и нуждаются в серьезной фильтрации. Для спасения остатков Третьей армии и предотвращения быстрого продвижения противника до Вятки (по всем данным, полученным от командного состава фронта и Третьей армии, эта опасность совершенно реальна) абсолютно необходимо срочно перекинуть из России в распоряжение командарма по крайней мере три совершенно надежных полка. Настоятельно просим сделать в этом направлении нажим на соответствующие военные учреждения. Повторяем: без такой меры Вятке угрожает участь Перми, таково общее мнение причастных к делу товарищей, к которому мы присоединяемся на основании всех имеющихся у нас данных».

Сталин смолк и, переведя взгляд на сидевшего напротив Дзержинского, принялся теребить свой ус, словно бы спрашивая: «Ну, как?»

— Я думаю, что все ясно.

— Значит, подписываем,— и Сталин, опустившись на стул, поставил под письмом свою фамилию; взглянул на часы, в левом углу бумаги поставил: «5 января 1919 года, Вятка, 8 часов вечера»,— и протянул письмо Дзержинскому для подписи.

— Положение оказалось хуже, чем можно было ожидать,— закурив, продолжал он.— Местные товарищи хотя и энергичные, но — опыта мало.

— Придется помогать им кадрами,— согласился Дзержинский.

— Я тоже такого мнения. Но вначале надо съездить в Глазов,— что из себя представляет штаб Третьей армии.— Немного помолчав хитровато улыбнулся.— Ну, а теперь, полагаю, можно нам, Феликс Эдмундович, проверить наш продовольственный арсенал. Как там, в чемоданчике, наш сухой паек еще не весь высох?— и,

прислушиваясь к какому-то крику за окном, спросил: — Что там такое?

— Должно быть, кто-то к нам, — Дзержинский хотел выйти и узнать, но в салон вбежал постовой.

— Товарищ Дзержинский, какой-то военный сюда рвется. Я объясняю, что вы заняты, а он свое, знать, мол, не знаю, говорит, что с фронта по важному делу.

— С фронта? А кто он такой?

— По документам вроде комиссар.

— Впустите, — сказал Сталин и потянулся к чайнику, чтоб налить в кружку кипятку.

Через несколько минут в салон вошел военный в серой папаше, в полушубке, перетянутом ремнями, и, приложив руку к виску, отскомендовался:

— Комиссар Ветлугин... Егор Ветлугин.

— Садитесь, товарищ Ветлугин, — пригласил Сталин. — Чай пили?

— Было такое дело... правда, не сегодня.

Сталин и Дзержинский переглянулись.

— Трудно приходится?

— Очень трудно, товарищи.

— Рассказывайте, — и Сталин протянул портсигар.

Ветлугин, взяв огрубевшими от мороза пальцами папиросу и разминая ее, продолжал:

— Я ведь, как говорят, из самого пекла... Может, там уже меня разыскивают, но никак нельзя, товарищи мои сказали: срочно на паровоз и скачи в Вятку. Я вскочил на «кукушку» и — сюда. Потому дело важное.

— Рассказывайте, как обстановка на фронте, настроение бойцов?

— Плохое, товарищи, скажу прямо: ни питания, ни одежды, ни боеприпасов. Подумать только, четверо суток без хлеба отбивались. А он-то ведь, Колчак этот, сытый жмет.

— А где ваши снабженцы?

— Черт их разберет где. Ведь, товарищи, взять их... кто впереди нас бежит, чтоб остаться живым, кто, напротив, норовит к белым... Измена большая...

— Большая, говорите?

— Как же не большая, ведь разные мы все. Кто победнее, стоят за Советы, а те, кто побогаче, тут же молятся на Колчака. О командирах и говорить нечего, многие со всеми шмутками перекинулись к ним.

Дзержинский налил в стакан чаю, подвинул Ветлугину.

— Угощайтесь.

— Ну что ж, попробуем. С дорожки погреться не лишне.

— И хлебца вот тут кусочек.

— Спасибо,— поблагодарил Ветлугин и отпил из стакана.— Вот наши товарищи и нарядили меня. Ты, мол, Егор, побойчее, знаешь Вятку и — дуй туда. Найди, мол, там власть и обрисуй все, как есть. Приехал, а тут, слышу, комиссия будто бы из Москвы. Я туда-сюда, надо разыскать комиссию, прояснить кое-что.

— А как командование ваше?

— Да как сказать, по-разному командует. Сегодня одни приказы шлют, завтра другие. Ведь посудите, товарищи, сами, нашу Третью армию, можно сказать, бросили. Без продовольствия, без резервов. С левого фланга нет поддержки. Говорят, надейтесь на правый... а правый... там Вторая армия... Где эта армия? Говорят, что нам помогать должна была,— и Ветлугин, оглянувшись, продолжал тише: — Но ведь от нее никакой поддержки. Измена и тут, что ль, какая? А вверху как там мыслят, скажем, Троцкий? Знает он нашу обстановку? Или и он того...— и Ветлугин развел руками: — Поймите, товарищи, на волоске висим. Нужна помощь. Хлеб нужен. Повторяю, некоторые подразделения по неделе не получают продовольствия. Боеприпасы надо... Надо добавить и бойцов.

— А если выполним ваши просьбы, устоите? — спросил Дзержинский.

— Надо устоять, иначе нельзя. Если станем наступать, будем освобождать деревни от врага, то, мы по опыту знаем, эти же деревни станут на нашу сторону. Они теперь вдоволь насмотрелись на Колчака. Это говорю определенно. А то, что подкрепление нужно, так это факт. Жалко, что в дороге мы много добра растеряли. Ведь возьмите опять же руководство... Взорвать бы за собой тот мост, и путь врагу отрезан... Говорят, не успели, а может, и тут какая другая оплошка посерьезней? Легко сказать, оставили Мотовилиху... Целый завод с продукцией, оборудованием отдали... За поношку табаку оставили Пермь. Все, все досталось врагу. Куда годится такое дело? Кто отвечать должен?

А ведь за все, товарищи, должен кто-то отвечать, непременно должен.

— Сами-то вы откуда?

— Да откуда же, вятский, из-под Уржума.

— Выходит, мы земляки с вами,— произнес Дзержинский.

— Разве?

— А как же,— сказал Сталин.— Вот товарищ Дзержинский в Нолинске жил.

— Да-да, почти что рядом с Уржумом,— пояснил Дзержинский.— Вначале на махорочной фабрике работал, а потом, как по привычке, приобрел специальность, перебросили в Кай,— и он рассмеялся.— И вы ведь тоже, товарищ Сталин, помнится, были здесь...

— Конечно, и без меня не обошлось. Только я проездом в Сольвычегодск. Заболел возвратным тифом и две недели тут пролежал на больнично-тюремной койке.— Однако об этом достаточно. Положение, значит, у вас тяжелое?

— Очень тяжелое, товарищ Сталин.

— Но, надеюсь, не безвыходное?

— Конечно, не безвыходное. Только подкрепите нас. Подкрепите людьми. Хлебом. Патронами... И тогда пойдем. Степановскую банду мы же гнали. И белочехов не жаловали. В хвост и гриву...

— Спасибо, товарищ Ветлугин.

— И еще одно, если вы встретитесь с высшим командованием — не верьте сразу. Один вон спец военный в пенсне ехал сюда со мной на «кукушке» и все прикидывал, как бы залагать свои прорехи, оправдаться, значит... И оправдывается он, я знаю... Только не поднимешь теперь бойцов тех, дорогих товарищей наших. Много по причине этой их полегло, сердечных, по дорогам снежным... Великое множество.

Ветлугин встал, вытер небритое лицо ладонью.

— Можно доложить, товарищи, что видел вас, или погодить?

— Можно, товарищ Ветлугин. Спасибо за информацию. Передайте вашим товарищам, что Вятка будет стоять.

— И подмога будет?

— Будет и подмога,— провожая Ветлугина, пообещал Сталин.

На одной из улиц, в центре города, стоял небольшой, с мезонином и фронтоном на углу, уютный особняк заводчика Зонова. Заводчик из особняка бежал, и в доме теперь размещался Уральский облисполком, эвакуированный из Перми. Теперь этот дом стал не только центром губернии, но и всего края. С ним держали телефонную связь командиры с передовой, уездные Советы, железнодорожники, продотряды, комиссия Совета Обороны, которая уже вторую неделю находилась в Глазове в штабе Третьей армии. По указанию облисполкома Вятка каждый день отгружала на фронт вагоны с теплой одеждой, продовольствием, боеприпасами. Ехали на фронт бойцы. Уже были отправлены Вятский батальон красных войск ВЧК, два эскадрона кавалерии, экспедиционный отряд лыжников, по партийной мобилизации уходили на фронт коммунисты и комсомольцы. Для борьбы с дезертирами в Кай-городке, Кирсе и Слободском были организованы специальные комендатуры. Наконец, 19 января, когда комиссия Совета Обороны вернулась из Глазова в Вятку, здесь был создан губернский военно-революционный комитет. Многие учреждения пришлось ликвидировать, и вся власть в губернии теперь переходила к этому комитету. Председатель военно-революционного комитета Белобородов, с виду спокойный, но энергичный и твердый человек, по суткам не уходил из штаба, держа в своих руках все нити управления прифронтовой губернией.

Первая радостная весточка с фронта пришла из-под Оханска.

Восемнадцатого января командир 1-го Сибирского корпуса генерал Пепеляев приказал своим войскам: соединившись 19 января, на рассвете, в селе Дворецком, ударить на Павловский и Очерский заводы, захватить их и отрезать части 30-й дивизии, оперирующей у Оханска. Расчет вроде был точный. Однако генерал переоценил свои силы. Красные, опередив противника, стремительным ударом выбили белых из Дворецкого, наголову разбив штурмовой батальон 1-го Сибирского корпуса. В боях красные захватили пленных, канцелярию батальона, 48-миллиметровое орудие, много винтовок и пулеметов. В результате боев правый фланг 30-й дивизии вы-

шел на восточный берег Камы и занял село Польша-Комка.

Эта победа окрылила бойцов: от колчаковцев не только можно обороняться, но можно, оказывается, их и бить, и так бить, что они начинают поворачиваться спиной и показывают пятки. Начались успешные атаки красных и на других участках, и противник попятился. А в стан красных прибывали новые и новые силы.

Егор Ветлугин с красной лентой на папаше молнией метался по снежным дорогам, то проводил беседу в одной части, то уже летел в другую, то по пути заезжал в деревню, и каждый раз при удобном случае рассказывал, как он был в Вятке, как его не пускал постовой в правительственный вагон, но он, Егор, настоял на своем.

— Здесь, в вагоне-то, и решались главные дела,— собрав однажды мужиков посреди деревни и поднявшись на крыльцо, сказал Ветлугин.— И мне, товарищи, скажу прямо, дозволено быть непосредственным участником этих решений.

— А ты, товарищ комиссар, правду говоришь? Ты самолично видел тех товарищей из Москвы аль по слуху нам песню поешь?

— А ну, выйди вперед! Встань как следует перед красным комиссаром.

— Стою, товарищ комиссар, стою,— пробасил мужик в распахнутом тулупе. «Ужель я тут бухнул чего неладное? Конечно, и немудрено, такое время — брат на брата пошел».

— Откуда у тебя такие недоверчивые мысли о комиссаре, который вот тут же, перед тобой докладывает?

— Так ведь как же... Колчак, говорят, через хомут врал, и наш командир был тут осень и тоже повирал немало, все, говорил, наша, мол, берет. А где она брала — наша? Вон куда леший занес, до Омутной спиной докатились. Вот и думаю, правду ли ты-то нам выкладываешь, аль за компанию с другими прочими,— и, оглянувшись, ухмыльнулся неприкаянно: как, мол, робя?

А «робя», соседи свои, подмигнули:

— Вопрос справедливый Анисим ставит.

— Вот я и говорю, докажи нам документом аль чем другим прочим.

— Ну и молодец, Анисим, уе-е-л,— слышалось из толпы.

«Ну, нет, за такого Анисима надо братья обеими руками»,— подумал Егор Ветлугин, сдвинул на затылок папаху; черная прядь прилипла к виску.

— Скажи, Анисим, чьи ты речи тут нам распространяешь?

— Ха, чьи же, как не свои.

— Тем хуже для тебя.

— Неужто?

— Сколько коров у тебя?

— Коров? Коров-то? Ну-с... когда-то было по счету три....

— Не грехи, Анисим, ты богу креститься охочь.

— Крещеный, правда,— повернулся на бабий голос старик.— Так ведь та, четвертая-то, итель была.

— А велика ли семья?

— Пятеро в прошлогодь...

— Вот теперь и понятно,— Ветлугин рассек ребром руки воздух.— У тебя четыре коровы на пятерых, а вон у ней, у Марфы, одна коровенка на семь ртов...

— Уел комиссар... у-е-е-л. Так чего же будет такое? Неужели мне места здесь, во своей деревне, нет?

— Место это для себя надо отвоевать, товарищ.

— Верно, товарищ комиссар. Анисим тут и налог чрезвычайный разбил по душам. Разве это законно?

— По коровам, что ль, надо налагать?

— А то как же?

— Дойдет и до этого, Совецка власть справедлива. Сам видел, как газетка поправляет наших Анисимов.

— Поправлять будем и дальше,— переждав шум, заключил Ветлугин.— Но, повторяю, теперь главное — фронт. Разобьем Колчака, по-новому заживем, вперед подойдем к лучезарной мировой революции...

— Только разбить-то как? Говорят, Вятка вся вакуируется, все ценное к немцам везут.

— Кто такие речи вам сказал?

— Да ходят тут слухи.

— Кулацкие это слухи! — крикнул Ветлугин и, выхватив из кармана газету, потряс над головой.— Вот вам свежий приказ.

— Чита-а-а-й.

— Этот приказ, товарищи, ко всем рабочим и крестьянам относится... Ко всем честным гражданам... Если вот ты, Анисим, не являешься попутчиком мировой гидры, а честный человек, то послушай.

— Слухаю, товарищ комиссар.

— Так вот, становись ко своей деревне и не брыкайся в сторону,— приказал Ветлугин, развернул газету и, приподняв над головой папаху, снова посадил ее на макушку.— Читаю, товарищи,— громко и со значением сказал он.— Значит, обращение, повторяю, к вам и ко всем прочим честным гражданам-товарищам.

— «...Враги Советской власти распространяют слухи о подходе неприятельских войск к Вятке. Этими слухами хотят дезорганизовать тыл, нарушить нормальную работу заводов, посеять панику. Белогвардейцы, слуги помещиков и фабрикантов, которыми кишмя кишит Вятка, помогают своим друзьям, находящимся по ту сторону фронта, поднявшим войну против власти рабочих и бедняков. Слухи о том, что Вятке угрожает неприятельское нашествие,— ложь...»

Ветлугин остановился, обвел глазами столпившихся мужиков и баб, пояснил:

— Последние две строчки напечатаны, имейте в виду, крупно и жирно, потому и прочитаю повторно. Слушайте внимательно:

— «Слухи о том, что Вятке угрожает неприятельское нашествие,— ложь... Наоборот, наш фронт в эти дни окреп настолько, что Пермь находится под ударами наших войск...»

— Они ведь, пермяки, без нас куда же, взяли да руки и подняли.

Кругом захохотали. Но тут из середины толпы поднялся коренастый и рыжебородый угрюмый мужик. Шагнул к Анисиму, смерил его глазами:

— Ты чо обо мне загнул? Ну, я пермяк, ну, не вятч, тут вот валенки катаю, а скажи мне, так я этого гада Колчака один за вязы его скручу, как вот, к слову сказать, тебя...

— Так я ведь, Петро... не о тебе речь...

— И обо мне... Потому я пермяк. А ежели Пермь сдалась, ну, я-то в чем виноват?

— Надо держать винтовку, а не шерсть валять.

— Хватит! А ну-ка, стихнем,— крикнул Ветлугин.— Дай вам волю — передеретесь... Виноваты тут все.

— Именно, товарищ комиссар, именно,— согласился пермяк.

— А раз все виноваты, то и слушайте приказ, не перебивайте.

— «...Пермь находится под ударами наших войск. Не далее, как в ночь на двадцать третье января получено сообщение, что одна наша дивизия разбила Пятый и Шестой неприятельские полки и два ударных батальона, взяла пленных, много военных трофеев, в том числе два тяжелых орудия, пулеметы и заняла станцию Менделеево (в девяноста двух верстах от Перми).

Другая дивизия, нанеся большие потери неприятелю, заняла Нытвинский завод (около шестидесяти верст от Перми).

Таким образом, не на Вятку наступают белогвардейцы, а отступают под натиском наших войск к Перми.

Военно-революционный комитет призывает всех рабочих, крестьян и честных граждан к спокойной работе, к напряжению всех сил для укрепления тыла.

Разгрузка Вятки от излишних огромных запасов материалов, особенно кожи, производится по распоряжению центральной власти не потому, что Вятке грозит опасность, а потому, что преступно держать в одном месте запасы изделий и материалов, когда в остальной России чувствуется огромный недостаток в них.

К спокойствию!

Выдержка и дисциплина прежде всего!

Председатель А. Белобородов».

Ветлугин снова оглядел мужиков, потряс газетой, словно спрашивая: «Понятно ли?»

— Чего же непонятного,— отозвался кто-то.— Надо двигаться... Далеко, правда, отбежали, черт возьми, но делать нечего: не дорога жмет ноги, а обувька...

— Теперь пойдем, комиссар,— согласился рыжебородый.— Пойдем, шибко втравили мужика в это дело. А если уж втравили нашего брата, ну, берегись, тут уж и руки вцепятся в ружья, и ноги пойдут. Даром, что они в лаптях, а до моря дойдут, до самого синего океяна...

Февраль в тот год был снежный и вьюжный.

В Ржаном Полое снега навалило до самых окон, огромные сугробы наставило в проулках, намело косы возле амбаров — трудно было без лопаты туда и пробраться. Алешкин амбар стоял на краю, — казалось, он вот-вот утонет в снегу, — ребятишки даже приспособились кататься с крыши на санках. Поднимутся к охлупеньку, сядут на санки — и вниз по насту до самой Ветлужки. А наст мартовский крепкий, как по стеклу каатишь, — только гудит под полозками да повизгивает, да ветер у шапчонок мальчишних уши заламывает назад. Ну и катушка! Полить бы еще водой, только воду далеко сюда таскать. А жаль — из других деревень собрались бы сюда кататься.

Однажды ребятишки облюбовали на Евлахином дворе сани, на которых Глафа ездила в лес за дровами, затащили их на крышу и только было принялись усаживаться на них, как увидел все это старик Алешка Кузовков, закричал на ребят, пригрозил пожаловаться отцам. А где они, отцы, — в деревне остались бабы да ребятишки малые, да он, Алешка, нутром хворый, — отцы да старшие братья давно уж где-то за Казанью воюют, на уральских далеких горах. И Федяркин дед Евлампий там, а о дяде Егоре и говорить нечего, он комиссар, он, почитай, теперь самый главный идет супротив степахов да колчаков.

Видя, что ребятишки не слушаются, Кузовков подбежал к амбару, еще сильнее закричал, чтоб сорванцы слезали с крыши, — амбар им не горка. Но те и ухом не ведут. И надо же — не только чужие ребятишки, а среди них и внук — Лаврушка.

Лаврушка с матерью да старшей сестрой Юлькой теперь насовсем перебрались к деду на жительство. Как тут не уедешь — отец-то их, Прошка, вон чего натворил: все говорят, что убил Вихарева и в самом деле он.

Лаврушкина мать Настасья с горя и от стыда все глаза выплакала. Одна надежда у нее теперь на Лаврушку. Подрастет — помощником станет.

— Не бойся, дедушка, не проломим крышу, — успокаивал сверху Лаврушка, подвязывая под подбородком уши телячьей шапки.

Но старик и слушать не хотел. Он схватил метлу и, потрясая ею, грозился отхлестать всех по очереди...

Пока ребята усаживались, старший из них, Лаврушка, держал сани за передок, чтобы они раньше времени не укатили. Лаврушка последним вскочил на задок саней, сани рванулись с крыши на сугроб, с сугроба их бросило к обрыву, и шумную беспечную ватагу метнуло с двухсаженной высоты в снег.

Только вечером притащили ребята сани обратно на Евлахин двор. Увидев Глафу, которая откидывала от крыльца снег, нарезанный лопатой кирпичиками, они тотчас же скрылись. А Федярке бежать некуда — он дома, за все самому отвечать придется.

— Ну, что я с тобой, горюшко рваное, делать буду? — увидев сына и словно жалуясь, сказала Глафа. — Чего ты смотришь на Лавруху? Его дело — учить художников вас, бессмысликов.

— Он вовсе и не учил, мам... Это я сам...

— Сам, сам... Сам-то, вишь, как черт, выкатался, весь снег собрал на себя, — и мать для острастки хлопнула сына метлой по спине.

Федярка знал, что он и в самом деле виноват, поспешил в избу и, сбросив с себя дубленый полушубок, шмыгнул на печь. Стянув валенки, он сунул ноги в жито, притих. Жито горячее — мать на днях собирается ехать на мельницу и уже второй день подсушивает на печи рожь. Федярка любит по вечерам лежать здесь и слушать маманьку. Но сегодня она ему ничего не расскажет: он провинился, и мать сердита. Вернется, еще банить станет.

Федярка лежит и вслушивается — в избе тоже свой мир. На стене тикают часы-ходики, где-то в трубе жалобно подвывает ветер. Тараканов только жалко не слышно в щелях: мать в первый же мороз сказала деду, что надо перейти в другую избу и выморозить тараканов. И вот за какую-нибудь неделю их переморозили всех, смели в лукошко — и в снег, чтоб не отжились, захоронили. А таракашки те вовсе и не лишние были. Лежит, бывало, Федярка на печи и смотрит, как они ползают, шевелят усами. Теперь и поговорить не с кем — сучки одни лишь на потолке остались. Но в темноте и их не видно. Федярка, закрыв глаза, старается припом-

нить, где какой сучок притаился. Он лежит так долго-долго, и вдруг сучки перед ним оживают...

Открыл Федярка глаза — и вот уже рядом с ним на припечке сидит мать. И светильник она зажгла. Стоит на ножках деревянное корытце с водой, к торцевому краю его дед прибил столбик с железной рогулькой вверху. В рогульку вставлена березовая дранка-лучина, она дымит, пощелкивает, угольки, как живые, отскакивают и, падая в корыто с водой, сердито шипят.

Мать сидит за прясницей. Слышно, как тянется нитка, как жужжит в ее ловких руках веретено. Любит Федярка, когда мать вот так прядет. Но сегодня он провинился и, не подавая голоса, молча принялся разглядывать на потолке сучки. Вот тот большой сук похож на голову, и шапка у этой головы круглая и с пером, как у князя Аладдина. Это, наверно, самый и есть Колчак. Ниже идут сучки поменьше — это степахи. Степахи — те хитрые, рассыпались по всей потолочине. А на другой доске виднеются другие сучки, они вроде как собрались кучкой. Это наша конница скачет. Впереди вон дядя Егор... И знамя у него красное в руках...

— А дед который тут, мамань? — вдруг спросил Федярка.

— Где дед?

— Да вон, на потолке-то?

Мать, повернувшись, с тревогой взглянула на сына, приложила ладонь к его голове.

— Добегал, видишь, какой лоб горячий...

— Вовсе и не горячий.

— Как же не горячий? И бредишь вон как...

— Когда?

— Спи давай. Никакого там деда на потолке нет.

— Как же нет деда? — вскочив, воскликнул Федярка. — Вон он, дед-то наш, вместе с дядей Егором колчаков гонит... И пика у него в руках.

Глафа не на шутку забеспокоилась:

— Какие тебе тут колчаки? — и, положив прясницу, прилегла к Федярке. — Спи. Поспишь да погреешься — все и пройдет. Спи, я сказку тебе расскажу... Про мальчика-с-пальчика рассказать или про храброго портняжку?

— Про портняжку знаю. Ты, маманька, про чего другое... Про дядю Егора, про дедово письмо.

— Сколько уж раз я тебе рассказывала это письмо... Ну, воюют, ну, пошли, значит, в наступление на село Карманово. А в селе этом колчаки сидели. И как завидели их наши да как поднялись во весь рост — и пошли колоннами да со флагами... Потом рассыпались и кричат: «Ура!» И смели их всех со склонов тех кармановских. И начали бить их в хвост и в гриву. Били так, что дула все докрасна понакалились.

— А про пояса-то и забыла.

— И красные пояса у всех у наших для отлички.

— И еще на папах...

— И на папах красные ленты... Спи давай, сынок...

Ночь переспишь, может, опять письмо от деда или от дяди Егора получим. Опять будем читать его вслух да заучивать, как воюют наши да гонят колчаков к тому дальнему морю-океану...

6

До мельницы три версты всего, нынче помольцев не должно бы быть много — за день обернуться можно.

Так рассчитывала Глафа, запрягая лошадь, которую в этот покров купила на ярмарке у цыгана. Все полотна, наготовленные в девках, вложила в цыганскую Карюху. Хоть до слез жалко было расставаться с девичьими припасами, — теперь все ящики пустые стоят, — но иного выхода нет: летом степахи угнали Пегашку, да так ни слуху и ни духу о ней, а без лошади в крестьянстве какой же прок? Хоть она, Карюха, и росточком маленькая, но все же бойкая лошадка, такая и взрослому услужит, и ребенка не обидит. Федярка — тот души не чаает в ней, вскочит утром с постели, сунет ноги в валенки — и на поветь. Откроет в потолочине ставенек и начинает толкать сено в Карюхину кормушку. Кормить лошадь да ухаживать за ней — дело мужское. Без лошади в деревне ни один мужик не вырастает. У кого нет лошади, у того и хозяйства нет, бобылем весь век ходит, от двора к двору кусочки собирает. А Ветлугиным это не пристало. Ветлугины с покон веков к земле приворожены.

Глафа запрягла лошадь, положила в розвальни охапку сена, отобрала, которое покрупнее да поосоковатее, и пошла в избу за мешком. Мужики не всегда носили в одиночку такие мешки, а ей теперь одной управляться

надо. Взяла она мешок с зерном, взвалила его на спину и, покачнувшись, пружинисто шагнула к дверям. А Федярка тут как тут, он уже услужливо распахнул дверь, выбежал на улицу, ему тоже хочется ехать с матерью на мельницу. Глафа опустила мешок на сани, утерла лицо кончиком полушалка и снова направилась в избу. Увязался за ней и сын, тихонечко канючит:

— Мамань, ай маманька, возьми и меня с собой.

— Куда еще тебя...

— С тобой... на мельницу-у,— жалобно тянет Федярка.— Я не помешаю, слушаться вон как буду...

Мать сосредоточенно молчит, будто и не слышит сына, но Федярка знает: маманька сейчас о нем думает, взять его с собой или оставить дома.

— А кто дом сторожить будет? — вдруг спросила она.

— Дом-то чего сторожить, теперь нет степахов, не придут они,— по-взрослому серьезно ответил Федярка.— Я тот раз с дедом тоже...

— Ладно, ладно, канюк, деда в заступники взял. Чего уж с тобой, собирайся. Хоть меньше одежды изорвешь. Дома-то каждый день пуговицы пришивай...

— Да не чуточки больше не изорву, тихо рядышком с тобой сидеть буду,— и Федярка, подпрыгнув, побежал в избу-боковушку за папахой.

Когда он «выезжал в люди», то всегда наряжался в дядину папаху. Ему очень хотелось походить на дядю Егора, только одного нет — ленты, перевил бы папаху нанскою красной лентой да сдвинул бы ее набок, покомиссарски...

Через полчаса Федярка уже сидел в саних в серой смушковой папаше и весело поглядывал по сторонам. Говорливо поскрипывала под полозьями дорога. Она нынче лежала корытом, снег по сторонам вздыбился белыми подушками, на подушки падают легкие голубоватые тени: сначала от лошади — идет Карюха, и вместе с нею двигается тень; потом дорогу перечеркивают тени от колышков изгороди, от берез, припудренных снегом. Федярка смотрит на деревья, удивляется. Чудно-то как, что ни дерево, то и в новой одежке. Одно походит на какого-то сказочного мальчика, укутанного в белую шубку, другое — на храброго портняжку, сбросившего с плеч белую накидку, а вон то, что выступает из-за березок,

на дремучего старика. И плечи у него вон какие обвислые, и верхушка будто голова в папахе белой. А внизу, меж деревьев, на снегу чьи-то следы разбросаны — одни круглые да большие, как его ладошки, другие — чуть поменьше.

Вглядываясь в заманчивую глушь зимнего леса, Федярка не заметил, как дорога повернула в сторону и пошла под уклон. И вот под горой, на берегу речушки, показался старинный дом, только был он без окон, будто большой амбар, в стороне — еще домик, а вокруг — лошадей-то, как на ярмарке.

— Неудачно приехали, сынок, — огорченно шепнула Глафа. — Очередь-то, видишь, какая, — и, оставив Карюху, пошла в избу, которую звали помолкой.

Федярка слез с воза, выдернул из-под мешка клочок сена, поднес к вздрагивающим губам лошади. Карюха нащупала губами засохший одуванчик, потянула в рот, потом захватила широколистный стебелек осоки... К соседним саням подошли два мужика, один из них — Илья Кропотов, в фартуке с белой вышитой в крестик нагрудкой, достал из-за пазухи бутылку. Шлепнув по ладони донцем, с досадой сказал:

— Не хвали ты мне, шурин, жизнь нынешнюю. Слава богу, недолгий век ей уготован.

— Неужели недолгий? — спросил розовощекий, с курчавой бородкой.

— А ты думал бы как?

— Уж не двинулся ли опять Колчак-то батюшка?

Илька Кропотов утвердительно кивнул головой.

— Отколь?

— Из-под Екатеринбурга попер... От Дубовой горы, — и, налив в чашку самогону, добавил вполголоса: — Прощка Морало писульку такую, слышь, в Ноли прописал. К весне собирается быть...

Услышав о Лаврушкином отце, Федярка насто-рожился.

— И все ты брешешь! — вдруг выпалил он.

— Чего-о? — скосив зеленый глаз на мальчика, спросил Илья Кропотов. — Это ты чей такой грамотный, а?

— Чей — не чей, а знаю. Дед мне пишет. И дядя Егор тоже. Прощке нет сюда дороги. А Колчак твоemu конец... Чу его в хвост и в гриву...

— Да ты, папаха, видать, из комиссарской семьи,

а? — И Кропотов, поднявшись с саней, шагнул к Федярке.

Широко расставив крепкие ноги в белых валенках, разрисованных красными узорами, он прищурил свой зеленоватый глаз и, окинув взглядом лежавший на саях мешок с зерном, дотронулся рукой до Федяркиной папахи.

— Не трожь! — оттолкнул Федярка его ручишу.

— Ты зачем приехал сюда? — спросил Илья.

— Муку молоть.

— А мы, может, еще не дадим тебе молоть-то! Мельница-то знаешь чья? Вона чья! — он хлопнул рукой по вышитой нагрудке. — Я строил с братьями.

— Не клеви, Илья, парня, — заступился розовощекий.

— А они? Они, комиссары, разве нас не клевят? Они, Ветлугины, сколь из меня хлеба выкачали? Выкачали, а теперь на моей же мельнице с меня и гарец лопатой гребут.

— Парнишка в этом не виноватый, Илья Калиныч...

— Не виноват, говоришь? А по мне, шурин, все виноваты — и корни крапивные виноваты, и стебли их, и семена. Дело-то нешуточное заварилось. Попомни, еще расхлебывать нам с тобой долго придется...

7

Ильку Кропота теперь не каждый и узнает. Раньше, когда он был мельником у помещика, ходил Илья в пальто с каракулевым воротником, в городской пирожком шапке, — посмотришь, ни в чем не уступит не только управляющему, но и самому Депрейсу. И вдруг все так круто изменилось. Депрейс бежал вместе со Степановым. Большой дом помещика в Коврижках занял волостной Совет. А мельница как была, так и осталась у Ильки. Когда ночью уезжал Депрейс, наказал Кропоту держаться обеими руками за мельницу, она в любую погоду прокормит его. И прибыль можно получить. Если нельзя молоть для себя — мели для революции, а прибыль — себе. Ты из мужиков вышел, с тебя, как с мужика, и спрос невелик.

Ильке Кропоту и самому не хотелось расставаться с мельницей, он считал, что в нее и его пай заложен, строили-то они вместе с Депрейсом — одного деньга бы-

ли, а другого — смекалка. После того как бежали степановцы, Ильяка притих, сбросил с себя пальто, облачился в мужицкий овчинный полушубок, поверх него натянул фартук с белой нагрудкой и начал молотить — для революции. Засыплет чье-нибудь зерно в ковш, оставит на помощника, а сам в помолку, к мужикам. В помолке — шумно, как в волостном Совете. Тут всегда людей полно, со всех сторон собираются новости, здесь узнают о событиях на фронте, обсуждаются большевистские декреты, завязываются знакомства, вспыхивают споры... Каждому делу свое понятие надо дать, растолковать мужикам, что и как. Ильяка умел это делать лучше, чем кто-либо.

Когда Глафа попросила Ильюку Кропота смолотить мешок зерна, тот ответил:

— Не успеем, товарищ Ветлугина... Ишь, народу сколько, теперь казенное мелем, не до тебя.

— У меня всего и дела-то на полчаса.

— У тебя на полчаса, а у казны советской на неделю. Так что придется отдать предпочтение казне. Раньше бы я тебе, скажем, с полным удовольствием, а теперь не могу. Таков закон новой жизни, не могу нарушить, товарищ Ветлугина...

Смолотить Глафе в этот день так и не удалось.

Оставив мешок в помолке, она поехала домой, по пути нарубила дров, Федярка наломал еловых веток с зеленовато-желтыми, будто позолоченными, литыми шишками.

Вернувшись домой, Федярка заскочил в избу, но ему не сиделось — как-никак надо сбегать к Лаврушке, показать шишки. А может, и отдать ему один из прутиков. Чего жалеть, не купленные, чай, шишки — сам привез из лесу.

— Ведь верно же, маманька, подарю, да и только...

— А он тебе много дарил?

И верно, не дарил. Ничего не дарил. Федярка вспомнил, как в прошлом году Лаврушка гостил у деда, навыврезывал из ивовых прутьев свистулек и стал продавать их ребятишкам. Он тебе свистульку, а ты ему гони тысячу рублей.

Прибежал Федярка домой за тысячей, просит у матери. Жаль стало Глафе сына, пожертвовала целый сверток керенок. Вскоре они, эти керенки, правда, не пошли.

Однако случай этот запомнился Федярке. И Глафа запомнила его.

— Неси, да только не вздумай денег за шишки брать,— строго сказала она сыну.— Это добро недорого тебе досталось, понял?

— Понял, мамань, я так и скажу, что отдаю безденежно, задаром...

— Ничего не надо говорить... И об отце его, Прошке, смотри не булькни. Им ведь тоже небось нелегко это-кое переносить.

Когда Федярка прибежал к Кузовковым, он увидел, как Лаврушкина мать, Настя, сидела на лавке и, уткнувшись в ладони, плакала. Напротив нее сидели Лаврушка и Юлька.

— Чего же ревешь? — говорила Юлька, чуть и сама не плача.— Ведь не умер же он...

— Пусть бы умер — легче на душе было.

Вспомнился рябой мужик с белой нагрудкой, разговор о Прошке, и Федярке вдруг жаль стало плачущую Настасью и молчавшего, будто пришибленного Лаврушку.

— А я тебе шишек принес,— словно желая обрадовать его, сказал Федярка.

— На деньги или так? — отойдя в сторону, шепнул Лаврушка.

— Маманька говорит, только буржуи деньги берут за такие пустяки.

Лаврушка, вспомнив свистульки, потупился: ужели и он вот такой буржуй? И верно, он взял тогда с Федярки, хоть и керенки, но все равно это были деньги.

— Ладно,— согласился Лаврушка.— Ты выкладывай шишки, а я выложу керенки. Пусть все у нас будет общее. Вместе, как в карты, деньгами-то играть будем. Потом и свистулек тебе даровно налажу.

Высокий, худощавый, с чуть опущенной головой, адмирал Колчак неслышно прошелся по просторной комнате своей сибирской штаб-квартиры. Махорочного цвета китель заграничного покроя был ловко пригнан, и если бы не высокие валяные сапоги, сорокапятилетний адмирал выглядел бы совсем бравым и подчеркнуто под-

тянутым, чем-то смахивающим по внешности на англичанина.

Но у адмирала болели ноги.

Взяв со стола папиросы, Колчак по-хозяйски услужливо протянул их гостю.

Степанов, сидевший в кресле, взял папиросу и, поблагодарив адмирала, продолжал рассказывать о постигшей его неудаче на правобережье Вятки. После того как под Шурмой его ранили, он попал в лазарет. Полк, потерявший управление, разлинял: одни из солдат откололись и перешли на сторону красных, другие, добравшись до Казани, влились в белогвардейские части. Теперь, выйдя из лазарета, он разыскал кое-кого из своих, снова решил сколотить отряд и предложить свои услуги белому командованию.

— Победа наша близка, и я не могу сидеть в бездействии, хотя ранение все еще дает себя знать.... Однако отечество требует... — промолвил Степанов.

Колчак молча кивнул ему в ответ и, болезненно морщась от недуга, опустился в кресло, стоявшее напротив.

— Я приветствую ваше намерение, — сказал он. — Теперь все честные люди встают под наше знамя... Но впереди еще много трудностей, а недооценивать силы противника нельзя.

— Да, да, — кивнув головой, согласился Степанов, не сводя глаз с адмирала. — Коммунисты могут удвоить свою армию...

— Без оружия они нам не страшны, — самонадеянно ответил Колчак и, прикурив от спички, бросил ее в тяжелую мраморную пепельницу. — Я слышал, что красные собираются на Вятский плацдарм направить Блюхера... Он немало уже причинил хлопот полковнику Дутову. Однако ничего не может измениться... Весной мы должны покончить с Вяткой.

— Главное, Александр Васильевич, чтоб успеть зацепиться за правый берег до паводка, — заметил Степанов.

— А что из себя представляет правый берег?

— К сожалению, высокий, обрывистый...

— А население? — прервал его Колчак. — Вы ведь к нему имели прямое касательство?

— Преотличнейше знаком, Александр Васильевич, — ответил Степанов. — Хотя меня постигла, как я уже ска-

зал, неудача, но я только сейчас понял, что мы были слишком терпимы к своим противникам. И долго выжидали, дали возможность красным собрать силы...

— Так все же, господин Степанов, скажите, как встретит нас этот правый берег?

— Стоит только зацепиться,— повторил Степанов.— На пути — богатые хлебные уезды. Имущие крестьяне почти целиком на нашей стороне. Водная магистраль на Котельнич, Вятку... К тому же, напрямик — старинный тракт... Словом, на Вятку два пути.

— Не забывайте, есть еще и третий — от Перми по железной дороге,— заметил Колчак и вспомнил генерала Пепеляева, который концентрировал силы на этом участке.— Кстати, на правобережье у вас, наверное, есть много знакомых, а может, даже и друзей?

— Конечно, Александр Васильевич.

— В таком случае, господин Степанов, лучше вам быть в армии генерала Гайды.

— Я к вашим услугам.

— Вот и договорились,— сказал Колчак.— Повторяю, что основной и главный удар по противнику должны нанести мы... То, что Деникин сковывает юг, Польша и Юденич пойдут с запада и северо-запада, англичане будут двигаться по Северной Двине на Котлас — это одно... Но мы, все же не кто иной, а мы, силами Сибирской армии нанесем здесь главный удар. И этот удар должен быть нанесен в первую очередь по треугольнику Пермь — Вятка — Казань.

Колчак притушил в пепельнице папиросу и встал.

— Скажите, вы с Азиным встречались?

— Не было желания.

— А жаль,— заметил Колчак.— То, что он решителен и жесток, я знаю... Но говорят, он очень молод?

— Для командующего дивизией даже слишком,— ответил Степанов.— Ему, кажется, не больше двадцати пяти... Опыта, конечно, у него немного, зато храбрости необыкновенной...

— Ничего, у меня храбрецов своих немало. Пойдем, как здесь говорят, стенка на стенку. У них, мы считаем, сто тысяч штыков и сабель, у меня несколько больше,— и Колчак опять скупое усмехнулся.— Итак, господин Степанов, вы направитесь со своей частью в распоряжение генерала Гайды. Там есть где приложить силы.

Хорошо бы из ваших кой-кого заслатъ на правый берег пораньше.

— Я имею таких людей.

— Вот и прекрасно.

— Спасибо за доверіе,— Степанов встал и, прихрамывая, пошел к выходу.

— Результат ранения? — провожая его, спросил Колчак.

— Это еще старое.

— А я вот... ревматизмом страдаю,— взглянув на свои валяные сапоги, пожаловался Колчак.— Однако теперь не до этого. Кстати, мы с вами раньше нигде не встречались?

— Как же, господин адмирал, встречались.

— При каких обстоятельствах?

— В Петербурге, на одном из приемов... Кажется, в начале семнадцатаго года.

— Да, я тогда приезжал из Одессы...— И Колчак, оглядывая гостя, облаченного в шинель, добавил: — Вот видите как... Через пару лет — и мы снова встретились. Извините, что этот прием оказался достаточно скромным, но вы понимаете, мы заняты делом... Надеюсь, следующая встреча будет другой,— и он опять улыбнулся своей на редкость скупой улыбкой. Степанов тоже было улыбнулся, но в тот же миг увидел в лице адмирала нечто другое: вдруг будто его подменили. Колчак вздрогнул, как-то неестественно вытянулся, на левой порозовевшей щеке дернулась мышца. Стиснув тонкие пальцы в кулак, он начал ими махать перед собой, точно заколачивая гвозди.

— Стрелять! Вешать! Жечь! — бросал он слова с каждым взмахом руки.— Чтоб своевременно состоялась наша встреча, полковник, надлежит нам стать железом. Превратить кости, мышцы, душу свою в бесчувственный кусок железа. Вешать и еще раз вешать! Мы должны расправиться с каждым непокорным, как расправлялись в древнем Риме со Спартакoм. Вспомните, полковник, шесть тысяч восставших там было распято на столбах. Дорога на Москву чем хуже Аппиевой дороги?! Не освобождать от этой милости ни стариков, ни женщин, ни детей! Таков закон военного времени.

— В либерализме, господин командующий, была моя ошибка.

— Ошибаться мы теперь не имеем права, полковник. Мы должны перещеголять римлян. И так же ловко расправиться с русскими спартаковцами, чтоб добиться своей цели! — и, одарив Степанова прежней скупой улыбкой, Колчак протянул ему костистую руку, бросив: — До встречи!

Когда Степанов скрылся за дверью, Колчак проковылял к окну, откинул тяжелую штору — на стеклах виднелись легкие мазки все еще стойко державшейся сибирской зимы.

Чего же удивляться, еще только конец февраля... Так и должно быть. Это не Париж, а Омск. Он вспомнил жену, которая год назад бежала с восьмилетним сыном из Севастополя в Париж. «Пусть там в тепле они переживут это смутное время. А мне, видать, самим господом богом предназначено быть во глубине сибирских руд... И ведь удивительно, как сложилось все. Когда-то был на Таймыре, дважды зимовал на Ново-Сибирских островах... Потом венчался с Софой в Иркутске... И вот — снова судьба бросила в Сибирь, — подумал Колчак. — Хорошо, что еще тут не один... — и он пожалел, что сегодня не удалось повидать ему актрису Тимиреву. — Право же, она хорошая хозяйка и прелестная женщина».

Колчак неслышно прошагал по комнате из угла в угол и, взглянув на полусогнутую карту, лежавшую на столе, остановился. Худое вытянутое лицо его снова стало аскетически строго и непроницаемо.

«Вот он, пятачок, который должен предрешить исход нашей кампании. Этот Степанов, конечно, прав, — главное, вступить в Верховья Вятки и до весеннего паводка зацепиться за правый ее берег. Ну, что же, так оно и должно... Сомнений в успехе кампании не может быть. У красных немногим больше сотни тысяч солдат в опорках и лаптях. У меня четыреста... четыреста тысяч штыков и сабель. У них полторы тысячи пулеметов, у меня свыше трех. У них от силы триста орудий, у меня — шестьсот новых...»

Адмирал скупой усмехнулся.

«Надо начинать... Скорей бы развязка», — нетерпеливо думал он и, взяв со стола маленькую иконку в голубом футляре — благословение омского епископа Сильвестра, — пристально посмотрел в истомленный и жалостливый лик.

«Помоги мне, господи», — прошептал он и, осторожно закрыв футляр, положил иконку под подушку, рядом с револьвером.

Наступил март девятнадцатого года. Он был, как и всегда в этих краях, с морозными стойкими утрениками, пышными, слегка подсиненными небесной голубизной снегами, гулками, до звона в ушах, дорогами.

Рано утром четвертого марта две армии Колчака — Сибирская и Западная — снялись со стоянок и перешли в контрнаступление в центре и на левом фланге Восточного фронта.

Сибирская армия генерала Гайды, как считал Колчак, была на самом важном участке фронта. Она и должна была нанести главный удар по красным. Одним из первых этот удар приняла на себя 28-я дивизия Азина. Расположившись вдоль тракта Викбардинский завод — Оса, азинцы несколько дней упорно обороняли железную дорогу Казань — Екатеринбург, прикрывая путь, идущий на город Осу и Воткинский завод. Но силы были неравны.

Отходя с тяжелыми боями, красные оставляли один населенный пункт за другим. Через месяц враг уже захватил Сарапул, Ижевск, белые подошли к Балезину. Шли ожесточенные бои за станцию Сюгинскую.

Колчак, двигаясь поездом, торжествовал: вот-вот он и на правом берегу реки, а там — Вятка, и путь на Москву открыт.

По Казанскому тракту, обсаженному с двух сторон древними березами с подсыхающими уродливыми сучьями, к городу Вятке потянулись беженцы. Вначале они шли в одиночку или небольшими группами, но когда белые стали подходить к реке, хлынула людская волна. С узлами за плечами тащились женщины с детьми, эвакуировались в глубь тыла лазареты, по расползавшимся от апрельского солнца дорогам везли раненых. А тракт Казанский с Ржаным Полоем почти что рядом. В деревне теперь только об этом и разговор — опять началась беспокойная, тревожная жизнь. Того и гляди колчаки придут, а они, как рассказывают беженцы, будут страшнее и степановцев. Рассказывали, что эти колчаки

живых людей в землю закапывают, деревни дотла сжигают... Шли с беженцами вести — одна страшной другой.

Федярке дома не сиделось. Натянув на валенки дедушкины кожаные бахары, похожие на большие галоши, он выбегал к дороге и часами простаивал на обочине, смотря на странное переселение людей. «Откуда их столько взялось?» — думал Федярка.

А люди все шли и шли... Вот две бабы за холщовые лямки, надетые на плечи, тащат санки — на них лежит какое-то тряпье, а на тряпье — девочка лет трех. Она укутана вся и сидит спокойно, как кукла. За санками бежит мальчишка, такой же ростом, как и он, Федярка, может, чуть побольше. Он, должно быть, в отцовском полушубке — полушубок длинноват, и рукава, как две трубы, болтаются ниже коленей.

— До Уржумей далеко ли тут, а? — поравнявшись с Федяркой, тонкоголосо и деловито спросил мальчишка.

— Не так чтоб так...

Мальчишка вряд ли понял, далеко ли еще надо идти, но не обернулся, ему некогда, он по-прежнему месит своими лапотцами бурый, перемолотый ногами и конскими копытами крупчатый снег. За мальчишкой следом бредут тоже в лаптях три женщины, за плечами у каждой по огромному холщовому мешку. Одна из них, отстав, тянет за руку мальчонку. Этот, видать, совсем еще мал и что-то хнычет себе под нос.

Из-за поворота, там, где стоит в ряду с березами старинная сосна, показались подводы. «Лошадей-то сколь — и не сосчитать! Вдруг и Пегашку своего увижу... Увижу — и крикну: — Стой, это наш Пегашка, маманькин!»

Впереди идет высокая вороная лошадь с белыми лохматыми бабками. На ней новенький хомут и расписанная цветами дуга, с золотыми буквами по концам. В кошевке сидит мужик с бородкой, рядом с ним два мальчика, одежда у них рваная, в руках по ломтю хлеба — должно быть, мужик посадил их и угощает хлебом. За первой движется вторая. На розвальнях навалом лежат мешки, возница идет за санями пешком. Несколько подвод везут коровьи туши, ободранные ноги с обрубленными копытами торчат вверх, как розовые столбики.

Всматривается Федярка в лошадей, и все не те, — вороные, рыжие, карие, всякие, а пегой — ни одной. Может, такой лошади, какая была у них с дедом, и во всем мире больше нет? Может, самый главный степаху взял ее и, как прежний царь, катается теперь в седле к своим колчакам в гости? Чего же ему не кататься — Пегашка лошадь разумная, не лягучая, стоящая.

А подводы тянутся и тянутся. Вон на розвальнях лежит человек с повязкой на голове. Рядом с ним сидит девушка в белом платке. На других санях тоже люди лежат. И костыли у них из-под сена видать. Эти наверняка лазаретчики...

Наконец кончились подводы, и снова потянулись пешие. Идут и идут... С санками. . С мешками... С ребятишками... С корзинами... Усталые, измученные, злые...

«А вдруг и нам с маманькой придется вот так идти? Только вот Лаврушка не пойдет, он говорит, что возьмет ружье дедово и убежит на фронт к красному командиру. Ему легко так говорить, его отпустят, а мне маманьке надо помогать. Маманька-то одна у меня... Другое бы дело, если б дедушка дома был. А он тоже на фронте».

Из-за поворота опять показались люди. Поравнявшись с Федяркой, один из них остановился, окликнул его, спросил, как пройти в тутошние Полои.

— Ржаные-то? — переспросил Федярка. — Если в Ржаные, так эвон они, наши-то Ржаные Полои, неподалеку, за леском лыковым, — и, взглянув на длинноногого в короткой шинели, спросил: — А вам кого тут надо?

— Знакомого одного разыскиваю.

— Вы, случаем, не от дяди Егора?

— Нет, а что? — остановившись, уставился тот на Федярку. — Кто такой этот Егор?

— Да это такой, знакомый тоже, — уклончиво ответил Федярка, вспомнив, что о дяде Егоре говорить ему не велено. — Я и сам не знаю, кто он...

— А Алексея Даниловича знаешь?

— Нет, не знаю, — и Федярка взглянул на зеленый картуз с круглой, как белая пуговица, кокардой. На кокарде-то красный крестик, точь-в-точь, как у сестер милосердия на белых платках.

— А ты, дядь, лазарецкий тоже? А не раненый почему?

— А зачем мне раненому быть — я лекарь, — и, помолчав, опять спросил об Алексее Даниловиче.

— У нас Даниловичей нет, — стоял на своем Федярка.

Но как только длинноногий с белой кокардой во лбу напомнил, что у этого Даниловича должна быть дочь Настасья, Федярка оживился:

— Так это же Алешка — тоненькие ножки! — и, сорвавшись, побежал указывать его дом.

Когда военный с белой кокардой вошел в избу, Кузовков сидел на лавке и, облокотясь о край стола, зачищал ложкой в блюде.

— Хлеб да соль, — приподняв фуражку с кокардой, поздоровался вошедший.

— Спасибо, — нетерпеливо ответил хозяин.

«Раньше бы сказал — милости, мол, просим за стол, а теперь: ем, да свой. Мало ли всяких ходит ныне охотников до чужого каравая, всех не накормишь».

Гость тем временем достал из кармана бумагу и, показав ее хозяину, потребовал подводу до Нолинска.

— Таковой подводы у меня нет, дорогой товарищ фельшер, — ответил Кузовков. — На лошади моей уехали ныне ваши же...

— Тогда прошу посодействовать, — и, окинув взглядом большую избу с перегородкой и убедившись, что в ней, кроме хозяина, никого нет, спросил: — Как живете-то здесь?

— Какое там житье... Война-то скоро ли кончится?

— Война? Поднимай руки вверх — и все!

— Как так руки?

— А чего тут ждать? Сила и солому ломит. Вот поклон вам привез от зятя...

— Какого зятя?

— Как какого? Прохора Фокеича.

— А-а, спасибо, — и, повернувшись, Кузовков почувствовал: в груди вдруг стало мало воздуха.

— Не волнуйтесь, жив, здоров, того и вам желает, — продолжал фельдшер и, снова оглянувшись, добавил уже тише: — По такому случаю для начала поговорить бы надо. Один в дому-то?

— Один, один...

— Теперь вы, очевидно, поняли где ваш зять? В могущественной армии Колчака, правителя всея Руси...

— Ну, нет,— сухо ответил старик, все больше чувствуя, что ему не хватает воздуха.

Он встал и только хотел шагнуть к перегородке, где лежали березовые поленья, как фельдшер движением руки остановил его.

— Отчего же нет? Зять твой у нас. Стоит сказать об этом красным — завтра же тебя вздернут на первую березу. Так что, Алексей Данилович, лучше подальше от греха. Лучше расскажи, кто тут есть из коммунистов?

— Нет, дорогой товарищ, таковых...

— Не финти, папаша.— Фельдшер, откинув полушинели, пошарил около пояса.— Вы теперь в моих руках, и я попрошу вас сказать, кто тут есть из красных, из комиссаровых семей кто?

— Да никого нету,— болезненно скривив лицо, ответил Кузовков.— Место темное, какие тут комиссары?

— Ну, вот что, папаша,— фельдшер выдернул из кармана толстую тетрадку в потертой матерчатой обложке и потряс ею: — Вот тут все ваши... Теперь придется вписать и тебя, как пособника красных. Тогда пеняй уж на себя, тогда и зятек не поможет... Брат на брата идет теперь. Так что можешь уже себя помянуть за упокой,— и, повернувшись, он хотел было уходить, как вдруг произошло нечто непредвиденное.

Лежавший на полатах и слышавший весь разговор Лаврушка вдруг перемахнул через брус и в тот же миг повис на костистых плечах фельдшера. Тот пошатнулся, уцепился за наган, но его руку цепко перехватил сам Алешка — тоненькие ножки.

— Вон отсель, гад! — подмяв его по себя, крикнул он что есть мочи.

Когда Кузовков с помощью внука вытолкнул непрошеного гостя в сени и вернулся обратно, тяжело дыша и отплевываясь, он вдруг почувствовал, как что-то у него обжигающе засадило в левом боку. Запустив под рубаху руку, он провел ею по телу — и оторопел: липкая теплая кровь свела его пальцы.

Вторую неделю Кузовков лежал в постели. Лицом и так худой, тут еще больше похудел. Нос заострился, реденькая бородка начала сесть. Местный лекарь ска-

зал, что удачно еще получилось: пуля прошла мягкую ткань и не задела ни сердца, ни легких. А задела бы сердце или другое что — совсем бы плохо было. Тогда бы и с постели не встать...

И ведь вроде ничего он не слышал, ни выстрела, даже хлопка, а так себе, будто комар укусил да обожгло в боку вроде.

— И это может быть,— пояснил старику местный лекарь.— Пистолы, знать, такие иностранцы изобрели бесхлопковые.

— Ай-яй-яй, до чего же додумались, стервецы,— сокрушался Кузовков.— Говорят, ведь ближний был, из Нолей...

— Разыщут,— успокаивал лекарь.

— Да кто его будет искать в такую пору? Ишь, как ходко Колчака-то жмет, рассказывают, всех на пути расстреливает, гад. Потому и на тракту шпиен на шпиене... Выведает и доложат, куда следует. А там и виселица рядом.

Когда уходил к себе лекарь, в доме снова затихало. Даже Лаврушка с Юлькой, сняв у порога свои обутики, на цыпочках ходили по полу. Лаврушка больше всех опасался за здоровье деда, помедлить бы Лаврушке на полатах, может, и не приключилось бы этакой беды. Но кто бы утерпел: пришел ведь он, шпиен, в чужой дом да и начал угрожать. Да такого самого живьем стрелять надо.

Вместе с Федярой и Юлькой Лаврушка каждый день бегал в лес за березовицей, поил деда красновато-лиловым соком. Сказывали старые люди, от сока березового все раны изнутри заживают, наверху остается только одна царапина. Так сказал ребятам и сам Кузовков. И наказал сок добывать в полыйском лесу, за логом, а не от тех берез, что на тракту. На тракту березы суходольные, они еще царицей Катькой в старом веку сажены, в тех деревьях, что силком посажены, какой толк — слезы в них человечьи с тех пор текут, и только...

И ребятишки слушались, бегали за соком в полыйский надел. Хоть раньше и ругали за порчу деревьев мужики, но сейчас другое дело, сейчас сок для поправки человека нужен. Да и мужиков-то в деревне раз-два, и обчелся — некому ругать.

Пропустит старик вовнутрь несколько глотков сладковатого соку и скажет:

— Не доверяйтесь всем-то. Такое время нынь недоверчивое. Шпиен-то, он ошибся: брат на брата, слышь, пошел... Того гляди, и отец на сына пойдет аль сын на отца...

— Подожди, это же и у нас будет,— вступила в разговор Настя.— Вот придет мой леший-то, чего он скажет нам с Лаврушкой?

— Да врет он, шпиен, все врет... Разве твой Проха рыскнет к Колчаку? Пристроился где-нибудь в деревне да и катает валенки. Проха твой тихое место любит...

— Ти-хо-е,— с горькой досадой тянет дочь.— Тихое-то его, лешего, куда увело? В Нолях-то комиссара того поймал он, подлец. А комиссар-то разве ему, ухвату, чета был...

Сжимая кулаки, Лаврушка выбегал в сени, поднимался на поветку, валился на солому и плакал. От горя и стыда плакал он, вспоминая недобрые дела отца. Недобрый он был и для него, не ласковый, чужой. Жил тихо, по-паучьи... И ухватка у него была паучья. Крутится и все будто плетет тенета. Низенький сам, сутулый, ноги, как маманя говорит, ухватиком, и руки тоже — локтями наружу. Подростком учился катать валенки, оттого и лицо землистое у него, испитое. Но с валяным ремеслом не получилось — тут силенки нужны, — и пристроился тогда он к церкви, сначала сторожем в усыпалку, потом и на колокольню взобрался... И как взобрался, стал говорить: «Вот эта работа по мне». И Лаврушку с собой начал вверх таскать. Приведет его на колокольню, толкнет в сторонку, а сам расставит ноги-ухватки да возьмет веревки, в каждую руку по две — настоящий паук, — и давай названивать обедню. Позвонит, достанет кисет с табаком и скажет:

— Учись, помощником будешь. И сам на любую церковь встанешь. Все колокола в округе в наших руках будут...

Но тут увидел Лаврушка, как вместе со степановцами отец у горящего военкомата ловил комиссара. Потом видели, вел он по улице нолинской босого комиссара того, а сам был в его, комиссаровых, сапогах. А потом будто бы куда-то упрятал этого комиссара...

И когда мать переехала в деревню, Лаврушка сказал: «Будем жить у деда. И Нолей не надо, и никаких к черту колоколов...»

Так и теперь — лежал он и думал. Все равно он больше не поедет в Нолинск. Будет жить здесь с дедом. Пахать с ним землю. Набивать снегом погреб. Бегать за березовицей в полойский надел — все, все будет делать, только не там...

После того как ранили деда, он еще больше насторожился, как-то сразу повзрослел. Он вдруг почувствовал к людям, идущим и едущим по тракту, не сожаление, а неприязнь. «Кто эти люди? — задавал он себе вопрос. — Ну, хорошо, идут бабы с ребятишками, а мужики, вроде того, что с белой кокардой? Зачем они-то идут?»

Когда забегал к нему Федярка и звал на тракт к безрезам, Лаврушка отмахивался:

— А чего там делать? Хороший человек воевать будет, окопы рыть... Будь я там — не пошел бы, в землю зарылся, а не отступил...

— И я бы тоже...

— Ты, ты чего, ты еще ничего не знаешь, — как взрослый, говорил Лаврушка.

— Знаю, все знаю, — сердился Федярка.

Лицо у Федярки в эту минуту как бы застывало, оно и так было некрасивое, широкое, с медным отливом, а сейчас совсем походило на поджаристую гороховую ватрушку. На ватрушке этой — короткий нос с широко раздутыми ноздрями, уши оттопырены. Мать не раз говорила ему, чтоб он уши прятал под шапку, может, и припадут, не будут топорщиться. Но Федярка возражал:

— Чего я услышу, если в шапку их запрячу?

Только волосы у него были красивые, Глафины волосы: пепельно-темные, мягкие и от висков немного вились. Нацепит, бывало, мать на палец их и скажет: «Хоть варежки из них вяжи, до того тонки и мягки». Мать радовалась: волосы мягкие — значит, сын будет добрый, ласковый.

А ласки Глафа за всю жизнь не видела. Она хотела этой ласки, но ее не было ни в детстве, ни тем более теперь, хоть бы от сына, что ли, получить этой ласки чуточку...

Вернувшись от Лаврушки, Федярка — сразу к дяде: в избе ихней на самом видном месте в простенке под

расшитым полотенцем повешена фотография дяди Егора. Дядя Егор стоял на карточке в военной форме. На боку — кобура с наганом, правой рукой держит шашку за эфес.

Не спуская глаз с фотографии, Федярка подолгу смотрел в дядино лицо — строгое и в то же время доброе, разглядывал ремни на груди, кобуру, шашку.

«Вот это человек! — и не по-детски вздыхал: — Годов-то мне маловато...»

11

Однажды ночью к Ветлугину заехал какой-то гость. Федярка выглянул из-под одеяла: гость этот, как дядя — комиссар, в серой папаше, широкоплечий, по тужурке крест-накрест ремни, на поясу револьвер... Глазки у него маленькие, зоркие — все видят. И говорит по-командирски, скажет как отрубит. Прислушался Федярка, гость рассказывает деду, что белые уже совсем близко, в двадцати верстах от Уржума, и что они уже сбили красные кавалерийские части на левом берегу в реку. Хорошо, ледоход им помешал, не ледоход бы — бесяки тут как тут были...

Жутко сделалось Федярке, нырнул под одеяло было, но снова высунул голову — интересно, что дальше-то скажет командир.

А командир в ремнях желтых рассказывал и рассказывал о войсках, о пристанях, о беженцах...

— Так как же это будет, товарищ Сормах? — спросил наконец дед.

— А так и будет, что надо за оружие браться, — ответил Сормах. — Зимой мы распустили в Уржуме дружину, думали степановцев прогнали — и все тут. Но вслед за степановцами да белочехами Колчака надо гнать.

— Придется, — согласился дед. — И куда вы отряд свой двинете? На какие позиции?

— На левый берег пойдем, к Кильмези.

Тут уж Федярка совсем высунулся, лежит и глаза с Сормаха не сводит: о нем он тоже кое-что слышал. Ведь это он Федьку Вершинина из зеленой банды живым схватил. Верток тот бандит был, а Сормах еще ловчее. Потому — командир.

— Вот смотри, — Сормах встал, достал из кармана какую-то бумагу, развернул ее на столе и, растопыри-

ладонь, продолжал рассказывать: — Смотри вот на план. Елабужцы тут отступали. Мы сказали: хватит! Их бросим на Медведок, чтоб преградить путь врагу на Нолинск. А сами кинемся на Русский Турек. В Туреке у мужиков лодок много. Реквизируем. Переправимся тихонько за реку. Отбросим врага за реку Кильмезь.

— Надо отбросить, надо... Только трудное это дело, в ледоход-то.

— А разве, Евлампий, сладче будет, когда колчаковцы появятся и вырезать у тебя из спины ремни начнут?

— Какое уж сладше... В колодцы, слышь, людей живьем бросают, гады.

— Все делают... как звери...

— Ну, а Вятка-то что думает? Копошиться аль как?

— В Вятку приехал сам Блюхер.

— Блюхер? Это чего такое, опять какой-нибудь немецкий фон-барон.

Сормах опустился на стул, засмеялся мелким звонким, как у девушки, голоском.

— Не первый раз меня спрашивают об этом фон-бароне.

— А как же, надо знать, кто нами командует...

— Этот Блюхер другой, без фон-баронства. Тут у него, как и у меня, с фамилией закорючка произошла. У меня ведь Махалов-то прозвище было... Да так ко мне и прилипло... А кто Блюхер? Русский он, потому и Василий Константинович. Сказывают, будто дед его или прадед сильно храбрый был. При Суворове еще служил. Вернулся домой в орденах и медалях. Встретил будто бы его помещик, тоже в чине военном был, и ахнул: «Ах, какой ты, говорит, видный, форменный фельдмаршал Блюхер». Народ подхватил это, так и осталась за ним эта немецкая фамилия.

— Вон как, ну это еще ничего. Русские фельдмаршалы всегда лучше немецких. Значит, наш...

— Блюхер послан к нам в Вятку самим Лениным. Потому шибко храбрый человек Василий-то Константинович. Он первым «Красное Знамя» получил. Орден такой. Потому отряд его большой переход совершил по тылам противника. Говорят, этот переход можно только сравнить с переходом Суворова в Швейцарии.

— Эвон какой орел. Такому верить надо.

— В дедов своих пошел, в дедов... И вот он развер-

пул окрест Вятки и Слободского фортификационные работы. Укрепрайон тут, чтоб не пустить противника на север.

— Как же без фортификации. Бывало, на позиции-то как...

— Я вот, товарищ Ветлугин, к вам за живым пополнением: людей надо стойких, лошадей, повозки подходящие...

— Найдем все, но поговорить надо с людьми, посоветоваться. А что касается фортификации, это правильно... С утра начнем...

«Фортикация,— шептал Федярка, засыная.— Жаль, годков-то мне маловато...»

12

Теперь через день да каждый день в Ржаном Полое собрания. И мальчишки тут же: на печь заберутся, на полати — и слушают-выслушивают. Ушли из деревни молодые мужики за Сормахом, остались старики да бабы. «Да годков-то и впрямь мне маловато», — вслушиваясь в разговор, с сожалением думал Федярка.

Он лежал на полатах и, поглядывая на взрослых, чинно рассевшихся по лавкам, завидовал им. А взрослых в избе собралось много. От каждого дома пришло по человеку, а то и по двое — теперь каждый день какая-нибудь разнарядка: то хлеб собирают, то скотину надо гнать на убой, то подвод требуют. Не придешь — больше ношу тащить придется.

А тут еще приехал из Уржума Ложенцов, говорят, самый главный, вон он сидит за столом в кожанке, с русской бородкой. Как только он ступил в избу, Федярка сразу узнал его по бороде — это тот самый, которого он как-то видел на тракту в кошевке с мальчишками. Здесь его зовут по-домашнему — Никитичем, а кое-кто и председателем величает.

На другой лавке, у стола, сидит дед Евлампий. Он недавно вернулся с позиции, и потому все считают его самым бывалым человеком. Вернулся он по болезни — опять дала знать себя грыжа, а то бы дед никак позиции той не оставил.

«Позиция» — сейчас в доме самое ходовое слово, да и в деревне тоже. Чуть чего, дед кричит внуку: «Лезь

на полати — там твоя позиция». Здесь, на полатах, позиция и впрямь самая выгодная: лежит Федярка на животе, положив под подбородок руки, и всех тут видит.

На передней лавке с дедом по праву сидят только старики, — и каждый свое место помнит. Рядом с дедом всегда садился Алешка — тоненькие ножки, теперь его место занял Гавря Прялка — бородатый, молчаливый старик. Сидит он, пригнув голову к коленям, и беспрестанно тянет трубку. Бабы прядут куделю, а Гавря — табак, оттого его и зовут Прялкой. У ног его стоит чурбак, на чурбаке — жестяная банка с табаком, тут же лежит крышка от банки. На крышку он вытряхивает пепел из трубки, а потом ссыпает его в банку. Придет домой, и пепел тот на свой огород вытряхивает. Прялка такой — каждую коровью лепешку с земли подберет. Был, говорят, даже вот какой случай. Поехал Прялка в лес за дровами, и тут дорогой его прижало. Он, не раздумывая, повернул обратно домой, освободился — и снова в лес.

Возле Прялки сидит Ваня Ванин, высокий, бородатый. Борода у него окладистая, седая, как у Николая Чудотворца. Но несмотря на святую бороду, любит он о праздниках попеть песни. Выпьет рюмаху-другую и начинает:

Бывали дни веселые,
Гулял я, молодец...

Поэтому, может, Федярке и кажется, что все боги, которые сидят в углу на божнице, песельники, как и Ваня-чудотворец.

Рядом с Ваней бочком пристроился Фанашка. Большие, натруженные, как у всех в мире кузнецов, руки лежат на коленях, они у него темные, с ссадинами, прожированные какими-то маслами.

Вот и вся передняя лавка.

Возле деревянной перегородки с цветными разводами (нарисованы тут диковинные растения с яблоками) поставлена торцом к лавке скамья. Ее втаскивают сюда из сеней только на время собрания. На ней сидят женщины. С краю примостилась тетка Анкудиновна, сухонькая, не в меру говорливая старушка. Рядом — Дарья Макуха, дородная, степенная. У нее четыре сына в армии. Говорит она редко, но метко, чуть чего — любому язык обрежет. Возле Макухи — простоволосая

Феня в распахнутом дубленом полушубке. За Феней, привалившись стриженным затылком к скамье, на полу — губастый Петруня. Он любит сидеть на полу, ему в своем бараньем кафтане жарко. Длинные ноги в белых валенках с красными пятнышками на голенищах (это он сам их так клюквой разрисовал) вытянуты на середину избы, и если кому надо пройти, перешагивают через них. Он тоже курит много, курит и вертит сигарку, вертит и курит. На собраниях соседи уже привыкли смотреть на Петрунины ноги, в любых обутках они их видали, но сегодня он и впрямь удивил всех своими валенками.

— Смотри-ка, Петруня, валенки-то у тебя как у прежнего царя Миколая,— не утерпев, заметила тетка Анкудиновна.

— Неуж царь в валенках ходит?

— Не ходит, а ходил,— не отрываясь от своих бумаг, уточняет Никитыч и тут же поясняет: — Запомните накрепко. Кровавого Николая больше в живности нет и не будет...

— Валенки только остались,— усмехнулся кто-то в углу у порога.

— Не в валенках он ходил, а в сапогах, Анкудиновна, потому сортиры у него в покоях теплые были.

— На улицу-то выходил все же?

— Не выходил, валенки жалел,— опять бросил кто-то из угла.

Под полатами — свой мир. Там собираются больше молодые, шутники и острословы. Оттуда, из-под полатей, любят подбросить какой-нибудь каверзный вопросик, шуточку-прибауточку, острое словцо. Конечно, подбрасывают не Никитычу — его стесняются, он недалкий, всех тут наперечет знает. Но и Никитыч стоит настороже: шутка шутке рознь. Она, шутка-то, ныне политической начинена.

Изба десятского как бы делится надвое: официальную часть — это там, где Петруня разместился с пятнистыми валенками, и вторую, где Пряхина невестка рассказывает свои бывальщинки.

— Ну, раскинула цыганка те карты, а дальше, дальше как? — слышит Федярка из-под полатей нетерпеливый бабий вопрос и тотчас же меняет свою позицию — тут, кажется, интереснее.

— Цыганка и говорит: придет, мол, твой король. Голько кусочек мяса дай.

— Ишь ты, цыганка, а тоже мясо любит...

— Пошла я, бабоньки, в погреб, спустилась в яму, а она — хлоп — и накрыла западней. Я криком кричу: открой! А она мне — давай, мол, пять кусков. Не дашь — заживо захороную, я сербская, дескать, цыганка.

— Сербские, они, бабоньки, все могут...

— И отдала, Аннушка?

— А куда же денешься?

— Ой-ей-ей, — завздыхали бабы.

— Полпоросенка, поди, отсадила?

— За короля и поросенка не жалко, — и мужской голос с «подковыркой» накрыл дружный хохот.

Но тут из официальной части избы слышался голос деда:

— Бабы под полатями, меняй позицию: дело поважнее есть.

В обеих половинах стихло.

Федярка переметнулся на другой край полатей, ему не хочется пропустить ни одного слова Никитича.

— Передыху нам мало дали, товарищи, — сказал сухо Ложенцов. — Зимой крепко поддали мы в зад Колчаку, а он тем временем оправился и всю Сибирь поставил под свое ружье. Сарапул, видите, захватил, Ижевск, оружейный Воткинский завод... На севере у нас три волости оттяпал, дьявол, занял Песковку с Залазной...

— Это где такая?

— Горнорудный район.

— Держать надо горнорудный, держать, — вскочил Петруня.

— Опоздал, Колчак уже проглотил.

Петруня потоптался на середине избы и, выдохнув устало «отобъем», опустился на пол.

— Лыжников туда послали, товарищи, экспедиционный отряд лыжников.

— Ты, товарищ Микитич, расскажи нам не о Песковке — та далеко, не в нашем Уржумском краю, а вот тут, под боком, что делается? — спросил гнусаво Гавря. — Нет ли тут угрозы самим нам, аль спокойно, говоришь?

— Газеты надо читать, Гаврила.

— Читаю, Фанаил, да мало, видать, стар глазами.

— Тут, товарищи, сурьезное дело тоже. Даже боль-

ше чем сурьезное. Отборные войска генерала Гайды вклинились тут между второй и третьей нашими армиями и, чу, обседлали реку Кильмезь.

— Эвон как... Так чего же такое, мы-то чего молчим? — кинул Евлаха.

— А молчим до поры до времени,— продолжал спокойно Ложенцов.— А теперь все молчанье отбросим, потому противник в двадцати верстах от нас.

— Ну-у-у?! — удивилась изба, больше всего бабы.

В этом дружном вздохе было не столько удивления, сколько тревоги, тревога, вдруг схватившая всех за сердце: «в двадцати верстах, гад ползучий, а может, теперь и того ближе, кто знает...»

— Река не пустит...

— Может, и впрямь река упрется.

— Заберут Колчаки у мужиков лодки — форсируют.

— Конечно, форсанут..

— Ну-у-у...

— Слухай, бабы...

— Читаю приказ по Пятой армии, это относится и к нам,— Ложенцов встал.— «Противник, пользуясь временным превосходством сил, потеснил нас».

— Ловко потеснил — в двадцати верстах от моей бани уж, а може ближе, а мы все «потеснил»...

— Бабы-ы...

— «...Армия, отбиваясь, шаг за шагом, отошла на позиции к Глазову. Весенняя распутица на время приостановила крупные боевые действия. Уже несколько дней на фронте спокойно. Многие части выведены в резерв. Мы выиграли время. Уже подходят подкрепления и пополнения. Все командиры, не теряя минуты, должны энергично работать по сколачиванию частей, по выучке их к наступательным действиям. В ближайшие дни армия должна перейти в решительное наступление, дабы предупредить противника, разбить его и тем надежно прикрыть подступы к г. Вятке и открыть дорогу к Перми».

— Эвон как?!

— Бабоньки... едрена-мать...

— «...Солдаты! Вы должны помнить, что все запасы находятся впереди, армия должна отобрать их у противника, чтобы накормить себя и уделить часть голодным рабочим больших городов».

— Опять все им...

— «...Солдаты! Суровая необходимость требует настойчивости от вас и жесткости от командиров. Всякий подвиг и мужество будут награждены. Трусость и подлость будут жестоко караться».

Ложенцов снял с носа очки с медными дужками, обвел взглядом присутствующих.

— Награждены будете, говорю,— подтвердил он для ясности.

— Ты скажи, гражданин-товарищ Ложенцов, чего надо от нас, от деревни нашей,— вклинился Петруня, привскочил.

— Сейчас скажу. А приказ я вам прочитал, граждане, чтоб вы уяснили, в какой обстановке мы переживаем эпоху... А теперь сверну сразу к делу и напрямиком... Мы отдали распоряжение нашему герою товарищу Сормаху снова поднимать боевую дружину в поход, как поднимали ее супротив Степанова. Ну и окопы рыть.

— Без окопов нельзя, братцы.

— Молодых в дружину, а стариков да баб на окопы, так я понимаю? — спросил дымивший все собрание дотошный Гавря.

— А винтовки где?

— Свои ружья прихватить.

— Так ведь, товарищ Ложенцов, у нас они не на Колчаков заряжены, а на белок... Дробью Колчака не пробьешь.

— По голой заднице всыплем — побежит.

— Хо-ха-ха...

— Бабы... Анкудиновна...

— Картечи прихватим, те дельнее.

— Правильно мыслите.— Никитич неспешно взял очки и, натянув их на нос, снова начал рассказывать об обстановке.

Говорит он неторопливо, по-хозяйски уверенно, тут уже не до смеху — окопы надо рыть. Взмахивает он рукой, грозитя Колчаку, потом подносит к глазам бумагу и читает список: из какой семьи и кто должен пойти на строительство оборонительной линии.

— А вот тут, Алексей Микитич, неравноправно вроде получается,— начал, чуть волнуясь, Ваня-чудотворец.— От его, скажем, от Федора,— человек и от меня — человек. А у него семья в три раза, может, люднее моей.

— Ну, и чего ты возражаешь? — вдруг вступилась за список Макуха. — У меня все сыны на фронте, так, по-твоему, тоже некого посылать?

И все видят, что песенка Вани-чудотворца спета. Но Никитич все же спрашивает:

— Ну, как?

— Чего тут, запевай, Ваня, «Бывали дни веселые» — и на окопы, — летит из-под полатей чей-то смешок.

— Тут другое учесть надо, товарищ Ложенцов, — сказала по-прежнему серьезно Макуха. — Настасья тут намечена, Алешкина дочь. А Алексей Кузовков, сами знаете, пострадал за Советскую власть. Как она отлучится от больного?

— Парень есть, пусть с Алехой парень посидит.

— Парень? Чего он, немного больше Федярки, — стояла на своем Макуха. — Лучше я две нормы вырою, чем хозяйку от больного старика тащить.

Никитич склонился над столом, что-то записал и, подняв на лоб очки, глянул под полаты, где разгорелся подозрительный шумок.

— Учтите, ржанополойцы, я вам нормы никоим образом не снижаю. Скажем, надлежит вырыть столько-то погонных метров — и вырой...

— На душу-то сколь приходится?

— Там скажут, Анкудиновна, сколько, — ответил Ложенцов. — Там теперь командиры по всему берегу. Поэтому и время не надо тянуть, завтра чуть свет чтоб там быть... Дело, учтите, военное. Колчак вот-вот вплотную к Вятке подойдет. Разведка донесла, что кое-какие части уже к Кильмези прорвались...

— К Кильмези?

— А вы думали как? Думали, зря на окопы вас посылаю? Пока река стоит, противник постарается форсировать ее, зацепиться за правый берег Вятки. А правый берег, товарищи, нам отдавать никак нельзя. Любой ценой его надо удержать.

— Так-то оно так, Микитич, только силы-то у наших каковы? — спросил кто-то из-под полатей. — Пермь, говорят, почти без бою отдали... Теперь вот Ижевск... Чего там наши-то топчут?

— Наши — ваши, — посуровел взглядом Ложенцов. — Ты что там, Фома неверующий? Ну, оставили, скажем, город, ну, отошли на новые позиции... Так надо ж

понять, почему мы отошли на эти позиции!.. В этом комиссия ЦК разбиралась... Полмильена не просто удержать.

— И не удержать.

— А надо! — Ложенцов сжал кулак и хлопнул им по столу, словно забил гвоздь. — Надо удержать, товарищи, — повторил он. — Теперь не только мы — сама Вятка будет воевать вместе с нами. Понимаете — река Вятка! Правый берег!

— Вятка, она, конечно, всем рекам matka, — согласился Прялка. — За Вятку каждый должен заступиться.

— Укрепим правый берег — победим врага. Не укрепим — считай, пропало, так я думаю, — подытожил Ложенцов и двумя пальцами разгладил топорщившиеся рыжеватые усы.

— Пиши поверх всего меня с девкой, — послышалось опять из угла.

— Это кто там говорит?

— Фома неверующий, — послышалось в ответ.

Все снова засмеялись.

— Фома-то Фома, да Колчак не Крема, он, Колчак, видишь, за воротки берет. Полмильена, гляди, насобирал. А мы разве беднее будем? — и вдруг Фома неверующий вышел из угла на середку избы — седой, широкоплечий, рукастый. — Ты вот что, председатель уезда, усмотри. Мы вот посылаем людей туда-сюда. И по мобилизации, и добровольно, и вот, как сейчас, по разнарядке. А оттуда сколь трактом обратно бежит? Иметь их надо, шпиенов да мешочников. Заставу около берез установить, — и, разбросив длинные руки в стороны, Фома шагнул под полати, к себе в угол.

— Это мы установим, — пообещал Ложенцов. — Никто не уйдет от карающей пролетарской руки.

— А ведь удрал вон шпиен-то, тот, что на Алексея револьвер поднял.

— Так и не нашли? — покачала головой Анкудиновна.

— Опытный вор задами ходит.

— Из Нолинска, сказывали, купецкий сын...

— Эвон как! А говорили, будто бы фершал...

— Он только шкуру фершальскую напялил, — отозвалась Макуха.

— Документы надо у таких спрашивать.

— Не в документах дело, бабоньки, в душу надо пристальной заглядывать,— отозвался Ложенцов.— Был вон ныне у меня один субъект. Сказывался тоже провизором. Взглянул я на рожу его, на руки, вижу, ручки-то у него не наши, с отпущенными коготками. Какой же уважающий себя медик будет отращивать ногти? Проверил, а он — самый заядлый эсер, против Советов агитацию вел.

— Смотри-ка, Никитич, какой ты глазастый... Только глянул, а он, шпиен, как на ладошке... Куда же таких девают?

— Это дело ревтрибунала. Наше дело — вырыть окопы. Колчака не пустить на правый берег. Спасем берег — спасем революцию... Ясно ли, товарищи, сказал?

— Чего же тут яснее: рыть надоть,— согласился молчавший до этого Петруня и, двинув большими ногами в пятнистых валенках, стал подниматься.

13

Правый берег Вятки крутой и обрывистый. У деревни, в которой остановились ржанополойцы, он как-то особенно угрюмо нависал над посиневшей, вспучившейся рекой. Днем, казалось, берег безлюден, молчалив, но как только начинало темнеть — вдруг оживал. По ночам, когда еще весна мучилась в дремотной истоме, здесь негромко заговорили топоры и пилы, по льдистому черепку лесной дороги заскрипели колеса. На берегу появились штабельки сосновых бревен, пахнущих свежей смолкой. Вскоре на покатых легли паромы, готовые спуститься на воду, тут же горбились просмоленными днищами лодки. Рядом, ближе к реке, рыли окопы, блиндажи...

И так по всему, рассказывают, берегу от Русского Тура до самых Вятских Полян и даже еще ниже, вплоть до деревни Шуни...

Лаврушка тоже был здесь. И всему причиной — Макуха. Как только она на собрании заступилась за Настасью, кто-то под полатами уронил: «А от Евлахиных-то тоже никого, что ли, не будет?» Хотя никто не ответил на это, и Ложенцов не слышал, да и дед тоже, но обидно стало Федярке за деда, за маманьку.

Как только разошлось собрание, Федярка спросил мать:

— А почему от нас никого на окопы не взяли?

— Дедушка только что с той стороны вернулся,— ответила Глафа.

— То дедушка... Дедушка ходил сам за себя.

— Уж не собираешься ли ты? — усмехнулась Глафа.

— А вот и собираюсь, пойду... Я тоже большой. Лопатой вон как снег кидаю...

— То снег, снег — не земля.

— Управлюсь и с землей, не безрукий, чай.

Тут еще дед подбросил огоньку:

— А что, Федор, и впрямь нам от общества отделяться нельзя. Куда общество ступит одной копытой, туда и ты, буржуй, другой порови. Только учти, мы с тобой и тут не зря станем сидеть... Поедем в бор, лес возить на Карюхе будем.

— Для армии?

— А для кого же еще,— усмехнулся дед в бороду.— Ты — подмога тут мне надежная.

— Подмогу,— уверенно ответил Федярка и тотчас же побежал к Лаврушке.

— А нас освободили,— сказал Лаврушка.

— Ну и дурак ты,— бросил Федярка.— Да если бы не лес нам с дедушкой возить, я бы сам пошел на окопы. Ты слышал, говорили на собрании? Главный-то, с лентой пулеметной вместо кушака... Всем, мол, идти надо, всем...

— Дак я бы с радостью.

— А может, и меня отпустят с тобой?

— Ты мал, не отпустят,— решительно сказал Лаврушка.— Ты уж тут с дедом оставайся,— и Лаврушка убежал разыскивать мать.

Вначале Настасья возражала, мал ведь, тринадцать годков всего. Но где там, разве уговоришь теперь — пришлось готовить сына в дорогу.

Вечером Настасья принесла из чулана полотно, отрезала сыну на портянки, сказала, чтоб на ночь он развешивал их над печкой, где будет спать, прибирал к месту лапти, да и котомку ближе к себе держал...

На другой день Лаврушка вместе с соседями шагал по Казанскому тракту к Слудкам, где было определено им место работы. В котомке за плечами пара домотка-

ного белья, крохотный кусочек мыла, выменянного на хлеб, три ватрушки да кусок сала, завернутого в тряпичу. Лопата железная тоже засунута в мешок, выставляется из мешка только один черенок. И еще там лежат две пары холщовых рукавиц да железная кружка — вот и весь теперь Лаврушкин дом.

Добрались до места ржанополойцы в тот же день, к вечеру. На окопы встали женщины да Ваня-чудотворец с Лаврушкой. Фанька, Алехин сын, с лодками решил управляться: он человек мастеровой, понимает, как уключину приладить, как щель в днище залатать. А Петруня — тот в начальники затесался, вроде как наблюдение ведет над своими. Ходит он с лопатой от одного окопа к другому, измеряет черенком глубину: не вышел окоп мерой — еще рыть надо, вышел — заставляет подчистить дно, сделать на краю лицом к реке козырек — все как есть, по-настоящему.

Подошел как-то он к Лаврушке. Тот без шапки, в одном пиджачке легоньком, старательно выбрасывал наверх рыжую землю. Увидев Петруню, остановился рыть, устало сплюнул.

— Гора-то тут будто каменная, — сказал он.

— Она, гора-то, как наша криношная, — согласился Петруня. — Видать, тоже сплошь из коршков состряпана, — и, опустив в окоп лопату, сказал: — А пожалуй, и хватит глубины. С боков, Лавра, подчисти — и на отдых. Сегодня всем с полночи дам позоревать. Потому, как говорит старшой, норму мы с вами перекрыли, — и, оглянувшись, задержал взгляд на красноармейцах, которые тащили на берег какую-то двухколесную машину.

— Таких бы пушечек побольше, — с одобрением сказал Петруня и, подмигнув Лаврушке, добавил: — А ты еще в окопе-то козырек, Лавра, побольше изладь. Замаскируй дерниной малость, а сам изнутри посмотри, что там видно, на том-то берегу. Видна ли, скажем, дорога, лесок вон тот, церковь? Обзор чтоб круговой был, чтоб ты все видел, а тебя — никто... И реку чтоб от того берега до половины углядеть можно было.

Когда Петруня ушел, Лаврушка положил на бруствер лопату и, прищурившись, посмотрел вдоль отполированного руками черенка. Лесок березовый и впрямь видно, и черную дорогу видать, и церквушка как на ла-

дони, и берег тот, с кустиками. А реки — не видно. Высунулся Лаврушка из окопа: река-то, вон она, вспучилась, как на сносях. От берегов уже отстал лед, вот-вот и тронется. Все же не успели беляки, теперь не сунутся.

«А окопчик-то все же доделывать придется», — подумал мальчик и достал из кармана щепотку табаку, выданного здесь по пайке. Неуклюже свернув сигарку, закурил, с непривычки закашлялся. Лаврушка не курил, но выдали тут табак, как же быть — не пропадать же добру. Он старался укрыться от взора других в своем окопе, однако табачный дымок выдавал себя. Небо висело над головой праздничным голубоватым ситцевым платком, как у маманьки. По голубому полю потянулась черная живая цепочка. Видать, журавли летят с той стороны, из-за реки. Даже им там места нет. «Летите, журавлики, к нам на полойские болота. Будьте как дома, не тронем вас...»

Докурив сигарку, Лаврушка привалился плечом к краю окопа, взглянул на руки: они большие, со свежими мозолями на ладонях. Это — с непривычки, от лопаты... Черенок-то новый был, не залощился. Теперь уж и руки привыкли, и сам... Вот и окоп... Окоп, как дом, как комната, как шалаш...

Склонив голову набок, Лаврушка клюнул носом, но, поймав себя на этом, встряхнулся, подумал опять: «Окоп-то все же доделать надо», — и снова взялся за лопату.

В тот вечер Лаврушка уснул быстро. Пристроился на полу в избе рядом с Фанашкой и уснул. Под боком хоть и не постеля, а солома ржаная, накрытая дерюжкой, но все-таки мягче, чем на голом полу. Только накрыться нечем. Положок домотканый бабка принесла, растянула на всех — на крайних и недостает. А Лаврушка крайний от окна, озяб.

Ночью проснулся — видит, положок-то Петруня утянул к себе, обвернулся в него и посапывает в тепле.

Лаврушка встал, выскочил босиком на крыльцо по малой надобности. Опахнул его холодный ветер с реки, откуда-то донесся легкий хруст. Уж не тронулся лед? Лаврушка спрыгнул с крыльца и побежал к реке: кому не хочется в детстве увидеть первую подвижку льда? Лед вначале потрескивает, потом несмело и сонно, буд-

то вслепую, начинает ползти возле берега. И трогается он больше всего по ночам. Это уж Лаврушка сам приметил.

«Но чего это? — выбежав на берег, замер Лаврушка. — Вроде какие-то люди... И впрямь, люди на льду. С досками прутся... Не беляки ли?» И вдруг Лаврушка, поняв все, бросился к дому.

— Беляки-и! — стучал он в окна. — Беляки-и!..

Проснулись покойцы, выскочили, кто в чем был, топоры свои прихватили, только Фанашка один с ружьем. Ружье-то он сам изладил — на волков ходить... Теперь здесь пригодилось — на бегу он заряжал его, чтобы сразу пальнуть.

Выскочили из соседних домов и те красноармейцы, что днем устанавливали пушки, выскочили они не шутейно — с винтовками, рассыпались вдоль окопов в цепь. Защелкали затворы, и — цвирк, цвирк, цвирк — засвистели над рекой пули...

Лаврушка, прыгнув в свой окоп, увидел, как беляки бросились вначале вперед, но вот передний сунулся носом вниз, грохнулся на лед и второй, что был с доской в руках, остальные — повернули обратно.

— Ага-а, испужались! — крикнул красноармеец и опустил в окоп рядом с Лаврушкой.

В это время над головами их что-то просвистело и ухнуло позади, на ближних огородах. Потом просвистело еще и еще... Снова ухнуло позади, затрещало, словно где-то ломались деревья.

Лаврушка приподнялся, выглянул и увидел, как дом, в котором они жили, уже охватило пламя.

«Котомка-то там», — вспомнил он. Но бежать нельзя — стреляют. Он взглянул на стоящего рядом бойца: тот долго возился с винтовкой и никак не мог приладиться.

— В прорезь целясь, — шепнул Лаврушка.

Красноармеец, видимо, поймал-таки беляка на мушку, торопливо нажал крючок. Ухнул выстрел, а беляк как бежал, так и бежит...

— Не попал, мазило, — ругнулся Лаврушка и, оглянувшись, увидел, как загорелся и другой дом и ветер, относя кучившийся дым, уже сыпал красными червяками искры на весь посад.

Поутру, когда уже догорали дома, подожженные с той стороны зажигательными снарядами, тронулся лед. Черная цепочка зимней дороги, по которой еще ночью пытались перебраться беляки, вдруг дрогнула, оторвалась от берегов и поплыла. Лаврушка видел, как на середине расколовшейся пополам льдины недвижно лежал солдат, тот самый солдат, который бежал с доской,— теперь он, позабытый всеми, тоже уплывал вместе со льдиной вниз. Он с каждой минутой становился все меньше и меньше и наконец пропал в этой неудержимой весенней стихии.

Днем по берегу разнеслось: приехал в деревню какой-то командир и остановился у десятского, должно быть, насчет пожара выясняет — люди-то без крова остались. Часом позднее Лаврушка услышал, что тот самый командир уже идет по берегу со своим ординарцем и проверяет все, как есть,— и лодки в порядке ли, и паромы, и в окопы будто бы даже заглядывает. Лаврушка выскочил наверх, и верно — по берегу идут двое военных. Вот они остановились у крайнего окопа, потянулись туда и другие. Лаврушка, бросив лопату, тоже побежал глянуть на командира.

Командир,— Лаврушка сразу определил его,— был молодой и подвижный, в серой, лихо заломленной на затылок папаше, в кожаной тужурке, в галифе с красными полосами по швам. Лицо его, смуглое, сухощавое, было строго. Эту строгость еще больше подчеркивали аккуратно подстриженные усы.

— Ну, кто тут первый увидел беляков? — оглядывая людей, спросил командир, как будто он искал своими неулыбчивыми карими глазами виновного, и, словно найдя его, остановил взгляд на Петруне, который даже попятился.— Или увидел тот наш солдат, который самого пил?

— Тот-то спал,— отозвался из-за Петруниной спины Лаврушка.

— Так вот же, он увидел! — будто обрадовавшись, что наконец-то нашелся виновник, ответил Петруня.

— Он, он, Лаврушка вон увидел! — поддержали и другие.

— А ну, покажись,— по-прежнему строго сказал командир.— А почему, красный воин, ты босиком?

— Лапти-то у него, у воина, сгорели.

— Тут у всех у нас добро начисто погорело.

— Ну, уж и добро,— засмеялись бабы.— Да какое у тебя добро, Петруня, было? Пара лаптей да сигарка казенная.

— А без сигарки да без лаптей, бабы, куда нын тронешься?

— Правду говорят, что у тебя лапти сгорели, воин? — спросил снова командир.

— А я еще и не воин,— потупился Лаврушка.

— А беляков разглядел?

— Да их чего не увидеть? Увидел — и давай будить своих...

— Молодец, побольше бы нам таких,— похвалил командир и, взглянув на босые Лаврушкины ноги, сказал:— Как тебя звать? Лаврушкой? Так вот, пойдешь в крайний дом и скажешь там моему заместителю, чтобы выдал тебе сапоги.

— Он разве мне выдаст так-то?

В глазах командира блеснула озорная улыбка. Он засунул руку за куртку, достал красную ленту и, бережно приколов ее Лаврушке на шапку, ответил:

— Скажи, что сам Азин приказал выдать!

— Азин? — удивился Лаврушка.

И не только Лаврушка — все удивленно переглянулись, на лице каждого было написано: так вот он какой, Азин-то, о котором широко идет тут добрая молва.

— Ну, чего же ты, орел, притих? — разглядывая смутившегося мальчишку, спросил Азин.— Когда белых увидел, говорят, смелее был?

— Белых-то, тех чего же бояться?

— А меня испугался, что ли?

— Так вы же, товарищ командир,— *Азин*, не белым чета.

— Верно, мы не чета белым, любого такого красного орла, как ты, не променяю и на белого офицера,— сказал Азин и, потянувшись к Лаврушке, поерошил его рыжие волосы.— Пойдешь ко мне в помощники?

— Уж и в помощники?

— А почему бы и нет? Ты не трус, вижу. Мне только трусов не надо. Ну, так как, не хочешь, значит, моим

помощником быть? — хитровато усмехнулся Азин. — Смотри, упустишь время...

Отыскав взглядом низенького краснолицего мужика, которого только что подвели два молодых красноармейца, Азин спросил:

— Ты, что ли, проспал белых?

— Я, — опустив голову, ответил тот.

— Самогонку пил?..

— Немного кумышки, самую малость...

— Самую малость? — Азин судорожно выхватил из кобуры наган и крикнул: — Да какой ты после этого солдат Красной Армии?! Тебе дан был приказ смотреть в оба, а вместо тебя усмотрел вот он, Лавр, он не пустил на правый берег разведку врага. Вот он — красный воин, герой! А ты... ты — кумышка!.. В трибунал его! — и, резко повернувшись на каблуках начищенных высоких сапог со шпорами, быстро пошел к стоящим у изгороди коням.

15

Возвращался Лаврушка домой в новых кожаных сапогах, старая шапчонка перевита красной лентой. Такой ленты ни у кого в деревне нет, вот будут расспрашивать ребята, как ее дали да за что. Известно за что — беляков углядел. Кумышка, тот проспал бы все на свете. И прав товарищ Азин, что так по всей строгости военной поступил, — потому не спи, Кумышка...

Миновав речку, Лаврушка поднялся на угорчик. И вот оно, поле, а за ним — и деревня. Смотри-ка, уже сеять начали. Вон и Евлаха вышагивает с лукошком. Он в одной белой рубаше, без картуза, через плечо у него на холщовом полотенце — грузное лукошко. И от этого Евлаха идет не быстро. Шагает по мягкой, вязкой пахоте, захватит из лукошка горсть жита, кинет — зерно звонко чикнет о лубяной край лукошка и брызгами разлетится по одну сторону ног. Кинет другой раз — и зерно ложится по другую сторону, и все у него получается уж очень ловко, будто он делает все это шутя, играючи.

Но кто же за ним боронит? Лошадь-то вроде не Евлахина, а наш Савраска. Да ведь это и в самом деле мамка боронит... «Дед, видать, все еще болеет, вот и позвала на помощь Евлаху», — решил Лаврушка и, свер-

нув с дороги, побежал наискосок поля к матери. А Настасья и не замечает, правит Савраской да посматривает на борону. Борона деревянная, легкая, прыгает по неровной земле, и поэтому мамка положила поверх нее березовый чурбак — так зубья глубже врезаются в землю и лучше перелопачивают ее, подрезают корешки, вытаскивают их наверх.

Лаврушка прошел по краю загона к мешкам, поправил на шапчонке красную ленту, взглянул на сапоги, сухой травкой смахнул с них пыль — сапоги должны блестеть, как у Азина, — и кликнул маманьку.

А Настасья и сама заметила сына, оставив лошадь, она уже бежит по полосе к нему.

— Вернулся наконец-то, — и вдруг всплеснула руками. — Батюшки, лента-то во лбу... За работу, что ль?

— Не всем... Это мне одному только. А еще вот, — и Лаврушка хлопнул ладонью по голенищу сапога.

— Неужели твои? Это за окопы достались?

— Говорю, не всем, одному мне... За храбрость...

— Да где ты с храбростью проявился? — подойдя с пустым лукошком, лукаво усмехнулся Евлаха.

Лаврушка по лицу его понял, что старик вряд ли поверил ему.

— Дак как где?.. Беляков первый увидел... И побежал за подмогой... Сам Азин, вот видишь, сапоги за это дал... И ленту красную тоже за это же...

— Смотри-ка, и впрямь сапоги? — удивился Евлаха и, нагнувшись, пощупал пальцами голенище — кожа добротная. — Как это удалось-то ловко?

— Говорю, больше никому... Даже Петруня, и тот босиком домой пришел...

— Ну и ну, — качала от удивления головой мать.

— А моего Егора не видел? — спросил Евлаха.

— Да где там, дед Евлаштей, увидишь, там видимо-невидимо войск-то наших. У самого бы Азина надо спросить. Но вот, видишь, не успел... Ты, мамка, знаешь, какой он живой да верткий. И сапоги со шпорами...

— И тебе бы, поди, надо такие, а?

— А чего? Там у всех, кто на лошади, — ответил Лаврушка и взглянул на Евлаху, который из мешка пересыпал в лукошко зерно.

— Ну, а Азин какой собой-то? — спросил Евлаха.

— Молодой он... Говорит так строго, любо слушать.

Если кто в бою струхнет аль у окопа не тем делом займется, тут же сразу выхватывает наган...

— Неужто стреляет? — удивилась мать.

— Нет, это для острастки больше. А может, если надо, и выстрелит. За это его и боятся... окромя меня.

— Ну, и бахвал ты, Лаврушка, стал,— усмехнулась Настасья.

— Спросите Петруню, если не верите... Как Азин тогда на Кумышку крикнул? Петруня даже задрожал от испугу, а я ничего, потому Азин обо мне как сказал — и на белого офицера, мол, не променяю такого орла...

— Ну, вот что, слушай-ка ты, орел,— сказала мать.— Если не шибко устал да не голоден, подмени меня, поборони. А я тем временем дома приберусь — запустила с работой все... Да и к вечеру кое-что испеку вам с дедом. Ноги устали, так на лошадь сядь, ты легонький. А сапоги побереги, сними теперь...

Присев на мешки, Лаврушка осторожно стянул с ног сапоги, по-хозяйски оглядел подошвы — не износились ли, хотя какое там, всю дорогу босиком бежал, только у деревни обул их,— и, убедившись, что не износились, положил к телеге и накрыл сверху пустым мешком. Потом подошел к Савраске, ухватившись за седелку, взобрался по оглобле на лошадь и тронулся вдоль борозды. Борона, расчесывая свежую пахоту, шла спокойно, только там, где панскось поля пролегал зимняк, она начала легонько прыгать.

Обратно Лаврушка ехал по тому же месту: боронил он в три следа, да еще, наверное, Евлаха заставит четвертую борону вести зигзагом, чтоб не было ни гребней, ни бороздок видно. Он хозяйственный — и у чужих делает все, как у себя.

Вечером к Лаврушке прибежал Федярка, осмотрел даренные сапоги, натянул на себя шапку с красной лентой.

Глянул в простенок — веснушчатая рожица Федярки так и расплылась в зеркале.

— Баско-то как!

— Еще бы!

— Значит, сам Азин?..

— С ним-то, с Азиным, я за руку ручкался,— и, склонившись, Лаврушка по секрету добавил:— Звал Азин-то к себе в дивизию.

— Ну?

— Только мамки жалко, и дед больной...

— Зря не остался,— упрекнул Федярка.— Я бы на твоём месте...

— Да ты думаешь, всех он принимает? Он только меня брал, спроси вон Петруню...

— А ленту эту за чего же?

— Так за то самое, что беляков вовремя усмотрел. Говорят, мол, я целое сражение выиграл...

— Вот видишь!— воскликнул Федярка.— А еще не хотел идти... Да если бы не я, так ты и просидел бы... Конечно, мы тоже с дедом тут поработали. Штабель лесу для телефонов навозили. Приходи ко мне, поговорим еще. А то маманька меня на две минуты отпустила.

Подходя к дому, Федярка думал о Лаврушке, о том, какой все же он счастливый, что ему столько лет... «Вот и я хотел бы пойти, да разве отпустили бы... Маловато, сказали бы, годов. Так вот все без меня самое главное и пройдет...»

Возбужденный Федярка вбежал в избу и принялся рассказывать о Лаврушке.

— Говорит, сражение выиграл...

— Бывает и так, Федяра,— паливая в стакан заварку, настоящую на шиповнике, отозвался дед.— Я хоть Азина сам и не видел, а довольно много слышал о нем. Молодой, слышь, а дивизией командует. Это ведь по-прежнему только генералу было под силу.

— А он, может, дедушка, енерал и есть?

Евлаха не ответил, поднял растопыренными пальцами блюдце, понес к губам, легонько дунул, чтоб охолол шиповниковый чай, и принялся пить. Опорожнив блюдце, поставил его на стол, взглянул на Федярку.

— Взять вот хоть тот же наш бой под Вавожем,— сказал он уже серьезно.— У нас командир тоже был, как Азин, смелый... Хоть тогда и отступили мы, но ведь, подумать только, одни пушкачи, без пехоты, отбились и ушли за сорок верст вдогон своих. И всю орудию на себе вынесли. Да пони-ка таких молодцов, как наши... Это я к тому говорю, Федяра, что Азин-то тоже не иначе, как паш, вятский...

— А наши, вятские-то, дедушка, сильнее, что ли?

— Сильнее, говоришь? А почему б и не сильнее быть... Сила-то в чем говорю, не только в смелости, Федя-

ра. Вот Лаврушку взять... Смотри-ка — не проспал, заметил... Он заметил; а Азин — его... Уж что-ничто, а вятский не проспит, не подведет.

Прошло два дня, и в деревню опять приехал Ложенцов. Приехал верхом, в плаще парусиновом, — как раз в то утро дождь брызнул. Сошел он с лошади, с Евлахой за руку поздоровался, взглянул на Федярку.

— Не внук ли твой?

— Внук.

— Помощник, значит, растет... Ну что ж, хорошее дело, — и оглядел полосу. — Досеваете, вижу?

— Какое там — за середку только перевалили. Видишь, лошадь-то не прежняя.

— Не в лошади, Евлантий, дело, скажи лучше, земли у тебя теперь побольше стало, — заметил Ложенцов.

— И земли побольше, это верно. Спасибо новой власти, убротворила нынче декретом справедливым мужика. — Но, взглянув на председателя исполкома, Евлаха насторожился: — А вам опять не лошадей ли надо?

— Лошадей пока оставляем в покое, за мясом приехал. Пять-шесть коров с вашей деревни надлежит... Народ вот тут есть. На станцию надо гнать...

— А где мы их, коров-то этих, возьмем?

— Придется подумать, Евлампий. Соберем комитет бедноты, прикинем совместно, а потом, как и в прошлый раз, на собрание выйдем с нашим предложением.

...Мужики просидели на собрании целую ночь, вплоть до рассвета. Сидели они нынче не в избе у Евлахи, а на улице, у пожарного сарая, на бревнах. Шумели, ржали, спорили, ругались меж собой и ругали все сообща Колчака, потом утихали, молча курили и снова спорили — кому же хочется расставаться со своей короной? Утром ни с чем разошлись по домам, позавтракали и через час опять собрались.

И снова прошел час, другой...

— А чего же тут днелать, — сказал вдруг Евлаха. — Ну и понятно, никому не охота отдавать. А вот понятно ли вам, как я сидел две недели под степаховой ногой? А потом как шел на расстрел под дулами? Ну, буржуи вы экие, думаю, весь дом, со всей живностью отдал бы, только б из лап ихних вырваться!.. И вот, смотрите-ка, вырвался — и все позабыл... Позабыл ведь, а?..

— Мы того-этого не знаем, Евлантий, не ведаем,— отозвался Прялка.— Мы только насчет коров, корова ведь это не шутка в деле...

— А война — это что, это шутка? — вскочил Евлаха.— Так вот... У меня во дворе две коровы, одну оставляю себе, другую ставлю на кон. Вот и ты на весы станови свою, Гаврила...

— Чево, чево? — оторвался тот от табаку.— У меня семья вон какая, сколь ртов голодных молока просят.

— У всех рты есть... А то мы, гляди, и за мельницу возьмемся....

— Мельница чего, она ведь не моя, Ильи...

— А Илья кто тебе будет?

— Ну-к, зять Илья... Илья своей семьей живет.

— Зажиллся твой Илья, по сколько фунтов за раз мол берет?.. То-то и есть! Ограбил волость твой Илья, вот что... Как прежний купец, с вышитой нагрудкой ходит. — Пиши, Алексей Никитыч, от Прялки взять корову, — твердо сказал Евлаха. — А то мы возьмем и сами ее реквизируем — за хвост да и в поставку...

Сопровождать коров до станции согласилась Макуха. У нее там живет сестра, как раз и с ней ей хотелось повидаться. В помощники себе, погонщиком, она взяла Лаврушку — парнишка бойкий, к тому же и дорогу теперь знает, на окопы-то туда же ходил. А с Лаврушкой увязался и Федярка, хоть лет ему и меньше, но ростом-то он не ниже Лаврушки вымахал. «Это оттого, сказывала маманька, что под первый весенний дождик угодил, вот и вытянулся... Теперь каждый год буду ждать первого дождика. И Лаврушке скажу, пусть и он не просыпает этот дождик...»

И вот они собрались с Макухой в дальнюю дорогу.

Макуха была пробойная баба. Она не только дом свой вела одна, без мужика, держала в порядке, но наравне с другими ездила под извоз, грузила на баржи мешки с хлебом, умела управляться с хозяйством, как иной мужик не сумел бы.

Отправляясь с гуртом, Макуха взяла с собой краюху хлеба, картошки котелок, да через плечо повесила пустое ведро. Остановятся где-нибудь передохнуть, она возь-

мет ведро — и под корову. Надоит молока да картошки испечет на огне — эвон какая еда знатная будет. Не только сама будет сыта, но и ребятишкам небось понравится, а Макуха любит чем-нибудь угодить человеку. Хоть и молчалива она, но сердцем добрая. И еще справедливая — скажет, как ножом отрежет правду-матку.

Макуха считалась в деревне пришлой. Муж у нее в молодости работал осмотрщиком путей на маленькой станциوشке, которую звали по лысому холмику, отвоеванному у леса, Макухой. Здесь, в Макухе, отвоевал Васюта у женихов и Дарью и привез к себе в деревню — молодую, работающую. За хозяйство они взялись дружно. И все кругом кленлось: и хозяйство росло, и семья пошла на прибыль, что ни год, то парень. Не успели еще ладом пожить, а у них уже за столом пять парней, пять погодков. Другой раз посмотрит на них Даша и скажет:

— Не много ли накопили, Васюта?

— Кого?

— Парней-то. Хоть бы одну девочку бог дал.

— Для чего? Для разора ты девку просишь у бога? На девку ни земли нет, ни надела. А парень-то эвон, как родился, так и за землю зацепился...

Подросли парни, перемешались меж собой, неизвестно, кто из них и старший, — все рослые, белолицые, крепкие, как грузди в грибное лето, по хозяйству цепкие, в драке неуступчивые. На гулянку ли, на плясунец выйдут, на посиделок ли какой — все вместе, под одну гармонь песни поют, один за другого заступаются. «С Макухиными ребятами связываться нельзя, у них артельно», — говорили по округе. И не связывались с ними, уважали, а может, и побаивались.

О женитьбе задумали сразу трое — два средних и самый младший. Мать не раз говорила: у большого-то, видно, ума побольше — не завязывает семьей голову, да и третий-то, в середке который, тоже помалкивает, этого, видно, больше книжки завлекали, чем девки.

Жениться в тот раз братьям не удалось — в один день они ушли по повестке военной, одна и та же гармошка провожала их на войну.

И вот средний, что постарше двух последних, в первый же год погиб под Вильно. Младшего ранило в ногу, но домой не возвращается, работает где-то в штабе. А остальные трое — воюют с винтовочками; где воюют, Ма-

куха и сама не знает, будто бы один на севере, другой на юге, а старший тут, говорят, под Казанью был, вместе видели будто бы с Егоршей Ветлугиным. Этот старшой-то, говорят, уж не маленьким и командиром стал. Однако дело-то у наших не шибко устойчиво, беляки-то опять потеснили красных бойцов, видать, и впрямь еще сила силу ломит.

Макуха не любительница была и раньше много говорить. А как потеряла мужа Васюту, и совсем смолкла — присушило горе слова, да и только, не идут они с языка, все в душе кровью обливается, да так, должно быть, там и присыхают намертво.

А случилось это прошлой осенью. Муж-то Васюта хоть и не коммунист был, а держался больше за Никитича: чуть что, с Никитичем, мол, надо посоветоваться. И вот ушел как-то он к Никитичу. День прошел, а его обратно нет. И вечером Васюта не вернулся домой. Макуха не спала всю ночь, а утром по свежему снежку привезли его на санях мертвым. В лесу нашли, недалеко от дороги. Голову Васюте пробил кто-то...

Стали тут искать убийцу, но где там; при таком деле никто руки-ноги не оставил. А если какие и были следы, то, как назло, снежок утренний припорошил следы-то эти. Ходили в ту осень на допрос многие, таскали не раз Ильку Кропота — подозрение у Макухи на него большое было, да тот, известное дело, отбрехался, мол, ни сном, ни делом не ведаю, кто злодейство такое совершил. Но все в деревне знали — в сердцах они были с Васютой промежду собой. Из-за мельницы. Мельницу-то Илька почти-что даром взял у помещика, когда тот убежал со степами. Васюта настаивал, чтоб передать ее всей деревне, но Илька съездил в город, привез оттуда какие-то бумаги с печатями — моя, мол, мельница, да и все. Только Васюта не унимался: подложные, мол, твои документы, крутись не крутись, Илья, все одно в тебе половина пшиля, скоро бумаги твои подлогу обозначат...

Оттого Макуха и молчалива, дорогу прошла, а еще ни одного слова не обронила. И ребята молчали. У Федярки на это тоже была причина: он гнал на сдачу свою Красулю, круторогую корову с белыми кудряшками во лбу.

Красулю Федярка запомнил так же, как, скажем, запомнил свой дом, свою черемушку за двором, как запомнил деда и маманьку. Красуля-то родилась с Федяркой

в одном году. Потому он так и привязался к ней. Он помнит, как носил ей травку и с ладошки кормил ее, как потом, когда подрос, гонял ее в поскотину, узнавал ее в лесу по голосу, а то и на дороге по следам. Приходила весна, и каждый раз он чистил ее скребком, собирал шерсть и полстил ее в ладонях на мыльной воде — получался тугой рыжий шарик, который от удара батожком высоко взлетал вверх. Красуля кормила его парным молоком, творогом с запекшейся румяной корочкой, густой сметаной, и вдруг... вдруг дед распорядился... Идет вот теперь Прялкина черно-пестрая корова, семенит ногами Ванин бычок, гуськом понуро бредут другие коровы, и среди них — Красуля. Это больше всего угнетало Федярку. Потому он молчал и в душе осуждал деда. Неужели, как говорит маманька, без ихней Красули не могли обойтись? Но, видать, не могли, уж кто-кто, а дедушка знает, как лучше поступить...

Пригнали они коров на второй день, солнышко еще стояло высоконько. Загнали их в загородку, — там и без них было видимо-невидимо скота. А Красуля — смирная, ее сразу другие, что побойчее, оттеонили в угол. Федярка схватил кнут — и к ней на помощь. И Лаврушка тут же. Отогнав от нее других, Федярка раздобыл где-то на возах охапку сена, бросил к ее ногам. Просунул меж жердочек руку и долго гладил по белым кудряшкам меж рогов.

Макуха уже получила квитанцию на скот и собралась идти к сестре, а Федярка все еще не расставался со своей Красулей.

— Ладно уж, иди, тетя Дарья, — сказал Лаврушка. — Мы побудем здесь, а к вечеру разыщем тебя.

Когда Макуха ушла, ребяташки огляделись: станционный вокзал-то совсем рядышком. Не сбегать ли туда — вон сколько людей толкется там? Может, кого своих знакомых увидим...

По дороге к вокзалу три красноармейца с красными повязками на папах и с ружьями в руках вели каких-то солдат. Не беяков ли схватили: ишь, шинели-то какие зеленые на них. А кое у кого вместо шинелей пиджаки меховые, только без рукавов — не наши пиджаки-то...

Беяки эти шли понурые; вдруг они по команде повернули в сторону от вокзала, и ребята за ними. Лаврушка остановился, вытащил из-за пазухи ленту, нацепил

себе на картуз — и, подмигнув Федярке, следом за беляками, интересно, что будут с ними делать?

Подвели беляков к зеленому вагону. Один красноармеец, тот, что с винтовкой, по лесенкам поднялся туда. «Лаврушка говорил, что вагоны — это домики на колесах, только без окошек. А тут, смотри-ка, и окошки есть, и двери с лесенками», — не спуская глаз с вагона, удивлялся Федярка. А ниже окошек — надпись: «Да здравствует Советская власть, сорвавшая покровы с земных небесных богов!»

Глянул на беляков Федярка, а те, забросив руки за спину, стоят тихо, хмурые, чувствуют, что им теперь трибунала не миновать. Так им и надо, степахам... Особенно тому, длинноносому, вон он как глазами-то по земле зыркает.

И снова взглянул Федярка на вагон. В дверях показался тот же красноармеец с винтовкой. А за ним какой-то строгий человек, в папахе серой и тужурке, как у дяди Егора, и на боках — по револьверу... Лаврушка, толкнув Федярку в бок, шепнул:

— Эвон где он-то...

— Кто? — полушепотом спросил Федярка.

— Здорово, беляки! — крикнул строгий в папахе.

— Здравия желаем, товарищ Азин, — откликнулись нестройно солдаты белые.

— Ну, как, хорошо повоевали?

— Хорошо бы воевали — в плен не попали, товарищ Азин, — ответил длинноносый.

— Как будете у меня драться?

— Голову положим за Советскую власть, товарищ Азин.

Азин обвел глазами оживившихся беляков.

— Поняли наконец? — спросил он.

— Как не понять-то, товарищ Азин, ведь против своих же шли... А тут оглянулись на самих себя, видим: верно, мундир-то на нас английский, табак японский, правитель черт его знает какой, а земля-то как-никак наша — русская.

— Правильно говорит, — закивали головами другие.

Азин, усмехнувшись, подозвал к себе красноармейца с винтовкой, оказал:

— Разбери их по четыре человека в роту. И проследи, как они будут драться...

— Есть проследить, товарищ Азин, — козырнул тот и повернулся к солдатам, чтоб «разобрать» их, но те, взволнованные решением красного командира, уже смешали ряды, тискали друг у друга руки, обнимались, а длинноносый даже на радостях прослезился и вытирал рукавом глаза.

Азин все еще стоял в тамбуре и смотрел на них. Потом бросил взгляд на Лаврушку с красной лентой на картузе, подозревал его.

— А тебе чего тут? — спросил он и вдруг что-то вспомнил: — Слушай, ты не тот ли, что был на окопах, не Лавр?

— Я самый, товарищ Азин, — ответил Лаврушка и, схватив Федярку за руку, ринулся к вагону.

— Как оказался здесь?

— Коров мы вот с дружкой пригнали на поставку, для вашей армии.

— Заходите ко мне в гости, товарищи, — и, взяв Лаврушку за руку, подтянул его на вагонную лесенку, а за Лаврушкой и Федярка подцепился.

Войдя в вагон, Азин сказал:

— Теперь мы чай с вами будем пить. Посидите малость, я сейчас вернусь, — и вышел.

Комнат-то тут сколько, — удивились Лаврушка с Федяrkой. И между лавками у окна — столик на косоj упринке. А над головой, как дома, полати... А над ними еще полатцы есть.

А тут и Азин вернулся, за ним — подросток, — он принес чайник с кипятком, две кружки, булку пшеничную, кружок колбасы и даже сахар...

— Ну вот, угощайтесь, — сказал Азин. — Да только ешьте поплотнее, не торопитесь. Окопы-то ты, Лавра, хорошо рыл и смотрел в оба... А теперь вот и продовольствие для моих орлов доставили. Молодцы, ребята. Не стесняйтесь, будьте как дома, — и, взяв с полатей полевую сумку, раскрыл ее. — А пока вы тут заправляетесь, я приведу немного себя в порядок, — и он провел ладонью по подбородку.

Не снимая с головы папаху, Азин кончиком бритвы настругал в стакан мыла, потом из чайника налил немного воды, размешал все это, взбил помазком и, покрыв смуглые щеки густой мыльной пеной, принялся бриться — в одной руке держал поблескивавшее на солнце перо

бритвы, другой оттягивал на щеке кожу. Федярка, держа в руках кружку, видел, как командир, кося карие глаза в осколок зеркала, ловко сдирал шуршавшей бритвой со щеки белую пену. Но вот в коридоре хлопнули двери, и тотчас же в вагон влетел запыхавшийся красноармеец и доложил, что на той стороне реки у железнодорожного моста сосредоточились беляки.

Азин быстро смахнул полотенцем с небритой щеки мыльную пену, схватив висевшую на крючке саблю, сказал ребятам:

— Вы, орлы, не спешите. Тут мой заместитель поухаживает за вами, — он указал глазами на подростка и быстро вышел.

Федярка взглянул в окно и увидел, как Азин вскочил в седло, вороной конь под ним рванулся с места, и командир, будто птица, полетел вдоль улицы.

Тем временем «заместитель», на которого Азин оставил своих гостей, подсел к столу. Он был рыжий, веснушчатый, чуть постарше Лаврушки. И наверно, давно тут жил, потому и чувствовал себя полным хозяином.

— Ну, если вы гости самого Азина, давайте знакомиться, — мальчишка протянул руку. — Меня Жоркой зовут... Жорка Рыжик, а тебя? Как, как? Лавром? Святое имя — сменить надо б... А тебя? Федяркой, по-нашему, значит, Федька. Давно знакомы с моим командиром?

— Да не шибко давно, — сдирая кожицу с кружка колбасы, ответил смущенно Лаврушка. — Я ведь из деревни...

— Ну, как там у вас, в деревне-то?

— А чего — сеем... Мужики все ушли на Колчака, фортификации делают, а мы — сеем, жить-то ведь надо...

— Верно говоришь. Фамилия-то твоя как?

— Моралев...

— Не слыхал такую. А твоя?

— Ветлугины мы, — ответил Федярка.

— Не брат ли у тебя тут Ветлугин?

— Егор? — даже привскочил Федярка. — Так это же дядя, Ветлугин-то!

— Комиссаром он у нас. На реке Казанке две недели в боях с Северихиным был.

— Жив, значит?

— Комиссар живой... А вот командир Северихин —

тот погиб, — и Рыжик, вскочив, сдернул с головы картуз: — Вечная память герою!

Ребятишки, поняв его, тоже стянули со лба свои картузы. Потом снова уселись, Федярка спросил:

— А повидать дядю-то нельзя?

— Не-е... Это, однако, далеконочко. Вот с Колчаком разделаемся, тогда уж и с дядей встретишься...

— А разделаемся-то скоро? — спросил Лаврушка.

— Не знаю, про это надо самого товарища Азина спросить.

— Так что же? — не унимался Лаврушка. — На правый-то берег, слышь, все мужики наши подались... Ужель не устоим?

— Устоять — мало, надо гнать его за Казань и дальше, Колчака-то...

— Ну, и гнать, — по-взрослому поддержал Федярка. — Так эвон у нас какие люди... У одной Макухи — четверо... А сколь таких ушло! Вот и мой дядя, говоришь, тут же... Разве мало тут людей... По тракту-то нашему каждый день нескончаемо шли и шли...

— По тракту? Да разве тут одним трактом отделаешься? — сказал Рыжик и спохватился: — Ты чего без сахару пьешь?

Он взял кусок сахару, ловко ножом разбил его на три части, одну подал Федярке, другую — Лаврушке, а третью — себе в рот.

Федярка, держа в руке сахар, подумал: «А Рыжик-то этот жирно живет. Дома вон маманька водицу сладкую, настоящую на сахарине, давала мне макать, а тут, смотри-ка, целый кусок не жалеет». Он лизнул свой кусочек языком — вкусотища-то какая! И незаметно опустил его в карман, где лежала квитанция, которую отдала на сохранение Макуха, — у нее карманов-то не было. «А сахарок этот маманьке унесу, пусть хоть маленько полакомится».

— А ты слушай, за что тебя-то Азин полюбил? — спросил Рыжик.

— Чего меня любить, я не девка, — ответил холодно Лаврушка.

— Вахлак ты деревенский, да разве девок одних любят? А за храбрость... Вот и спрашиваю, за какую-такую храбрость тебя-то? Если он не увидит храбрости, к себе не привечает.

— А я не знаю за какую...

— Как это ты не знаешь? Я вот так о себе помню, чем пришелся ему по душе.

— А чем?

— Ехал с ним из Вятки на пароходе. Ехал, да у одного ночью и очистил табак...

— Ну-у, — удивился Лаврушка и опасливо взглянул на лавку — тут ли его картуз-то.

— Да ты не бойся, я не вор, я только шибко справедливый.

— Как это?

— А вот так... За что, скажем, Азин сражается? За революцию нашу. А революция за что? Она за справедливость, парень. Вот и я тоже, значит, по справедливости табак-то взял. Слушай вот. Плыл тогда с нами на пароходе один из солдат, так себе, кержак-куркуль. Все таскался с мешком. И вот, когда приулеглись, начал он щепотками торговать табаком, как солью. Только всего-то продать не успел, шибко уж дорого брал. Как только ночью уснул он, ну, я этот мешок-то у него из-под головы — и того... Утром хватился куркуль — нет мешка, поднял шум. Азин тут как тут: «Найти виновного». Я и выхожу: «Это я, товарищ командир, сделал». Почему, говорит Азин, ты дисциплину разлагаешь? А я, не будь глуп, и ответь прямо: они, мол, эти табачники, тут спекуляцию табаком развели... Я взял — и реквизировал, как положено...

— Ну, а он, Азин, что?

— Молодец, говорит. Эксплуататоров, говорит, всех погтем надо давить, как вшу. С куркуля этого пояс снял... И на губу посадил его... С тех пор вот я и с Азиным заодно... Полюбил, значит, меня за справедливость.

— Со мной этого не было... — и Лаврушка опять взглянул на свой картуз с лентой. — Я как-то так попал. Нежданно-негаданно получилось... Беляков разглядел.

— В разведку ходил, что ли?

— Не-е... По льду они, беляки-то, бежали на этот берег, я ночью и заметил. Часовой-то, Кумышка, пьяный был, проспал...

— А ты говоришь, еще ничего не сделал... Да ты знаешь, как подмог нам...

— Все возможно, — согласился Лаврушка. — Ты-то тут чего теперь делаешь?

— Как чего? У Азина служу. Вагон этот наш, учти, особый. В нем все главные помощники Азина находятся. Оп-то, Азин, день и ночь не спит. Чуть чего трудно — к нам. Так, мол, и так, ребятки, оденьтесь понадежнее — и к белякам в гости.

— К белякам? — в один голос вскрикнули ржанополойские мальчишки.

— А то как же... Мы тут с одним не раз ходили. Прикинемся то пастухами, то нищими... Верят, кусочки даже подают. Выведаем, что надо, и обратно. Только в дороге ни слова никому. Азин болтунов не любит. И трусов... Азину что смелее, то и милее. Вот он и подбирает помощников по себе... смелых.

Прошел час, а может, и больше. Уже и Рыжик убежал по своим делам, — Азина все нет и нет. И вдруг на улице шум какой-то. Лаврушка выглянул в окно, а на перроне уже полным-полно красноармейцев, и все на конях. А среди них — сам Азин, смеющийся, белозубый. Соскочил с седла — и к вагону, с саблей на боку.

— Ну, вот, теперь можно и вторую щеку побрить, — войдя в вагон, весело сказал он. — Белякам так вдарили — долго помнить будут, — и, запустив руку в Федяркины вихри, спросил: — Ну, а ты чего без ленты? Не отличился еще? Хочется ленту носить, а? — и, достав красный лоскут, приколол Федярке на грудь. — Снабжать нас продуктами — это тоже геройство. Если крестьянин поддержит Красную Армию, мы непременно победим. Так ведь, орлы? — и, сняв саблю, повесил ее на крючок и опять взялся за бритву.

17

Ночевать Макухе с Лаврушкой и Федяркой на обратном пути пришлось в той же деревне, что и в первую дорогу.

На этот раз все избы в деревне были заполнены красными бойцами. Хорошо, что хозяйке дома в первую дорогу услужили — налили несколько кринок молока, а то бы и она не пустила — некуда.

Лаврушка и Федярка залезли на полати и, уткнувшись остренькими подбородками в положенные друг на друга кулачки, смотрели вниз: здесь, как и дома, оказы-

вается, самая выгодная позиция — отсюда всех видно, кто чем занят.

По лавкам и скамьям вкруговую сидели мобилизованные из деревень мужики-бородачи, были и безбородые, и даже совсем безусые. Остановившись на ночлег, они занимались каждый своим делом. Тут и протирали тряпками винтовки, и латали одежду, и сочиняли за столом короткие весточки домой, и возились с самосадам. Макуха тоже пристроилась к ним в уголок. Она разыскала иглу и чинила гимнастерку белокрысому пареньку, которого называла сыночком. Но больше всего заботы было об обуви: пришли сюда люди кто в чем — кто в старых стоптанных сапогах, кто в ботинках, а кто и в лаптях — хоть и в новеньких вышли из дому лаптях, да за дорогу и они поистрепались. Однако с лаптями проще — кое-кто прихватил про запас вторые, а вот с кожаной обувкой — труднее. Иметь рядом такого мастерового человека, который бы мог прибить каблук к сапогу или подколлотить подошву, — большое счастье. Но у печки, почти на середине избы, на табуретке сидел настоящий сапожник — таких в деревне называют чеботарями, — низенький и сутулый мужичок. Он был еще оравнительно молод, а на голове уже блестела лысина.

Держа в полных, по-детски розовых губах деревянные шпильки, чеботарь взял у бородача сапог, беглым понимающим взглядом окинул его, повертел в руках, насадил на конец полена, поставил торцом вверх и деловито принялся вбивать шпильки в подошву. Федярка видел, как белые березовые шпильки под ударом молотка послушно садились в разбухшую кожу. Стоявший возле чеботаря бородач улыбался, кивал головой: ничего не скажешь — мастер этот чеботарь. А очередь тут такая, что до утра вряд ли управиться.

— Ты пореже шпильки-то сади, а то не успеешь, — посоветовал кто-то.

— Пореже не годится, братки, — ответил чеботарь. — Не устоит подошва, а шагать-то этой милой подошве ой-ей-ей — до самой Сибирюшки идти придется...

— Подколачивай крепче, некогда на подметки глядеть, ныне на парусах полетим, за беляками.

— А как же иначе, братки, — ободряюще подхватил чеботарь. — Эвон сколь собрал наш вятский-то берег. Тут уж подошвы приставлять надо крепко-накрепко, чтоб

держались, — он взмахнул молотком: тук-тук-тук, и подошва встала на свое место.

— Смотри-кость, прибил ведь, — шепнул Федярка Лаврушке, но тот уже спал.

Не заметил Федярка, как и сам уснул.

Проснулся он неожиданно. Лаврушка уже был на ногах. В избе стоял переполох. Вскочив, бойцы быстро собирались, хватали винтовки, забирали котомки, гремели котелками.

— А вы куда? — крикнула на своих погонщиков Макуха.

— Мы на минутку только. Фортикация... — и мальчишки выскочили на улицу.

Солнце хотя и не взошло, но из-за лбистой лесистой гривы уже чувствовалось живительное его дыхание; голубой, промытый вчерашним дождем полог неба, висевший полукружьем над гривой, начинал отсвечивать розоватыми отблесками.

Командир, низенький и верткий, с большим наганом на ремне, сгруживал заспанных и неразговорчивых бойцов около крыльца, потом вскочил на ступеньку. Федярка видел, как он взмахнул рукой взволнованно и ободряюще.

— Товарищи, Двадцать пятая чапаевская дивизия на днях освободила Бугуруслан и Бугульму. Красные орлы с честью разгромили десятитысячный корпус генерала Каппеля и вошли в Белебей. Теперь, товарищи, настал черед и нам, нашей Двадцать восьмой железной дивизии, — и он выхватил из кармана бумагу. — Слушайте, товарищи, приказ нашего любимого комдива товарища Азина.

По рядам бойцов пошло одобрительное оживление.

— «Звездоносцы, боевые орлы, Двадцать восьмой стрелковой дивизии! — звенел молодой голос командира. — За год существования нашей доблестной дивизии тернист, но славен путь борьбы, пройденный нами. Не одна лавровая ветвь вплетена вами в победоносный венец пролетарской революции — их много. Славные бои с чехословаками под Казанью, взятие Чистополя, Елабуги, Сарапула, Ижевска — вот те кроваво-красные рубины, которые вкраплены вашими руками в страницу боевой истории дивизии».

Командир окинул взглядом бойцов, словно желая уве-

ряться, все ли его слушают, и остановил взгляд на Федярке.

Федярке, стоявшему на краю сгрудившихся бойцов, показалось, что командир хочет что-то сказать ему, только одному ему, но вдруг его мысли перебил чей-то нетерпеливый голос:

— Давай круче читай! Дословно!

Командир понял, что он напрасно усомнился — люди не только слушали, но, казалось, впитывали в себя каждое слово долгожданного приказа. Это обрадовало его. Он шагнул ступенькой выше и продолжал:

— «...Но ежедневные бои в тридцатиградусные морозы, тяжелые переходы по глубоким сугробам снегов, физическая усталость наших бойцов и временный перевес противника сделали свое пагубное дело — мы должны были отступать. С болью в сердце мы уходили с мест, купленных ценою крови наших дорогих товарищей; тяжел был путь отступления, но вы с честью вышли из-под ударов наймитов капитала, чтобы здесь, за рекой Вяткой, собраться с силами и вновь обрушиться на заклятого врага великой революции. Довольно отступления! Ни шагу назад! Революция призывает нас идти на рубежи Урала! Прочь усталость! Революция не знает отдыха! Наши ряды пополнены свежими силами, противнику нанесен первый удар. Там, впереди, где свирепствует власть монархиста Колчака, раздается стон наших братьев-бедняков, ждущих избавления от тирании буржуазии, терпеливо ожидающих нашего прихода. Вперед, на Колчака, не медля ни минуты!»

— Впере-е-ед! — поддержали дружно бойцы.

— Вперед! — воскликнул взволнованно красный командир. — На вас надеется Советская Россия! К нам обратили взоры пролетарии всех стран! Вперед, за Советскую Россию! Да здравствует победа над врагом — капитализмом!..

Приподняв руку, командир взглянул на часы и добавил, что ровно через десять минут начнется переправа на тот берег. Лодки, паромы — уже все стоит наготове. За гумнами ждет артиллерия, она прикроет переправу.

— А теперь, товарищи бойцы, приказываю на исходные рубежи! — и командир, повернувшись, первым бросился к берегу и лощинкой, ведущей к реке, начал спускаться вниз, увлекая за собой бойцов.

Разве тут удержишься — побежали за всеми и Лаврушка с Федяркою.

Когда они спустились с берега, несколько лодок уже были на середине реки. За лодками, как черные змейки, тянулись толстые канаты. И вот одна из лодок уже у того берега. А следом за ними отчаливали плоты с людьми и вооружением.

Где-то справа, ниже переправы, ухнул разорвавшийся снаряд. Один, другой... А здесь все тихо... Скорей бы на тот берег!

— А вы чего тут? — крикнул кто-то ребятишкам с парома и то ли всерьез, то ли в шутку добавил: — Давай с нами!

Лаврушка с Федяркою переглянулись и, без слов поняв друг друга, в тот же миг оказались на пароме.

— Ровнее, братки, — сказал чеботарь и, схватившись за скользкий канат, начал перебирать его руками.

За плечами у него, помимо винтовки, висел небольшой холщовый мешок с вышитой меткой, из мешка отчетливо выпирал заветный молоток. И Федярка вдруг почему-то вспомнил о кусочке сахара и пожалел, что не послал его с Макухой маманьке — быстрее бы получила гостинец...

— Ровнее, братки, — снова слышался настороженный и в то же время подбадривающий голос чеботаря.

Федярка стоял на краю парома и, боясь свалиться, жался к Лаврушке, все еще не спуская глаз с чеботаря, ловко работавшего руками.

Вдруг над головой просвистело, что-то шлепнулось левее парома, столб воды окатил бойцов и чуть не сбил их с ног.

— Вот черти, как плюются, того и гляди к рыбам уготоваем.

— Ровнее, говорю, братки, ровнее...

Над головой уже летели снаряды с противоположной стороны — с правого берега, ответные. И уже там, на левом, где засели беляки, слышалось, как гулко от снарядов вздрагивала земля.

«Это наши стреляют», — с радостью решил Федярка и, схватившись за Лаврушку, сжал его руку.

И снова взрыв, но этот уже остался далеко позади...

— Нажмем, братки! — крикнул чеботарь. — Вот-вот и берег.

А на берегу, за зеленой кромкой ивняка, уже завязался бой. Оттуда все чаще и чаще доносились разрывы снарядов. И вот их перекрыло громкоголосое «ура!».

«Наши уракают!» — опять обрадовался Федярка, по паром уже ткнулся о землю, и все качнулись.

Два здоровенных парня бросились в воду и, ухватившись за бревна, стали по отмели подтягивать паром к берегу. Минута-другая, и вот уже бойцы один за другим прыгают через узкую полоску воды на желтый песок и, судорожно хватая руками винтовки, скрываются в кустах. И среди них, подчинившись общему возбуждению, пробираясь сквозь кусты, бежал Лаврушка, Федярка чуть поотстал. Как назло, ноги увязали в иле, рогатые ветки цеплялись за одежду, сорвали с головы картуз. Уже блеснуло солнце и осветило зеленеющий впереди луг.

— Куда ты лезешь, чертеныш! — почти рядом услышал Федярка чей-то голос.

Он оглянулся и, увидев лежавшего на земле мужика, ткнулся лицом вниз, и в тот же миг пропело «пиу-пиу» — и пули с шелестом подружили над головой ветку.

Федярка приподнял голову и, увидев Лаврушку, — тот уже подбирался к лощине, — вскочил и сколько было силы бросился догонять его... А впереди бежали бойцы, падали и, поднимаясь, снова бежали... Догнать бы Лавруху, — но снова взрыв прижал его к земле. «Жалко, ружья-то у меня нет», — подумал Федярка.

Ему вдруг захотелось пить. Он поднял голову и увидел, что на дне лощины блестит голубым оконцем вода. А у воды — человек с котомкой за спиной. Федярка подбежал к нему и обрадовался — это был чеботарь. Он лежал вниз лицом, левая рука была неловко подвернута под себя, правая сжимала ствол винтовки. «Чего же он тут лежит?» — удивился Федярка и схватил его за руку.

— Струмент-от прихвати, парень, струмент пригодится, — крикнул кто-то за спиной Федярки, но он не оглянулся. Федярка повернул чеботаря на бок и увидел залитое кровью лицо.

Сорвав с себя картуз, Федярка зачерпнул воды и начал смывать с лица чеботаря кровь. И вдруг неожиданно дрогнули по-детски полные, но уже посиневшие губы чеботаря... Федярка сунул в карман руку. Нашупал кусо-

чек сахару, вытащил его и, макнув им в сырой картуз, приложил к губам раненого.

— На, пососи, полегчает малость, — сказал он тихо и оглянулся.

Бойцы, уже миновав лошину, поднимались на гриву и удалялись все дальше и дальше. Вместе с ними удалялись и выстрелы, где-то уже за деревней ухали снаряды. А мимо по луговине, уже не хоронясь от вражеских пуль, ехали конники, только что переправившиеся через реку.

Когда Федярка перевязал тряпкой голову чеботаря, — вдруг, откуда ни возьмись, появился Лаврушка, взволнованный и запыхавшийся.

— А я тебя, с ног сбился, ищу! — подбегая, крикнул он. — Тоже мне орел, увязался, а бежать не можешь...

— И догнал бы... так ведь вот... Чеботарь-то задержал... Ишь кровящи-то...

— А ну-ну, — склонился Лаврушка. — Ужели это он? Убило, что ль?

— Дышит еще... Я вот водичкой поил, сладенькой, — и Федярка сунул руку в карман, но вместо оставшегося кусочка сахара нащупал какую-то бумажку. Вытащил ее, развернул.

— А ты чего это? Фиток-то зачем у тебя? — недоумевая, спросил Лаврушка.

Федярка только моргал глазами. Та бумажка, которую им с Макухой вручили на скотской базе, — вот она... Тут в ней все — и цифры, сколько весит каждая скотина, и печать вон круглая, как черная пуговица пришита, и подпись строгого приемщика, который долго взвешивал коров на больших деревянных весах и все убеждал Макуху, что весы у него самые справедливые.

— Так что же ты не отдал?

— Позабыл, — виновато ответил Федярка. — Она же, Макуха, без карманов... У меня глубоконый карман — взяла да и сунула...

— Как она теперь с пустыми руками вернется? — озабоченно спросил Лаврушка.

— Ну-к чего, скажет, что сдали...

— Как же, поверят ей бабы... И Микитич разве поверит. Давай, скажет, фиток... А его-то и нет. Вот тебе и суд праведный. Сразу — трибунал...

— Неужто?

— А как бы ты думал? Сколь мяса-то тут, в фитке-то.

— И наша Красуля тут, — вспомнил Федярка и оглянулся — от реки-то уж далеконок они ушли.

— Придется тебе вертаться, — сказал Лаврушка.

— А ты как?

— Пойду дальше, — ответил Лаврушка и взглянул на Федярку, который насупился и, кажись, готов был заплакать. — А тебе чего... ты мал еще... Тебе вертаться, говорю, надо, — наставительно продолжал он. — Чего же, разве удержишься в бою за мной. Вертайся... А я чеботаря приберегу. Давай, тебя провожу маленько.

— Я и сам дорогу знаю, — словно обидевшись, сказал Федярка.

— Еще бы не знать, — обрадовался Лаврушка. — Вон за лошинкой кусты-то... Там, за кустами, и перевезут тебя... Макуха-то небось ждет.

Федярка посмотрел на видневшиеся вдалеке кусты, потом на лежащего на земле чеботаря, снова на дальние кусты — и, надвинув на глаза картуз, молча и нехотя пошел обратно. Сделав несколько шагов, он вдруг припустил бежать к реке, чтобы вовремя доставить Макухе ценную бумагу и этим уберечь ее от трибунала.

18

Весь день Лаврушка не присел на место. Вначале, проводив Федярку, возился он с чеботарем: перевязывал ему голову, поил водой, потом, увидев проезжавших мимо всадников, попросил довести раненого бойца до ближней деревни. И те — это были красные конники, — осторожно положив чеботаря на повозку, довели его до деревни, положили в крайнюю избу и поехали дальше. Лаврушке тоже некогда было сидеть. Оставив чеботаря на попечение пожилой хозяйки, он попрощался с ним и пошел догонять бойцов. Оружия при себе он еще не имел, за спиной у него висел лишь небольшой мешок с инструментами чеботаря. «Может, в роте и сыщется какой-нибудь умелец подбивать сапоги, вот ему и передам». Так наказывал чеботарь. А если и не сыщется, то чеботарь просил Лаврушку не бросать тот инструмент, а приберечь для себя.

— Ты меня от смерти спас, тебе и рукомесло свое вручаю, — лежа на лавке, напутствовал он его в дорогу.

За деревней Лаврушка снял с ног лапти — босиком.

то бежать куда как легче,— перебросил их через плечо и заспешил вперед по проселку.

«А далеконок наши ушли, совсем далеко,— поднявшись на холм, с нескрываемой радостью подумал Лаврушка и, оглянувшись, посмотрел из-под руки на солнце.— Высоко стоит солнышко, не скоро еще ночь-то, еще можно гнать и гнать беляков».

Но в тот день красным бойцам не удалось дальше продвинуться. Во второй половине дня разгорелся бой с белыми за деревню Верески, и длился этот бой почти три часа. Белые отчаянно цеплялись за деревню. Однако не устояли, озлобленные, подожгли они крайние дома и под прикрытием огня и дыма начали отступать к кладбищу.

Вечером к бойцам приехал комиссар в кожанке, на смуглом лице небольшие усики, собрав бойцов, комиссар сказал, что первый день наступления прошел успешно, красные воины, форсировав утром реку, сразу же на всех участках фронта сломили сопротивление белых и за день с боями продвинулись на добрый десяток верст, а местами и больше. На левом фланге, под Красным Ярм уржумский отряд Сормаха храбро дрался и гнал врага. Неся на себе пулемет и боеприпасы, бойцы схватились с неприятелем и разбили его наголову...

Лаврушка, привалившись спиной к дереву, внимательно смотрел на смуглолицего комиссара и думал о Федяркином дяде Егоре. Вот так же и тот где-то выступает, может, и сюда когда-нибудь приедет. Только Федяркин дядя не такой, он наверняка выше ростом и говорит, наверное, громче. У этого комиссара голос словно простуженный. И сам он не совсем высокий, а тоже, впадать, строгий, как и тот вон чернявый командир. И ремни по тужурке крест-накрест, и на боку — револьвер... И лошадь у него с желтым хрустящим седлом; на такой куда угодно укачешь...

— Товарищ комиссар, можно мне? — обратился один из бойцов и, оставив сигарку, которую он скручивал желтыми прокуренными пальцами, встал.— Прошли мы за день, скажем, десять — двенадцать верст. Это вроде и неплохо, верно говоришь. Завтра еще дальше пройдем, потому большой подъем в народе. Надо сеять, а тут, смотри-ка, на полях еще и горсти не брошено. Разве можно терпеть это белое колчаковское угнетение? Нель-

зя терпеть, товарищи! Вот и ринулся народ. Даже вон мальчонки...

— А ты слушай, оратор, покороче,— посоветовал кто-то.

— Заканчиваю... Только чуточку о мальчонке скажу. Утром нынче веду по противнику беглый огонь... Из кустов, смотрю, выбежал мальчонка... Кругом пули так и сеют. А мальчонка тот, смотрю, без оружия, без всего... Прикрылся картузом и прямо на пули бежит... А он ведь, может, совсем еще малых лет... Может, мать его по всей округе ищет,— широкоскулый боец оглянулся и, увидев Лаврушку, кивнул в его сторону.— Это не ты был? Кажись, не этот, другой, тот еще меньше.

— А этого кто тут приветил? — взглянув на Лаврушку, строго спросил приезжий комиссар.

— Да никто,— ответил чернявый.— Увязался, да и все тут.

— А ну, покажись,— приказал комиссар.— Ты кто такой? Почему оказался у нас?

— Так все же оказались,— шмыгнув носом Лаврушка.

— Хо-хо-хо-о,— дружно засмеялись бойцы.

— Ишь ты, какой смысленый — «все».

— А чего смеетесь? Меня вон сам товарищ Азин в дивизию брал.

— Хо-хо-хо-о,— снова раскатилось по рядам.

— Сам, говоришь, товарищ Азин? — усмехнулся и комиссар.— Это кто же, по-твоему, Азин?

— Будто и не знаю,— уже обиделся Лаврушка.— Боевой командир,— и, выхватив из-за пазухи красную ленту, крикнул: — Вот он, товарищ-то Азин, со своей папашей снял — да мне!..

— Хо-хо-хо-о...

— А чего смешного, может, и прав мальчонка? Товарищ Азин, верно, любит таких,— вдруг заступился за Лаврушку чернявый командир, поняв, что если комиссар не смирится, ему и впрямь придется отвечать за мальчонку.

— Он любит, верно,— сказал приезжий.— Только ты вот, Коржиков, есть Коржиков, а не Азин еще...— и взмахнул рукой: — За то, что ты, Коржиков, приветил несовершеннолетнего, и за то, что этого несовершеннолетнего, может, уже разыскивают родные и что всю вину

за увод его возлагают на нас, красных воинов-освободителей,— вот за это самое следовало бы тебя, по меньшей мере, понизить в командирском звании...

— Да не надо понижать его, товарищ комиссар,— взмолился Лаврушка.— Я же сам, добровольно... Меня не разыскивают...

— Мальчонка этот, видать, дельный! Он вон нашего чеботаря, говорят, спас. Все мимо бежим, думаем, убитый чеботной лежит. А этот мальчишка жизнь в нем приметил...

— Это не я, это дружок мой приметил.

— Ладно уж,— махнул рукой комиссар.— Твое счастье, Коржиков. Обмундируй бойца. Оружие дай ему. И больше чтоб ни одного не брать...

— Понял, товарищ Ветлугин,— сказал Коржиков.

«Ветлугин? Неужели это и есть Федяркин дядя Егор?» — удивился Лаврушка.

А комвзвода уже был рядом с Лаврушкой, подмигнул ему по-мальчишески хитровато: «Ничего, мол, все обошлось»,— и, повернувшись к бойцам, строго, как и полагалось, сказал:

— А теперь, красные орлы, быстрехонько попить чаю — и на Вавож.

— Ночью-то?

— Да, таков приказ, взять ночью село Вавож!..

19

Как только вернулась домой Макуха и сказала, что Федярка и Лаврушка убежали с красными, Глафа так и рухнула на скамью: погибнет сынишка, ведь махонький еще, совсем еще безумок...

— И чего это ты, Дарья, моего-то не остановила?

— Да где их остановишь? — оправдывалась та.— Поднялись чуть свет — и на улицу. Смотрю, и Федярка твой тут же, с бойцами. Опосля заскочил в избу, сказал, на реку, мол, посмотрю, и — в двери. Только и видела, как бежал по улице да картузиком в руке помахивал...

— Горюшко ты мое,— не унималась Глафа.— Чего же ты, безумочек, наделал? — и, поднявшись со скамы, добавила: — Пойду, сама пойду искать парня...

— Не дури, Глафирья,— остановил свекор.— Где же ты на позиции искать его будешь? Позиция-то вон куда

протянулась, до самой Самары,— и, пососав трубку с по-свистывавшим чебуком, добавил наставительно: — Чего же нашего брата нынче искать, он ведь, Федярка-то, как-никак мужичок...

— Молчи уж... мужичок,— возразила сноха.— Не ты бы, тятенька, дома он был бы. Ты его нарядил с Макухой. А ей, Макухе, чего же, не приглядела — чужое-то чужмя кажется...

Евлаха, поняв свою оплошку,— и впрямь погонячем-то послать можно было кого-нибудь другого,— встал и, кряхтя, вышел из избы.

Глафа надернула на голову платок — и к Алешке Кузовкову. Настя тоже плакала: хоть и тринадцать годков Лаврушке, а и он еще не велик.

— А мой-то, Настенька, совсем ведь кроха. Искать надо... Чего же такое — погибнут ведь несмышлениши,— и Глафа, вернувшись домой, стала собираться.— Хоть до деревни той дойду. Сама узнаю все...

Но не успела Глафа отправиться в дорогу, как в избу влетел Федярка, а за ним следом и дед.

— Вот представляю тебе война,— сказал свекор.

— Да где ты, тятенька, нашел-то его? — обрадовалась Глафа.

— За деревню вышел, смотрю, по тракту бежит.

— И Лаврушка вернулся?

— Лаврушка в войсках... И я бы там был, если б не фиток. Его надо было доставить,— ответил Федярка и вытащил из кармана кентанцию.— Вот он, целехонький...

— Ну-ну, ладно,— топталась обрадованная Глафа.— Тебе ли еще по чужой стороне... Чего смотреть на Лавруху — не ровесник он тебе. Подрастешь — и тогда уж...

— Как же... Ждать они, что ль, красные-то, станут... Прогонят без меня всех беляков. Говорю, не фиток бы этот... Не хуже бы Лаврушки пошел. Даже я одного там от смерти спас. Лаврушка, тот впустую бежал, а я вот заметил... Наклонился, вижу, на голове рана. Кровь так и хлещет...

— Да ты о ком это?

— О чеботаре... Чеботарь-то, знаете, какой человек? Всю ночь сапоги чинил. А потом с табуретки — и в бой... А бой-то какой был! Переправились под бомбами; да как пошли мы...

— Ну и ну,— усмехаясь, качал головой Евлаха.— Да ты, буржуй экий, ужель в бою был?

— А то как же? Где чеботаря-то увидел?

— Уж не из бою ли его вытащил?

— Из бою, дедушка, не вытаскивал, потому — беляки убежали вперед... У озерка увидел, будто воду пьет. Смотрю, а он чуть не мертвый...

— Давай садись, да ешь — потом расскажешь,— ставя на стол кринку с молоком, сказала мать.

— И самого Азина видел,— не умолкал Федярка.— Ну и человек!.. Покормил нас,— и, вспомнив о кусочке сахара, Федярка вздохнул.— Нес было вам сахарку немного, да вот... чеботарь-то при смерти лежал. Водой отхаживал его сладенькой... Может, оттого и ожил, чеботарь-то,— от водицы той... На Лаврушку теперь его оставил... Лаврушка, наверно, далеконок шагает. Иначе как же — наступление вон как ходко пошло...

20

Коротко было междупарье — не успели вывезти навоз в паровое поле, а трава на лугах, густая и шелковистая, уже в колено вымахала. Даже удивился сам Евлаха, как нынче быстрехонько пролетье сменилось летом,— давно ли, кажись, сеяли, а тут, гляди-ка, и за косы браться пора.

По узеньким скрипучим ступенькам Евлаха поднялся на поветь, заставленную в одном краю ларями, кадками и разной домашней рухлядью,— это все хозяйкино добро. Евлахин же угол был обставлен совсем по-иному. В самом углу торчали шестики, березовые рогульки — заготовки для вил, какие-то плашки, колодочки,— да мало ли припас он всякого добра. Тут же, около двери, стоял толстый, в два обхвата, сосновый чурбан. На выщербленном широком, как стол, торце его размещался сколоченный из досок ящик с немудреным крестьянским инструментом — молотком, коловоротом, рубанком, стамесками... Все это каждому мужику требуется в хозяйстве, то косу перевить надо, то насадить топор, то изладить грабли — не бежать же за каждым пустяком к соседу? Как раз теперь и подходила та пора, когда мужики, закончив спешные весенние работы, исподволь начинали готовиться к сенокосу. В такую пору распахивали они

настежь повети и, деловито усаживаясь возле своих чурбанов, раскладывали инструмент и начинали ладить грабли, косы, вилы... Но мужиков в этот год в деревне было раз-два, и обчелся, потому-то, может, первым и распахнул ныне двери старик Евлаха. Хозяйским взглядом с порога окинул зеленевшие за Ветлужкой поля и, отыскав свою полосу, сравнил с соседскими — яровина и у него не хуже других взялась за землю, посередке даже темно-зеленым гребнем взъерошилась; потом взглянул на ближний угол — трава-то, трава, так и прет вверх, уже повсюду и баламонок распустился. Здесь, по пойменному откосу, баламонок — самый дружный цветок, оттого и расшил он яркой позолотой зеленую луговину. «Смотри-ка, сила-то какая кругом прет из земли, — подумал старик. — Земля-то, она, любушка, шибко на ласку чувствительна. Позаботься о ней, матушке, и она о тебе позаботится. Только заботиться-то стало некому — на что вон Лавруха, велик ли, и тот...»

Евлаха тяжело вздохнул и, шагнув к своим заготовкам, стал перебирать ошкуренные белые шестики для граблей, — они были гладкие и легкие, как игрушки. И опять с тоской подумал: «Шестов-то сколько запас, — а работников в дому не прибывает — всех поразбросала беспокойная жизнь...»

Прошла неделя, — Евлаха уже изладил вилы и грабли, для крепости колодочки и зубки у граблей помазал жидкой смолой и положил их на солнцепек; перевил все косы — осталось их только выточить.

Точило у Евлахи старенькое, поизносилось насаженное на железный штырь колесико из серого литого камня, однако крутнешь его раз с десятков и коса как бритва. Во всей деревне такого точила нет, — привезено оно издалека, от Жерновогорья, потому и бережет его Евлаха пуще своего глаза.

Евлаха достал с подволоки точило, пристроил его над корытом с водой. Подозвал Глафу, чтоб та покрутила ручку точила, сам же осторожно забрался на расшатанный станок и, взяв за концы косу, по-коршунячьи разбросил руки над точилом. Схватила сталь косы с точильным камнем, зажурчала вода в корыте, запенилась возле лезвия. Расклонится Евлаха, потрогает лезвие пальцем, повращает малость — и опять склоняется над колесом. Хоть и не особенно любил он эту работу (уж шибко си-

дичее дело!), но знал: нынешним летом ему придется подолгу сидеть вот так на станке — некому, кроме Евлахи, во всей деревне точить косы. Есть вон Алешка, однако плохой из него точильщик, до ветру еще с клюшкой ходит — вот как угостил его тот фершал с кокардой белой во лбу.

В первый же день к Евлахе на поветь прибежали бабы.

— Уж мы тебя просить, Евлантей, будем, — сказала Настя.

— Ладно, не просите, буржуи, сам вижу, что надо. Только точило крутите прилежнее...

За такой работой однажды и застал Евлаху Ложенцов. Поднявшись по бревенчатому взвозу на поветь, он поздоровался и полез рукой в сумку.

— Уж не от Егория ли? — перехватив взглядом в руках Ложенцова письмо, спросила Глафа и, подобрав руки к груди, как-то вдруг сжалась — первая ведь весточка, все ли с ним ладно.

— Есть тут у вас Настасья Моралева?

— Это я, — Настя чуть не выпустила ручку точила. — Не от сынка ли моего?

— Все возможно, — ответил Ложенцов. — Поехал к вам, мне и сунули на почте, вот, читай.

— Да неграмотная я, Алексей Микитич... Уж ты прочти.

— Если доверяешь...

— Вам да еще не доверять, — ответила Настя. — О хорошем вслух читайте, о худом — втихомолку... Да скорее, уж не томи, Алексей Микитич.

— «Добрый день, мамка, веселый час, — начал Ложенцов. — Ты не беспокойся обо мне. Я живой и совсем здоровый. Не ругай меня, что ушел не спросясь. Иначе как же было не идти. А так все здесь хорошо. Мы ходко гоним беляков. Они удирают от нас и бумажки на столбах наклеивают: «Не торопитесь, дайте хоть раз чайку спокойно попить»...

— Ишь ты, чайку спокойного, буржуи, захотели, — усмехнулся в усы Евлаха.

— «А мы им не даем ни отдыху, ни продыху, — продолжал читать Ложенцов. — Потому командир взвода у нас, Қоржиков, шибко смелый. Он тоже как Азин. И еще сообщаю, что мне ботинки выдали, шинель новую,

брюки с красным лампасом. И еще дедушке поклон. И еще шлю поклон Федярке. Вовремя ли он доставил на деревню фиток? Чуть не унесли его в поспешности на фронт. Благодарность выражайте Федярке, это он первый спохватился...»

— Смотри-ка, дружка-то свою как расхваливает,— улыбнулась Глафа.

— «А теперь командир наш сказал, что пойдем дальше и дальше. Только обо мне, мамка, ты не беспокойся, я совсем, совсем живой и здоровый, того и вам желаю. Ваш сын Лавра».

— Ишь ты... Лавра,— опять усмехнулся Евлаха.— А ты еще, Настасья, беспокоись. Да рази они пропадут? У нас, у ржанополойцев, у всех в роду написано: из огня да из полымя выскочат.

— Федосий-то?..

— То другое дело, Глафирья... Федося наш тот раз где был? Он в Пинские болота погруз. И не погруз бы, если б не офицерье. Офицерье продажное заманило их туда... Заманило да и бросило на произвол судьбы,— и, взглянув на сноху, распорядился: — Идите-ка, бабы, ставьте самовар да угощайте гостя с хорошими пестями.

Когда женщины ушли, Евлаха спросил:

— Откуда письмо-то взялось, Алексей Никитич?

— Из Вавожа привезли.

— Эвон откуда,— удивился Евлаха.— Так ведь я там прошлогодь был. Ой-ей-ей, как солоно достался нам этот Вавож...

— Расскажите, как там дело было? — заинтересовался Ложенцов.

— Да как тут было...— задумавшись, посерьезнел Евлаха.— На ту ночь наши пушки были поставлены у церковной ограды. Поставлены потому, что пехота ушла вперед, а мы вроде как в тыле оказались. Кто тут ждал белых-то?.. А наутро, откуда ни возьмись, офицер к пушкам тем подбежал с наганом в руке, и выбежал он, буржуй, из псаломшиковой ограды. Схватился было за самую пушку, да наш часовой не промах — успел всадить в него из ружья. И зачалась тут с нашей стороны пальба вездехонько из ружей да пулеметов. А потом подбежали к орудиям свои номера и давай их на картечь садить. Так и отбились. Белым не досталось ни одного пулемета, ни одной пушечки... А как за ними бежали-то?

Помню, был стрелок один со мной, сказывался владимирским. Говорили мне, что у него насквозь груди пуля прошла, ты мол, папаша, за мной поглядывай, упаду, так кричи передних и винтовку мою убереги. Сам ведь, своими ногами, прошел он двадцать верст до Воздимонья с пулей в груди... Поищи-ка таких молодцев! — и, взяв косу, Евлаха в раздумье добавил: — Только вот не вспомню по фамилии часового, который на пулю-то посадил того офицера? Тревогу-то который поднял... Одно знаю, что звать Иваном... Иван и Иван...

— Так это же, говорят, сын был мой Ваня, — ответил Ложенцов.

— Разве? — удивился Евлаха. — Верно, смахивает по облику шибко на вас, Алексей Никитич. Высокий собой, бравый...

— Письмо получил от командира. Пишет, будто бы Ваня мой пушку ту охранял в Вавоже...

— Вначале Иван один там был, верно, — вспоминал Евлаха. — Это потом мы подросли... Если бы не он, говорю, ну, крышка бы тогда всем нам была, — и, помолчав, спросил: — Теперь-то он где, сынок ваш?

— На Казанке, — вздохнув, грустно ответил Ложенцов. — Вечным сном спит, — и, достав трубку, стал несмущающимися пальцами набивать ее табаком.

— Да-а, много крестов по бережкам нашим да увалам понаставлено, — и Евлаха сдернул с головы картуз. — Вечная им память, соколикам...

Как только адвокат, сухонький, глуховатый старичок, вышел из душевой камеры, Сафаней Вьершов взял со столика бумагу, исписанную старомодным почерком.

«Я, осужденный к пятилетнему заключению, — начал он про себя читать написанное адвокатом прошение, — впервые лишенный свободы, едва достигший 25 лет от роду, интеллигентный пролетарий, обращаюсь к верховной власти рабочей и крестьянской Республики, глубоко убежденный в путях великодушия и милосердия ее, я найду хотя какое-нибудь облегчение тяжелой участи своей, убивающей мои молодые силы, любовь, и переживающий смертельную болезнь Родины, нуждающейся в самоотверженной работе своих детей и надежду... на-

дежду...» Надежду на что? — сам себя спросил Сафаней и долго вглядывался в непонятно написанное адвокатом слово.

Сафаней поморщился, упрекнул адвоката в небрежности и, перескочив заковыристую строчку, продолжал:

«...Если обратиться к обстоятельствам дела, хотя бы на несколько минут отрешиться от канцелярско-бюрократического способа отвлеченного мышления, отказаться от шаблонного приема оперировать выработанными еще старыми законами нередко весьма сильными и странными выражениями, вроде «вооруженное восстание», «служба в дружине» и тому подобное, и взглянуть на все, что было в Нолинске...»

«Почему он пишет здесь о восстании и о Нолинске? — опять болезненно морщась, с тревогой подумал Вьершов. — Ведь судили-то меня за фальсификацию документов?»

Глаза его снова лихорадочно схватили лепившиеся по листу бумаги строчки:

«...И взглянуть на все, что было в Нолинске, спокойно и объективно глазами исторически мудрого, житейски опытного и годами уравновешенного Судии, то нельзя не прийти к заключению, что постановленный в отношении меня приговор не соответствует мере содеянного мною и ни с какой точки зрения не отвечает ни правде житейской, ни современным взглядам и тенденциям рабочего и крестьянского Советского правительства, ни морали высшего человеческого разума...»

— Крыса!.. Как нацарапала, старая крыса, — не удержавшись, уже вслух выругался Вьершов и швырнул бумагу.

«Да разве так надо писать прошение во ВЦИК? Написал, как церковный пономарь... Читаешь, и до сути не доберешься...»

«Да, я виноват в содеянном, — присев к столу, начал он огрызком карандаша писать сам крупно и размашисто. — Я действительно скрыл свою фамилию. Я боялся за свои мальчишеские дерзости, но я, как человек чистого пролетарского происхождения... — и вдруг, будто запнувшись, подумал с минуту — и, подумав, зачеркнул последние слова и написал над ними: — пролетарского и рабоче-крестьянского...»

Помусолив огрызок карандаша и зачеркнув только

что написанное,— вставил, как и было у адвоката: «интеллигентный пролетарий» и, вновь не удовлетворившись, с яростью отбросил карандаш.

В который раз Вьершов возвращался к этому, все больше тяготившему его вопросу и каждый раз не мог толком понять, как же лучше определять ему сейчас свое происхождение? Не откроешься же перед всеми, что он сын торговца, не напишешь, что он и крестьянин; может, взять да и написать «рабочий»? Но ведь могут спросить, на каком заводе работал,— и тогда все полетит вверх тормашками... А может, и впрямь лучшего определения, чем «интеллигентный пролетарий», не найти?..

Вьершов обхватил руками круглую, нагладко стриженную голову, и снова представилось ему недавнее прошлое.

Он живо вспомнил разговор со Степановым в штабе генерала Гайды. Потом вспомнилась переправа по последнему льду через Вятку, потом — хлипкая, с расползающимися под ногами апрельским снегом дорога... «Не заходить бы мне тогда в деревню, все бы, вероятно, и пошло, как надо... Кто бы узнал меня в форме фельдшера? Все было обдуманно так хорошо. И документы, взятые у убитого Михаила Лукоянова, и его фуражка с белой кокардой, и отпускное удостоверение с красным крестом в левом уголке — все, все было хорошо... Оставалось только добраться до Нолинска, и добраться чуточку раньше, чем придут туда войска генерала Гайды. Там, в Нолинске, ждут старые друзья. Они сумеют на славу встретить своих освободителей. А потом,— быть мне тут, в Нолинске, первым человеком. И наведу же я в городе порядочек! Походят тогда господа нолинцы ко мне, поклоняются. И Люда не раз спохватится...»

Шел он тогда среди беженцев, но чувствовал себя не беженцем, а завоевателем, шел, полный надежд, веря, что через месяц, а то и раньше, по этой же дороге барабанным гудом пройдут непобедимые войска правителя всея Руси...

«И надо же было зайти в этот Ржаной Полой, зайти и так глупо выдать себя. Ужели убил старика? Пусть бы только ранил, старик ни в чем не повинен... Это лишь случайная встреча, и, обороняясь, я был вынужден нажать спусковой крючок револьвера. И эта вот случайность преградила мне путь в Нолинск... Надолго ли? Го-

ворят, красные переправились за Вятку и перешли в контрнаступление. Хотя бы газету прочитать...»

Сафаней, устав от нахлынувших воспоминаний, бросился на твердую койку. Подложив под голову руку, закрыл глаза, но воспоминания так и не покидали его.

Он вспомнил, как приехал в Котельнич, надеясь здесь какое-то время переждать опасность. Но оказалось, что и тут беспокойно, место бойкое — на каждом шагу снуют красноармейцы, моряки. И Вьершов, недолго думая, сел в поезд, идущий на Вятку. Начал кружить... Вот он едет вместе с мобилизованными в теплушке, показывает отпусковое удостоверение с красным крестом, вместе с другими на станции выскакивает из вагона и бежит за кипятком... И вдруг его окликает знакомый голос. Он не раз о ней думал, но встретить ее здесь не ожидал...

— Сафаша! — окликнула она его.

— Вы ошиблись, гражданка, я никакой не Сафаша.

— Ну, как же не Сафаша! — подойдя, сказала она. — Ужели позабыл? Я Люда, — и она схватила было его за руку, но он отстранил ее.

И надо же, в это самое время к нему подошел милиционер.

— Ваша фамилия?

— Лукоянов, — ответил Сафаней и, резко повернувшись, бросился вдоль состава, расплескивая кипяток.

— Держите его, держите! — закричал милиционер.

Сафаней вскочил на подножку вагона, но тронувшийся состав вдруг остановился...

И вот он, Вьершов, здесь...

«Как же все это объяснить теперь? Хорошо еще, что судили меня только за фальсификацию документов, а не за старика, не за Нолинск... Чего же он, старая крыса, вспоминает тут, в прошении, о Нолинске? Зря рассказал ему об этом... Ведь в толчее событий все перемешалось, может, и забылось, кто в кого стрелял, кто поджигал военкомат... Разве я один поджигал? А Курагин, а Пьянков... Много было людей, все толпились у огня, все стреляли. Все перемешалось... Может, оттого и в суде никто не вспомнил об этом. Так и надо писать: бежал, мол, от белых... Стремился в Красную Армию. И вот — этот милиционер на станции... Это же недоразумение, и только... Так и надо объяснить. Скорее же, скорее писать, для обжалования осталось уже мало сроку...»

Однажды Сафанею принесли передачу. В узелке — кусок зажаренной телятины, пшеничная с зарумянившейся корочкой булка, осьмушка табаку. Передачами его не баловали, и Сафаней обрадовался.

— А писульки не передавали?

— Никакой писульки не было,— ответил надзиратель.

Сафаней отломил кусок и протянул его надзирателю — добрее потом будет. Надзиратель вначале отказывался, однако взял, откусил — на иссиня-темной щеке заиграл тугой желвак; поппиающе покачал головой:

— Крупистятая...

Вернувшись в камеру, Сафаней задумался: кто же все-таки принес ему передачу? Сестренка? А может, Люда?..

Это была целая история. Недолгая, но цепкая, все еще волнующая его история.

Началось это весной прошлого года.

В городе знали, что отец Сафанея имел особое пристрастие к граммофону. Как только подвыпьет, сразу берется за граммофон: «Теперь не мешайте — буду на инструменте играть». Распахнет окно, поставит на широкий подоконник граммофон с блестящей изогнутой трубой — и, выбрав пластинку, как он обычно говорил, самую житейскую, начинает «играть» на всю улицу.

Пластинок и впрямь у него было много. Но по натуре старик был человек грубый и большой охотник до женщин, и пластинки он приобретал сообразно своим вкусам. Как только старик заиграет на своем «инструменте», собираются любители к вьершовокому окну и стоят — покуривают да похохатывают. А хозяин рад: обождите, не это еще, дескать, сыграю.

Поскольку напротив его дома, через дорогу, стоял собор, то к Вьершову несколько раз наведывался толстый священник и просил его не играть богохульные песни. Но Вьершов-старший только ухмылялся:

— А вы-то, в подрысниках, не от мира сего, что ль? Вы-то еще почище будете. Не токмо с мирскими, но и с монашками в пупсики играете. Вот послушайте-ка, вашу житейскую заведу.

И заводил про монашек. Священник, подхватив рясу,

торопливо переваливался на своих коротких ножках через дорогу, обещая проклясть еретика до третьего колена.

Однажды, когда старик поставил такую пластинку, проходила мимо окон инспектор наробраза Людмила Петровна, совсем недавно приехавшая в город. Остановившись у окна, она с упреком сказала:

— Как вам не стыдно заводить такую похабщину?

Услышав женский голос, к окну подошел случайно оказавшийся в комнате Сафаней.

— Закройте же окна, молодой человек! — потребовала она и, встретившись с внимательным и чуть насмешливым взглядом молодого военного, добавила: — И не стыдно?

— А чего же стыдного-то? — не отводя взгляда от ее вдруг потемневших глаз, ответил он, но тем не менее выключил граммофон.

Сафаней почему-то поразили ее глаза — большие, с золотистым блеском, и, словно желая еще увидеть их, он выбежал на улицу. Женщины у дома уже не было. Он посмотрел в одну сторону, в другую — и увидел, что незнакомка дошла до перекрестка и свернула за угол к городскому саду. Сафаней стоял и все еще представлял себе ее строгие глаза, — казалось, они изнутри излучали какую-то силу, которая тянула его за собой. Не понимая еще, что же с ним происходит, он быстро добежал до угла и, повернув к саду, догнал ее.

— Извините, барышня, больше не повторится, — сказал он.

— Я рада, что наконец это надоело и вам, — остановившись, ответила она спокойно и уже другим, несколько потеплевшим голосом добавила: — Согласитесь, такие песни проигрывать нехорошо, об этом весь город говорит...

«Город нам еще не указ», — чуть не сорвалось с его языка. Однако он сказал совсем другое:

— Приходите завтра в это время сюда, вы убедитесь, что я умею держать слово.

И Людмила Петровна в назначенный срок пришла к саду и встретила Сафаней. Неподалеку в канаве лежала грудка разбитых пластинок.

Так они познакомились.

А потом встречи стали повторяться. Хотя мать Сафа-

нея, Васса, — худенькая, с болезненными, вечно слезившимися глазами женщина с первого же взгляда невзлюбила «стриженую», однако сына почему-то тянуло к ней.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не развернувшиеся тем летом события. В тот год Сафаней только что весной вернулся с фронта с Георгиевским крестом на груди. Долго задерживаться здесь не собирался. Но быстро покинуть отчий дом ему не удалось — сначала познакомился с Людмилой Петровной, а потом, когда Люда уехала на курсы, нахлынули другие события, которые быстро втянули его в свою крутоверть.

И вот последняя встреча с Людой на вокзале. Он не ждал этой встречи. И не нужна она была, наоборот... Если бы не эта встреча, он, возможно бы, и не сидел в тюрьме. Своим возгласом она обратила на него внимание, и милиционер, видимо разыскивавший кого-то, задержал его. Сафаней не мог простить Люде этой оплошности. Однако, вспоминая о ней, он как-то вдруг ожил, какое-то теплое чувство колыхнулось в душе, ему захотелось увидеть Люду. Не мешкая, он постучал в дверь и спросил надзирателя, нельзя ли повидать женщину, которая принесла передачу.

Узнав, что она уже ушла, Сафаней почувствовал в себе гнетущую тоску. Да, надо скорее выбираться отсюда на волю!..

23

Через месяц пришел ответ на кассацию: срок наказания снизили до двух лет. Обрадовался Сафаней: «Значит, не шибко-то большой провинок за мной признали, написать бы бумагу получше, может, и совсем освободили. Но теперь поздно, придется два годика тянуть лямку... Хотя осталось уже меньше — три-то месяца следственных пошли в зачет». Сафаней заметил, как изменилось и отношение тюремного начальства к нему: парень-то и в самом деле, может, не виноват, если больше половины срока скинули в верхах. Вместе с другими стали выводить на волю и его: то забор где-нибудь надо подправить, то дров напилить, и он не тяготился этим — на работе-то время быстрее бежит.

Как-то в начале лета выдалась новая работа — требовалось перебрать тротуары по всей улице, начиная от

тюремного двора и кончая спуском к реке. На такое дело плотники нужны, кто легко умеет топором махать. И опять Сафашка тут как тут. Он не то чтобы ловок был на топор,— он грамотнее других, при случае и за старшего может сойти, как-никак подмога конвою.

Подвезли досок, тонкомерных бревнышек для лежек, и началась работа: кто старый тротуар разбирает, кто доски пилит, кто топором орудует, доску к доске подгоняет и сплачивает их.

Сафаней так увлекся, что даже вспотел, картуз повесил на столбик, сам топором работает да вдобавок еще и командует, где надлежит положить новую лежечку, а где оставить старую, где снизу подбить доску, чтобы все было «заподлицо» сделано. Работнички тут подобрались аховые — мешочники да попавшиеся на «монопольке» мужики, таким бы только самогонку дома варить... Одним словом, насобирался разный народец,— его, как и доски, тоже надо сплачивать...

И Сафаней умел это делать: где прикрикнет на виду у конвоя, а где и шутку бросит — у него это ловко получалось, сразу видно, человек бывалый. Пройдет сорок минут, Сафаней взглянет на часы, что красуются на руке, и — перекур. Затанутся раза по три табачком мужики бритоголовые, друг на друга похожие, — и опять за дело.

— Живей, живей поворачивайтесь, — и Сафаней кивнул в сторону конвоира, стоявшего чуть поодаль. — Тюрьма нын, как мать родна, она перековывает нашего брата, раба божия мешочника, в сознательного члена нового общества.

— Это как же так понять, в какого такого члена? — спросил кудрявый цыган, попавший в эту компанию за увод коня с чужого двора.

— А вот так и понимай, — стараясь подделаться под цыганский говор, ответил Сафаней. — Пришел ты сюда из-за чужого коня, побудешь тут годика три-четыре, тогда не только на чужого не будешь заглядываться — своего отдашь.

— Ну нет, чужого не возьму и своего не отдам...

— У нас теперя все должно быть общее...

— Это уж точно, — согласился с важным видом и конвоир, что как-то отведал у Сафаней крупитчатую булку. День незаметно клонился к вечеру. А тротуар надо еще тянуть и тянуть. Через ровик надо перевести его,

а там и дальше — дня на три дела хватит. «Это ничего, — подумал Сафаней, прилаживая доску сбоку тротуара, чтоб залатать выемку под ним. — Хоть на воздухе побудем...»

И опять вспомнил о Люде: должно быть, она приезжала в Вятку, побывала и уехала обратно, теперь уж больше не придет. Примолк, раздумывая о ней. Примолкли и другие. За день-то обо всем переговорили, перекурами все бывальщины извели, о чем же тут балакать — и поднадоело, и помолчать не лишне, кое-что в думушках своих вспомнить... Так прошло молчком полчаса, только слышно было, как повизгивали пилы, постукивали топоры. И вдруг опять перекур. Табак-то свой, а спички — у конвоира. Потянулись к нему, как цыплята к наседке. Цыган, чиркнув спичкой о коробок, зажал трепетный язычок пламени в пригоршнях и каждому услужливо подносит прикурить, — вначале, конечно, самому конвоиру, а потом и своим...

— Смотри-ка, перековался наш цыган-то...

И все засмеялись. Смеялся и «перековавшийся».

— А где у нас старшой-то?

— Верно, где он? — и все оглянулись.

— Сейчас тут был, вон и картуз его на столбике.

Теперь уже спохватился и конвоир.

— Встать! — зычно крикнул он, хотя никто не сидел. Но все знали, что по команде «встать» тотчас же надо построиться.

Построились... Вьершова среди них не оказалось.

— Убег, мерзавец! — зычно крикнул конвоир и, щелкнув затвором винтовки, метнулся к дощатой ограде, за которой пышно цвела сирень. — Туда, должно быть, убег, — и он выстрелил вверх, давая знать своим о случившемся.

Поднятые по тревоге охранники вначале искали Вьершова в садике, потом принялись обшаривать клетушки и дровяники стоящих вблизи домов, расспрашивали встречаемых, не пробегал ли тут бритоголовый. А Сафаней Вьершов, завалившись в выемку под тротуаром, преспокойно лежал, прислушиваясь к приближающимся и удаляющимся шагам прохожих, к постукиванию над собой каблучков и каблучков, к шуршанию босых ног, к топоту ребятишек, и терпеливо ждал ночи.

В Фанькиной кузнице, как и у Ильки Кропота на мельнице, всегда самые свежие новости. Чуть ли не со всей волости наведывались сюда люди: ни один кузнец в округе не ковал так дельно, как Фанька. У него не только наковальня есть, но и станки разные — любую вещь может изладить. Серпы бабам даже делать начал — вот какой это Фанька. И не пустобрех он, не в отца удался. Отец-то на собраниях как балалайка бренчит, а Фанька не такой — он скажет слово, но слово-то его дороже десяти.

Новости Фаньке приносят не только мужики да бабы, больше всех их приносит местный почтальон. Когда и читает Фанька — неизвестно, но все газетки он знает, что написано в каждом столбике, расскажет. Захвачанные да замусоленные, висят они на косяке на кривой наковальне, специально сделанной для них. Придет мужик в кузницу, Фанька выслушает его, кивнет в сторону косяка, почитай, мол, а сам к горну да к наковальне.

Кует Фанька или мастерит что-нибудь по заказу, а мужик тот шелестит газетой. Может, и не читает он, а лишь примеряется, сколько бы сигарок выгадать из такой вот хрустящей портянки. Шелестит-шелестит, да, глядишь, что-нибудь по слогам и сложит. Прочитает — и, заинтересовавшись, спросит другой раз Фаньку, как это, мол, понимать надо: за мужика газетка-то нын аль как?

— Теперь все за мужика — и газета, и власть, — ответит Фанька и, смахнув с лица пот, снова за работу.

Но мужик хитер, он все не расстаётся с газетой, все примеряется, а потом, когда придет пора уходить, перешагнет порог и, будто между прочим, спросит:

— А старенькой газетки нет ли, Фаня, на сигарку? Хоть в бересту завертывай!

— Газету нельзя, — ответит Фанька. — В ней портреты вождей да постановления, как же ты курить их будешь? — и, достав с полочки специально припасенную для такого дела бумагу, свернутую в гармошку, подаст: — На-ка вот, оторви на сигарку.

— А на две нельзя?

— Можно и на две...

Частенько заходит сюда за новостями и Евлаха. Посидит на пороге, послушает мужиков.

Сегодня у Фаньки новость особенная, из газеты вычитанная, потому и надежная,—и Евлаха вернулся домой возбужденным.

— А ну-ка, Глафирья, станови самовар,—и свекор с карандашом в руке подошел к окну.

У него тут на косяке свой счет ведется, свои пометки. Пометок этих уже целый столбик спускается вниз. Совсем еще недавно он вписал:

2 июня Сарапул

3 июня Агрыз

8 июня Ижевск,—

и вот опять надо записывать.

Глафа знает, что в эти дни июня месяца красные вернули себе несколько городов. Для нее это тоже большая радость, Егорша-братец как раз за эти города и воюет. Как же не радоваться тому, что наши гонят вражину все дальше и дальше...

Радуетса Глафа, однако замечает для порядку — хозяйке это положено:

— Запачкаешь косяки-то, тятенька.

— Ничего, мы потом белилами их помажем,—отвечает Евлаха.—А пока что с Федяркою писать будем... Это же, Глафирья, такое дело!.. Бегут ведь, смотри-ка, беляки и чайку уж попить не просят. В хвост и в гриву гонят буржуев. Дай бог доброго здоровья нашим!..

И, помусолив во рту карандаш, Евлаха занес новую дату на косяк:

«15 юля Катири́нбурх»

На этот раз надпись получилась неуклюжей, с переносом: слово-то слишком большое, неудобное.

— Ничего, одного косяка не хватит — на другой переберемся. Так, что ли, Федярка?

— А еще много городов-то брать надо?

— Много ли — не много, а все возьмем!

«Конечно, возьмем!» — Федярка, сорвавшись с места, убежал, чтобы сообщить дедушкину новость другим ребяташкам.

Вскоре Федярка привел взглянуть на новый город, записанный на косяке, Юльку. Она хоть и девчонка, а все расспрашивает, где да что творится. Да опять же

и о братце ее — Лаврушке хочется узнать, далеко ли он ушагал с красными войсками.

Забравшись на лавку, Юлька провела пальцем по надписи, по слогам сложила слово,—верно, город-то больно непонятный какой-то.

— Царица, слышь, такая была... Катька,—пояснил Федярка.

— А тут ведь не Катька.

— Не поймете вы, буржуи экие,—решив прийти на помощь, сказал Евлаха.—Катька — это по-нашему... Ну, а она назвала вроде на немецкий лад — «бурх», Катькина столица, дескать!..

— А пошто царицей город назвали?

— Видишь ли, каждой царице память о себе оставить хочется, вот и назвала так... Теперь вот мы завоевали, снимем старую вывеску. Вон Егор-то наш что пишет: целыми полками в плен забираем беляков. А раз берем их, так не без городов же...

«Это, наверно, шибко много, если целыми полками,—подумала Юлька.—Жалко, что не парень. Была бы парнем, тоже воевала, как наш Лаврушка. Хорошо парнем быты! Девчонке только и знай — пряди куделю да тки полотно...»

— А ты, дядя Евлантий, привет-то передаешь ли от нас, от мамки, от меня? —спросила Юлька и добавила: — Когда будешь писать, спроси, скоро ль домой вернется Лаврушка наш.

— Теперь уж, наверно, скоро,—пообещал Евлаха.—Теперь уж видишь, как наши ходко идут,—и он закурил.—Ну, чего у тебя дед робит? —поинтересовался он.—С ветряком все возится?

— С ветряком. Сделает вот, и к Ильке больше не поедет, сами молоть будем. Кропот-то шибко обдирает...

— А дедушка у тебя как, задаром будет?

Юлька не знает, как дед будет молоть, и тянет просто паугад:

— Не-е-е...

— То-то вот и есть, наверно, так же, как и Кропот...

— Не-е, не Кропот... Кропот, тот в вышитой нагрудке,—не соглашается Юлька и убегает, чтобы спросить дома, как будет молоть дедушка.

Евлаха знает, если Алешка Кузовков дома, он тотчас же выберется с костылем на улицу и крикнет через до-

рогу Евлахе: «Ты чего, мол, меня с Кропотом-то путаешь?»

Но старик не появляется на крыльце, видать, опять ушел в лес с топором.

— А тебя он в пай не звал, тятенька? — неся на стол кипящий самовар, спросила Глафа.

— К ветряку-то? А чем мы его справим? У Фаньки для этого дела каждая железина припасена. Потому чего Алехе звать-то меня? Руки разве нужны, так у него свои руки есть... А главное — Фанька...

«Фанька, это верно», — молча согласилась Глафа и принялась разливать чай.

Правда, чай-то нынче у каждого свой — или морковный, или шиповниковый, — осенью бабы да ребятишки все кусты обобрали по кособору. Федярка тоже лукошко шиповника принес, теперь вот и попивают они свой чаек. Из первой заварки Глафа всегда наливает свекру, он любит погуще и цветом чтоб не блеклый был — блеклой-то да мутной воды и в кадке много.

Налила Глафа свекру стакан, подала на стеклянном блюде. Фанька, заметила Глафа, тоже любит пить, как и свекор, из стеклянного блюда. И ведь подумать только, какой дельный уродился этот Фанька! И собой неказистый — и низенький, и сутулый, смотришь, вроде бы с горбиком, только глаза у него забористые.

Пришла она как-то в кузницу, замок надо было починить. Фанька взял его, повертел в руках, глянул на Глафу, сам сутулый, а глаза — хорошие.

— Чего у тебя с замком-то, Глафа?

— Ключ что-то не подходит.

Фанька повертел в руках ключ, подпилочком дернул раз-другой по бородке, вставил в скважину, крутнул — и замок запел. Ну и руки золотые, ведь замок-то сколько лет без пользы лежал!

— И как ты это умеешь все, Фаня?

— А чего тут трудного?

— Как же не трудно? Вот я не умею... Сколько за работу-то, Фаня?

— Ничего не надо.

— За спасибо, что ли?

— Это вам спасибо, — и так глянул на Глафу, что ее даже в жар кинуло: с чего бы это он?

— За что же мне спасибо?

— Как за что? Зашла вот...

Глафа зарделась и, стараясь скрыть омушение, перешагнула за порог. Чтоб еще поблагодарить, оглянулась и невольно встретила с его глазами. «Не уходи...» — будто просили они.

И теперь, за чаем, Глафа вспомнила этот случай, вспомнила — и пожалела Фаньку: «Такой парень, а живет один-одинешенек. Девоч, что ль, по нему нет?»

Пожалела — и удивилась: «С чего бы жалеть-то мне?»

25

Лето в тот год выдалось жаркое, в полях неожиданно разом все созрело. В другие годы бывало так: пока убираешь рожь, не спеша зреет ячмень, за ячменем — пшеница; поуберутся в полях, — тогда и овсяный снопок начинает проситься в угол. Все идет по порядку. А тут — не убрались с рожью, а уже начали жать ячмень, и овес уже, гляди, в рябую курицу стоит, поздний-то сев ныне догоняет первую горсть.

Алешка — тоненькие ножки похватал-похватал со снохой серпом рожь, да и решил кликнуть людей на помощь. Правда, старуха возражала: помочи-то, мол, раньше устраивали бобыли да разные захребетники, но старик процедил сквозь зубы: «Ба-был-ка» — и добавил громко: — Тогда жни сама, если бойка шибко.

А где тут бойчиться Христе, она уже и так года три в поле не бывала, давненько прихварывала, хорошо, что еще около печи управлялась, — разве ей ныне до жатья?

Кузовков достал счета, уселся к столу. Придут девки да бабы, бабам легонькое угощение — по стаканчику водки, — и хватит, а девкам и того меньше — изба для каблуков есть, пусть пляшут до упаду. Избы-то не убыдет. Зато в какие-нибудь полдня всю рожь у него под корень подвалят — прямая выгода.

Фанька не поддерживал затею отца, однако отговаривать не стал: наем чужих-то рук нынче, по газетам, не особо одобряется, того и гляди в эксплуататоры человеческого общества попадешь. А помочь — дело добровольное, давно оправданное, кто хочет — придет, а у кого желания нет, пусть сидит без веселья дома.

За два дня до праздника Алешка объявил в деревне, чтобы девки и бабы в воскресенье после обеда приходи-

ли к нему с серпами на канавную полосу, а вечером, как только в поле отросит, будет установлено угощение в горнице, а игрище — в избе до вторых петухов. Чтобы побольше собралось, он послал Юльку с Федярой на угоры — надо известить и соседние деревни, на полосе места всем хватит, как и в избе.

Озабоченная Настя забежала к Глафе и тоже просила прийти — не работа нужна, распорядок. Соберется столько людей, надо всех расставить, чтоб не простояли. Тятенька-то хоть и ходко языком бренчит, а толку от него не лишка, тут в поле нужен женский глаз да уговор.

— Я-то с мамой ужин варить буду, — сказала она. — Не отказывайся, приходи, Глафа, жни — не жни, а только серпом помахивай...

Глафа почему-то даже обрадовалась приглашению: или потому, что помочь заваривалась у них в деревне впервые и побыть на ней интересно, или ей хотелось искренне услужить подруге, или обрадовало что-то другое, — и сама не знала, но, не задумываясь, она пообещала прийти, хотя надо было спроситься у свекра — отпустит ли еще он? Глафа не сомневалась в том, что свекор отпустит, но проситься надо — такой порядок у них в дому.

Когда Глафа сказала об этом свекру, Евлаха нахмурился.

— Ну, и хитер же у нас Алеха, — помолчав, ответил он. — На чужом горбу да прямо в рай...

— Так ведь как же, тятенька? Сами обращаемся нередко.

— Обращаемся к Фаньке.

— Хозяйство-то одно.

— Верно говоришь, хозяйство одно...

И Глафа пошла.

На большую кузовковскую полосу собралось и впрямь много людей. Пришли не только из своей деревни, прибежали девки и с угоров. А бабы, как и Глафа, пришли не ради игрища, а просто для помощи, к Фаньке-то, верно, все они обращаются — надо и его уважить. Полоса хоть и широкая, но места для всех оказалось мало, пришлось хозяину половину жниц вести на другую полосу. И там все не уместились. Тогда снова решили поделиться на две группы и жать с обоих концов, идя друг другу

навстречу. Полосища-то вон какая, протянулась на два гона, кричать друг друга — не докричишься.

Но полоса не пугает — жнут девки, только косы на ржаной стеной мелькают да платки вспархивают белыми голубями.

Алешка Кузовков как угорелый, бегаёт с одной полосы на другую, и хромать вроде меньше стал, ещё бы, дело-то большое затеял. Две бы таких помочи — вот и вся бы рожь. А обмолотить уж сам сумеет. Фанька-то вон молотилку мастерит. Нутро из города привез, а остальное все сам сделает. Бежит Алешка по полосе, на ходу колоски подбирает да в картуз свой бросает — как колосок, так и колобок...

Кое-кто из баб уже завидует: смотри-ка, много выжнут ведь ему! Ну и Алеха, дельно удумал, посмотрим, какое угощение поставит.

Угощение готовит Настя. Она тоже ног под собой не чувствует — наготовь-ка на такую ораву. Старуха — мать Христя сидит на припечке да только распоряжается: столько хлеба надо, столько-то шей... Хлеба запасли заранее — испекли с десятков ржаных караваев да доску пшеничников. Пшеничников хватит каждому по жеребейку. Пшеничники даже маслом сверху легонько помазали — пусть вспоминают добрых хозяев. Наварили студня чугуна, разлили маслянистую жижу в кринки, тарелки, блюда, — все, что подходящее было, заняли, унесли в сени на холодок, приставили караул — Юлька должна оберегать угощение от кошек. Наварили и шей — тоже чугуна ведерный. Третий чугуна — каши овсяной. Чего же ещё, — сытно будет, девки да бабы в Ржаном Полосе и так ядрены, перекармливать не годится... Что же касается другого угощения, так оно кое для кого держится в секрете. Для виду на стол Алешка выставит несколько бутылок с наклейками, а ещё — три четверти самогону припасено. Чуть чего, — водочку, мол, пили, не самогонную кумышку.

«Посчитай да поукладывай все-то — не дешево обойдется, — прикинув, подумала Христя. — Не окупят ведь столько добра!»

Выглянув с припечки из-за трубы, посоветовала:

— Щи-то бы водицей разбавить... Проработаются, есть захотят. Того и гляди не хватит...

А работали в поле, верно, не расклоняясь. Полоса под серпами будто ходуном ходила. Вначале и голосов друг

друга не слышали, а теперь вон уже девки перекликаются. Хозяин только подбадривает:

— Солнышко-то низенько стало, нажмите еще, бабоньки, на середку.

— Нажимаем, Елексий, середка-то, она сладкая, — хохотнув, ответила Гаврина сноха, и все засмеялись.

— Постарайтесь и вы, девочки, изба большая...

— А дролечки-то наши придут ли?

— Пусть приходят, только без бурла, смотрите. Не разрешу, ни в коем разе...

Кузовков бурла страшится, хотя и знает, что ныне некому бурлом ходить.

Откуда и взялось это «бурло»? Зашли бы ребята в избу тихонько, поздоровались с девушками, семечками их угостили. А то заскочат гуртом с шумом да криком, — девки разбегаются по углам, а парни под рев гармони орут как можно громче, ударяют кулаками по полицам, в суматохе тушат огонь и в темноте ищут своих дролечек...

— А без бурла какое же игрище? — возражают ему девки.

— Нет, нет, и не уговаривайте, вы у меня эдак и дом опрокинете.

— А ты что, так и думал от нас легко отделаться, Елексий?

— Не отделается, теперь он в наших руках — девкиных.

И опять засмеялись.

Солнце уже опустилось за лес, уже край неба, еще недавно распаленный докрасна, вроде как остыл и стал бледно-лиловым, уже с другой стороны показался косой осколок луны, а росы так и нет. А раз не отросило — и Алешка — тоненькие ножки с полосы не ведет жниц, теперь он ходит около тяжелых снопов да помалкивает, как будто и дело не его — роса укажет, когда с полосы идти.

— Сухорос ведь, девки! — кто-то с тоской сказал вполголоса.

И вдруг какая-то девушка громко, озорно запела:

Нас, девчонок, не пускаешь,
Будь ты проклят, сухорос!
Ой ты, дролечка, не знаешь,
Сколько пролито тут слез.

С другого края ей уже вторит:

Где хозяйюшка ты наша,
Не проквасила ли щи?
Долго, долго не зовешь ты,
Хоть на полосе — пляши.

И опять прежний голос, озорной и задорный!

Голосяночку тяну я
До дrolечки мово,
Принеси, милой, в корзинке
Мне поесть nibудь-чево-о...

Дошло наконец до Алешки.

— Ставить суслоны пора, бабоньки! — крикнул он так, что все услышали и облегченно вздохнули.

— Давайте, девоньки, быстренько, — и Глафа, подняв сноп, поставила его на середину полосы, сдружила руками колосья.

И словно сами начали подбегать снопы, со всех сторон они пристраивались к Глафиному — минута-другая, и плечистый суслон готов. Да не один, на полосе уже родилось таких с десятков — стоят они еще без картузиков, но тут уже стараются сами хозяева — Алешка и Фанька идут вдоль хлебного ряда и не спеша накрывают сгруженные снопы клубуками.

А девушки все ставят суслоны и ставят.

— Ух и снопищи, как бочки, — поднимая сноп, говорит Глафа.

— Снопы-то навязали по самой Христе — не обхватишь.

— Спасибо, бабоньки, спасибо, дорогие, — хвалит Алешка. — Теперь милости прошу к нашему шалашу.

А в «шалаше» том — во всех окнах огонь. Не бывало сроду так у Кузовковых — и в избе, и в горнице, и в сенях светло.

В большой старинной избе совсем пусто, остались одни лавки, да полати, да полицы вдоль стены. Даже икон на божнице не видать.

— Боги не любят игрищев, — сказала Христя. — Ну, да бог — милостивый, может, нас и простит, коли некому в поле робить, — и с ее разрешения богов вынесли на ночевку в чулан и закрыли на замок.

В горнице — наоборот — тесновато, столы сдвинуты

на середину, по краям поставлены скамьи. На столах грудками положен хлеб, поставлен в разных посудинах студень. Глафа и тут помогает Насте — она ловко раскладывает на столы желтые бруски пшеничников. На улице шум, хохот: девки у колодца моют руки, лицо, брызгаются.

Христя на припечке вздыхает — напрасно ведь льют воду, оголят колодец-то. А в сениях уже слышны чьи-то каблук.

— Давайте, девоньки, давайте, махоньки.

И вот уже за столом тесно, шумно, уже жарковато. Сам Кузовков в белой, расшитой петухами рубахе, несет на подносе стаканы с самокурор, за ним, со вторым подносом, идет Фанька.

— У-у-у?! — удивляется девушка с кудерками около висков и, несмело беря стакан, спрашивает: — На двоих иль на одну?

— Тяни одна, — подхватывает подруга.

— По аппетиту тут, — поясняет хозяин. — Тут ведь разные посудники: и побольше, и поменьше, и для девушек, и для бабочек.

— Ну что ж, давай испробую.

— Девка попробовала, да хм...

— Ха-ха-ха!..

Гудит горница, как потревоженный улей.

Но вот на улице пиликнула чья-то гармошка с колокольчиками, — и девки, побросав еду, бросились из-за столов в избу, каждой хочется занять место поудобней да повыгодней: одним хочется посидеть на виду, другим, наоборот, где-нибудь в углу у припечка.

И вот уже все девки в сборе, сидят они по лавкам вкруговую дружным полукольцом. Бабы — те забрались на печь к Христе да около печи установились, ребятишки-недоросточки, среди них и Федярка с Юлькой, на полатах улеглись, — это, и бабы, и ребятишки, так сказать, зрители. Кому что надо — кому плясать, кому смотреть да тайны девичьи разгадывать.

А гармошка подала голосок — и пропала. Зря взбаламутила только девок, кашу-то почти никто не отведал. И жеребейки пшеничников на столе целехонькие остались.

Но это не беда — девушки и так сыты. Девушки уже поют песни.

Поют о дrolечках своих заветных. Дrolечки-то у них в шинелюшках. Винтовочки — подруженьки ихние. Котелочки — родны братушки. Сабельки остры — их невестушки...

Вдруг рывкнула под окном гармонь, ухнула песня — и подбросила всех с лавок: бурло ведь это! А «бурло», как крутая волна, катилось уже в сених, стучало каблуками, ухало под рев гармонии.

— Чьи это?

— Коврижские, наверное! — и девки рассыпались по углам.

А бурло уже тут как тут, под полатами:

Мы разбойные ребята,
Отворяйте ворота-а-а...

Шумная ватага уже на середине избы, кричит, бьет кулаками по полицам.

— Да ведь это, с гармоньей-то, Фанька! — с удивлением вскрикнула Глафа. — И бабы наши...

А переодетые бабы, в картузах, в мужицких штанах, в рубахах вышитых, подскакивают чуть не до потолка:

Бабы, с печи убирайтесь,
К чертовой бабушке ко дну!
Надо дrolечку обнять мне,
Проводить домой одну.

И, сделав еще круг по избе, останавливаются.

— Ну, вот мы и дома, Олеха, угощение давай нам сгрой!

Тут хозяину плошать нельзя, — и старик уже с графином под мышкой, со стаканом.

Игрище начинается.

Игрище без парней. Миленькие дrolечки еще из похода не вернулись.

И когда вернутся, никто не знает...

Игрище в самом разгаре. Надрывается гармошка с колокольчиками. Долбят по полу каблуки, не утихают звонкие голоса; не успела кончиться одна песенка — начинается другая. И ребят уже поднабралось. Больше, правда, пришли подросточки-недомерочки, но и их не

обегают девушки: те, что постарше, относятся к недоме- рочкам, как и положено, снисходительно, приглашают их плясать, учат, как надо девушку подхватывать за талию, как вести по кругу, и поплясав усаживают их к себе на колени. Здесь так заведено — то парни держат на коленях девушек, то девушки парней — места-то на лав- ках всем не хватает. Сидят парочками и баб на печи не стесняются, чего же стесняться, бабы сами такими были...

Вместе с бабами на припечке сидит и сам Кузовков, но больше тут для порядку — за всеми присмотреть на- до, да и бурла остерегается. К счастью, бурлом никто больше, кроме баб, не заходил — подросточки нын ак- куратненькие растут. Бабы не только сидят на печи, но и стоят на кухне. Среди них Глафа, помолодевшая, рас- красневшаяся. Скинуть бы ей несколько годиков — выско- чила б на круг, схватила за руку кого-нибудь, хоть вон Фаньку, и пошла бы, пошла — в молодости-то вон как плясала! А теперь нельзя — вдовушка, осудят, осмеют. Теперь смотрит она на подростков: вот такой же скоро и Федярка у нее будет, — и радуется это, и почему-то тре- вожит ее.

Среди парней, конечно, постарше всех тут Фанька. Он в шелковой вышитой рубахе, крученный пояс с кисточ- ками свисает до коленей. На ногах лакированные сапо- ги — привез, видать, из города. Фанька сегодня тоже на- веселе, Глафа видит, как он смеется, белозубый рот буд- то освещает его лицо. Впервые она видит его таким — винцо-то кого не преобразит.

А Настя уже тискает ее за руку:

— Давай выпьем, Глафонька, по рюмашке, а?

— Ой, что ты, и без рюмочки игрище-то больно хо- рошо идет!

Но Настя тянет ее в горницу, там на столах еще мно- го всякого добра.

Выпив по рюмке, Глафа с Настей возвращаются об- ратно.

Изба по-прежнему гудит. Гармошка переходит с рук на руки: один гармонист устанет, сменяет другой, только он, милая, с колокольчиками, не устает. То нежно взды- хает цветистыми, как шиповниковый цвет, мехами, то плачет и сердится, то вдруг зальется жаворонком, и ка- жется, над тобой не бревенчатый рыжий потолок, а вы- сокое голубое небошко, — все может вятская весельница,

потому и не пускает она с игрища не только девок и парней, но и баб. И ушел бы, да не хочется расставаться, такое веселье ведь не часто...

Однако летняя ночь коротка, уже незаметно в окна брызнули легкие голубоватые отблески, и бабы, ахнув, спохватились — оветае ведь! — и дружно ринулись за порог: у каждой дома ждут свои дела. Другая, милушка, может, придет и не приткнется на постель, глаза не сомкнет — и к печке: топить ее надо, завтрак готовить, а потом и самой на полосу впереди других бежать — страда-то не ждет. И ведь бежит, не валится с ног, — такова она, русокая женщина, — на работе бойкая, на пиру веселая, а если навалится горе — и с горем справится, как не сумеет ни одна на всем свете.

Спустя несколько минут Глафа тоже собралась домой.

На улице дотронулась до травки — сухорос ведь, и верно, всю ночь бы жать можно. Остановившись у ворот, повязала на голову платок, заторопилась по тропке. И вдруг из-за стожка чей-то голос:

— Глафонька, ты?

— Ой ли?! — вскрикнув, отпрянула она. — Неужели ты, Фаня?

— Чего ж ты мало-то, Глафа?

— А нам, бабам, и нельзя больше.

— А может, лъзя, — и Фанька взял ее за руку, стараясь удержать.

— Нет, нет, пусти уж, Фанечка...

— И не пушу!

— Ну, вот какой ты...

— Дай хоть провожу.

— Только до черемушек... Ягод-то у нас на черемухе видимо-невидимо...

— И у нас их много...

Глафа держится за Фанькину руку и сама себя не чувствует, будто чужие ноги, совсем ее не слушаются, и руки, и во рту вдруг пересохло... Хоть Фанька и неуклюжий, вон какой он угловатый, а вот не убежала ведь, не побоялась, что другие увидят...

У черемушек остановились.

— Глафонька?

— Ну, что, Фаня?..

— Ты не сердисься?

— За что же?
— А я-то тут...
— Да что ты, Фаня, — и вдруг, неожиданно для себя, вырвалось: — Ты ведь вон какой хороший...
— И ты, Глафа... Как бы я тебя стал хранить...
— Что ты, Фаня, сын у меня большой...
— Не осудит... Сын сыном, а сама-то вон какая еще...
Шибко желанная мне...
— Не надо, Фаня, — отнимая от себя его руки, пересохшим голосом сказала она. — Не надо, соколик...
— Не обижу ведь... Может, столкнемся, а?
— Не столкнемся, ты ведь вон какой, золотой человек.
— А ты, ты хуже развиз?! Ты первая меня поняла, — и, ухватив за плечи, он притянул ее к себе.
— Ой ли, первая... — задыхаясь от подступившего вдруг вдовьего счастья, чуть слышно прошептала Глафа.
И рада она была этому счастью, и боялась...

27

За летом незаметно подступила осень. Подступила, да такая ядреная, спорая. Каждый день на гумнах вырастали новые скирды — рожь клали, как всегда, круглухами, а многосемейные и люльками, мелкое — овес и ячмень — упаковывали в стожары, кудлатый горох вешали тоненько на острови. Из дальних лесных полей суслоны не возили домой, а складывали прямо на полосах — возить-то некогда, да и хлеб будет не у всех на виду, в случае кое-что и утаить от «облога» можно...

О Колчаке теперь уже говорили меньше. Откатился он, вражина, от Вятки куда-то далеко в Сибирь, по газетам-то, слышно, уже за Tobол-реку перекатился, за Ишим... А где этот Ишим да Tobол, никто толком в деревне и не знал, и не узнали бы ничего, не вычитай в газетках Фанька, — он, Фанька, дотошный, обо всем людям расскажет. Но теперь уже не о Колчаке начали поговаривать, а о другом генерале, каком-то Деникине, но тот Деника, сказывал Фанька, совсем не близко, до Вятки он и не доберется — все одно ему шею свернут, как тому Колчаке. Еще бы не побороть его, туда, чай, сам Азин порядки уехал наводить. Об этом не только

в газетах было, но рассказывал и вернувшийся с фронта Лаврушка.

Лаврушка вернулся домой в дождливый сентябрьский денек. Вернулся совсем неожиданно. Когда он ступил в избу, Настя даже и не узнала — в шинели, в фуражке форменной...

— Вот и я, маменька...

— Сыночка! — вдруг бросилась к нему мать и заплакала. — Живехонькой... Теперь уж не пушу, никуда от себя не пушу, — приговаривая, гладила она повзрослевшего сына. — Теперь уж ты со мной, сердешный, будешь.

Вскоре в избу к Кузовковым сбежались соседи, прибежала и Юлька, протиснулась меж людей из-под полатей наперед, обняла брата, залюбовалась им, — и впрямь какой Лаврушка-то стал пригожий.

Пришел с гумна и дед. Ухмыляясь в бороду, он твердил одно и то же:

— Смотри-ка ты как, а?.. Вытянулся-то как, вытянулся-то? А ну-ка, — просил он, — привстань, Лавра...

— Привстань, привстань, — попросил и Федярка, тебя за рукав дружка. — Ну-к, померяемся, я ведь тоже немножко подался вверх. — Он и дружок встали спина в спину.

— Не-е, — протянул Кузовков. — Тебе еще, Федярка, до мово внука далеко.

— Неужли далеко? — опечалился Федярка. — Это я волосы остриг наглядко, оттого меньше и стал.

— И у меня ведь они не велики.

— А каблуки-то, а? Каблуки-то... Я ведь босиком... Дай встану на каблуки, — попросил Федярка.

Но нет, и каблуки не помогли уравнивать дружков. Лаврушка за лето и впрямь вытянулся, — топенький и повзрослевший, он был почти вровень с дедом, разве чуточку поменьше, но все равно не такой, каким был полгода назад.

— Отвоевался аль на побывку? — спросил дед.

— Да что ты, тятя, как же не насовсем? — спохватилась Настя, боясь, что сын ответит другое. — Он ведь хоть и вытянулся, а годиков-то еще сколь...

— Годы тут ни при чем, маманька, если б не товарищ Азин, и я бы еще не приехал, — ответил вполне серьезно Лаврушка. — Когда Екатеринбург мы взяли, тогда дивизию нашу на отдых поставили. Вот тогда товарищ

Азин увидел меня и говорит: «А о доме, орел, не скучаешь?» Ну, как, говорю, не скучаю. Маленько скучаю. А он тут же и скажи адъютанту своему: отпустить, мол, надо, в деревне тоже руки молодые нужны.

— Ишь ты, командир-то с каким понятием! — с похвалой воскликнул Кузовков. — И верно, без деревни нынкуда кинешься? На деревню у Питера, вон наш Фанька говорит, вся надежда теперь...

— Ну, а дядю-то Егора не видал? — не утерпев, спросил Федярка.

— Как же не видал, видал.

— Дак где же он теперича?

— Егор-то ваш, дядя, он еще дальше пошел, за самый Тобол, река есть такая...

— Еще дальше? — удивился Федярка. — А дедушка мой говорил, будто бы он с Азиным на юг подался.

— На юг — не все пошли. Колчака кому-то надо же добывать.

— И то верно, внучек, — согласился дед. — Не добей сегодня, он завтра же к нам, вражина, на ворот опять полезет.

— Спасибо, родненькие, — подстала Настя. — И нам поспокойней стало жить, как только Колчаку-то того отогнали...

Однако осенью, когда уже начал прихватывать землю легкий морозец и под ногами запохрустывала будто солью посыпанная травка, а в лужицах заблестели зеркальцами хрустальные льдинки, — снова в Ржаном Полое стало беспокойно. Теперь уж не о степах говорили и не о Колчаке пришло, а о здешнем Прошке Морало пошли слухи, будто бы он, Прошка, где-то рыскает по лесам, пугает баб да ребятишек. А ведь местный басурман еще страшнее и пришлого, он все входа и выхода в деревню знает. И будто этот Прошка Морало по лесу бродит не один, а много их тут, белых, с фронта расплзлось. Родные-то места, должно быть и их тянут, увидели басурманы, что Колчака — ихний царь — проваливается и делать у него нечего, вот и потянулись обратно к дому, а показаться людям на глаза грехи не подпускают.

Когда заговорили о Прошке, Кузовков как-то сразу сник, постарел лицом — ведь не о ком-нибудь, а о зяте такая молва пошла. И Настя в слезы пустилась, и девчонке ребята проходу не дают, каждый день Моралом

донимают. Хорошо, что Лаврушки дома нет, он уехал по командировке комсомола в город учиться, а то и ему бы не легко слушать этакое было.

— Увижу басурмана, ссеку ему башку топором, — уходя на дальний лесной надел, сказал как-то Алешка Кузовков.

Вечером, когда старик вернулся домой, заплаканная Настя спросила:

— Не видал?

— Нет еще.

— А может, зря болтают?

— Не знаю, — и, прихватив с собой топор, ссутулясь, старик пошел спать на сеновал — если кто и стукнется в дверь, он первым услышит.

Однажды Алешка — тоненькие ножки рубил в заосичье по билету строевой лес. Понадобился ему лес для одной задумки — с сыном они решили ладить веялки. Корпус будет мастерить он сам — когда-то и Кузовков держал в руках пилу да рубанок, ну, а о внутренней части и говорить нечего — Фанька скует хорошее нутро, не хуже инженера знает, как все это делается. И заказчик хороший на веялки нашелся — приезжал тут один летом из самой Вятки, большие деньги сулил. Вот и махал в лесу старик топором уже не один день — наготовит бревен, по первому снежку вывезет. А зимой только знай работай.

В один из таких осенних дней Кузовков и заметил сквозь лесную проредь бредущего по кочкарнику одинокого человека.

«Уж не Проха ли?» — и старик тоскливо схватился за грудь, как-то сразу заболело под ложечкой, и тревожно заколотилось сердце.

Мешковато Кузовков опустил на срубленное дерево, вытер рукой со лба холодный пот, придвинул к себе топор, прислушался. В глухой лесной тиши осторожно хрустнули ветки, и из-за разлапистой ели показался обросший человек.

— Закурить нет ли? — остановившись, спросил он.

Алешка Кузовков узнал по голосу зятя.

— Для кого есть, а для тебя, басурмана, неросло, — ответил он и встал.

Вглядываясь в обросшее, одутловатое лицо зятя с узенькими щелочками нахальных глаз, спросил:

— Долго ли будешь людей пугать тут?

Прошка не ответил, шагнул кривоногого к тестю.

— Брось топор-то, не обижу, папаша.

— Тебе серый волк папаша, а не я!

— Не ругайсь. Настька-то у тебя?

— У меня. А тебе чего от Настасьи? Не твоя теперь Настасья.

— Нет, Настька моя! Венчальная, по закону, — ответил тот и кивнул головой, указав взглядом на висевший на дереве пиджак тестя. — Дай хоть на закрутку, Алексей Данилыч, коли папашей тебя неудобно величать.

Кузовков молча достал сборчатый кисет с табаком и протянул его зятю. У Прошки задрожали руки, вцепились в мешочек грубые, до черноты загорелые пальцы с длинными, пожелтевшими от дыму ногтями.

— Долго ли, говорю, будешь так-то?

Зять будто и не слышал, он занят был своим делом. На ладонь, подставленную лодочкой, он высыпал из кисета содержимое, потряс сборчатым мешочком и вернул его обратно.

— Себе на сигарку сам оборудуешь, — сказал он.

Старика покорило от слов зятя, он только pokrutil головой.

Сплюнуv, спросил:

— Долго ли, говорю, будешь клеvить Настасью?

— Так она ж, сам сказываешь, не моя, — ответил спокойно зять и поднес к потрескавшимся губам неуклюже свернутую сигарку.

— Ох, Прохор, Прохор, нет у тебя ни совести, ни креста...

— Ты вот что, Алексей Данилыч, ты другое лучше скажи мне... У тебя яма в голбце свободна?

— Уж не в голбец ли намереваешься завалиться?

— А почему бы и нельзя?

— Не выдумывай, злыден!

— Никто ж не узнает: перезимую, а там весной придут на выручку наши...

— И не думай лучше!

— Спасибо, Алексей Данилыч, на табачке. — И Прошка, отпустив поклон, зашагал к просеке.

Заросший длинными волосами затылок, треснувший под мышками, затасканный ядовито-махорочного цвета

китель с чужого плеча, стоптанные хромовые сапоги с побелевшими голенищами...

У просеки оглянулся, хрипловато бросил:

— А об этом подумай, Алексей Данилыч, наведаясь еще...

И наведался. Наведался он неделями двумя позже, глухой ночью, когда в деревне все спали и в доме, кроме Настасьи да Юльки, никого не было — отец с Фанькой отлучились по веялочным делам в город. О том, что Настя дома одна, Прошка знал, он выследил отъезд мужиков и теперь безбоязненно решил навестить жену. Подойдя к деревне, он задворками пробрался к дому тестя и легонько постучал в дверь. Отчаянно билось в груди сердце — то ли от быстрой ходьбы, то ли от предстоящей встречи с женой, которую не видел уже больше года. Но вот легонечко скрипнула в избе дверь, и знакомый голос:

— Кто там?

— Открой-ко, Настька.

— Ой-й, — выдохнула она. — Не открою, чего тебе от меня?

— Открывай, — уж настойчивее потребовал Прошка. — Открывай, а то греха наделаю, спички-то у меня с собой...

— Что ты говоришь, непутевый? — упавшим голосом прошептала Настя и, нащупав рукой на косяке завертышек, открыла.

Дымом, табаком, удушливым потом дохнуло в лицо Настасью, она отшатнулась, но Прошка уже схватил ее за руку.

— Господи, Юлька-то услышит...

— Не шуми, — пригрозил он и, облапив, тоненькую и хрупкую, безжалостно метнул ее в угол на постель.

— Зверь ведь ты, зверь... — чуть слышно прошептала Настя, уже не в силах высвободиться из твердых, как железо, рук человека, которого она не любила и не хотела встречаться с ним, но встретилась и в эту минуту еще больше возненавидела его, чем раньше...

Насытившись, Прошка довольный лежал на соломенной постели вверх лицом, с раскинутыми по подушкам руками. Рядом с ним билась в слезах Настя, и не от бабьего счастья билась она, а от лютого горя. Все, что

произошло, ей было противно и мерзко. Но что же делать? Убежать ей с Юлькой теперь или смириться? Но как убежать, когда он с револьвером?

Она приподнялась на локте, спросила:

— Квасу, Проша, не хочешь?

— Неси,— немного помедлив, ответил тот.

Настя поднялась, не спеша прошла в избу и, бренча посудой, вытолкнула в окно проснувшуюся Юльку, а затем выскочила и сама и бросилась в одной сорочке босиком по припорошенной снегом тропинке к Евлахиным.

Но в ту ночь Прошку задержать не удалось.

Прошло несколько минут, и он понял, что не за квасом ушла Настька. Вскочив, бросился в избу, взял из хлебницы каравай хлеба, потом заглянул в горенку и, увидев на стене бараний кафтан тестя, сорвал его с гвоздя.

Тут же в коробку отыскал валенки, шапку и, свернув все в узел, выбежал на улицу.

Шел первый легкий снежок, бережно накрывавший землю белым одеяньем. Снежок не обрадовал Прошку, а еще больше озлобил.

«Подпустить им красного петуха или погодить? — все больше и больше злясь на жену, подумал он и, вдруг вспомнив Лаврушку с Юлькой, которых ему так и не удалось повидать, немного смягчился, схватил стоявший у крыльца заступ и, повесив узел на черенок его, сугорбясь, заспешил задворками к лесу.

Каждый день к Глафе забегала Настя, слезами горькими плакала: как же ей жить-то дальше? Все ночи напролет не спала, того гляди, придет Проха, а может, и не один — с такими же, как он, басурманами. Хоть ночами в деревне и караулят поочередно, ходят те караульщики да постукивают колотушками, чтобы все знали, что не спят ржанополойцы, но только много ль проку в этом — басурманы, они басурманы и есть, они в любое время проникнут да подпалят...

Сочувствовала подруге Глафа, бывало, и ободряла: «Неужели Проха на своих с огнем пойдет?» А сама думала о своем, свое горе давило сердце... Порой Глафе становилось невыносимо тяжело, но кому откроешься —

беда-то, кручинушка, чай, побольше Настенькиной. Иногда думала: может, излить свою думу Насе — она, горемычная, все поймет... Но нет, не в силах Глафа рассказать о случившемся даже своей подруге. Знают об этом только двое — она да Фанька. Поговорить бы с Фанькой, но он все в кузнице пропадает. Пойдешь в кузницу — люди сразу все приметят, скажут, Глафка-то к Фаньке бегать начала. Уж лучше одной пережить эти дни. А переживать их, каждый день находиться в неведении, ждать того, чего она не ждала, ой, как трудно! И как тяжело быть со своими горькими мыслями одной. Извелась она за эти месяцы, истревожилась. Кинет взгляд на простенок — и не узнает себя в осколке зеркала: под глазами разметались синюшные круги, по впалым щекам пошли веснушки. «Неужели не вытравила? Да и был ли кто? Может, это все от думушки своей глупой? Может, ничего и не случилось такого?»

И вдруг однажды хмурым морозным утром схватилась Глафа за бок и охнула. «Господи, что же такое будет? Думала, все обойдется — пила ведь воду с луковой скорлупы, а тут вон он как трепыхнулся... Как я теперь взгляну на свет? Как оправдаюсь перед сыном, как?..»

Словно оглушенная скалкой по голове, Глафа выбежала на поветку и, зажав лицо руками, упала на кучу соломы, упала и беззвучно зашлась слезами.

«Фанька... Что ж ты наделал, Фанька? Ведь не думано с тобой... До черемушек было разрешила проводить. Поднялась по взвозу, оглянулась, рукой чуток махнула. И надо же, упала на сено и дверь не прикрыла. И, словно сквозь сон, тучочки услышала вкрадчивые шаги Фаньки. Да чего уж вспоминать, не Фанька, а сама виновата... Господи, что же делать? Как быть теперь-то, Фанюшка? Узнает сын... А что скажет тятенька? Даже подумать страшно...»

Глафа поднялась, сквозь слезы выглянула в дверь, — вот она, та черемушка, белым-бела стоит, заиндевелила вся. А за черемухой — Ветлужка. И ледок... и прорубь... Сбежав с повети, Глафа на минуту остановилась — и метнулась под гору к речке. Там спасенье, нырнуть головой — и делу конец... Сбежала — и вдруг, надо же, встретила Фаньку: он поил у проруби лошаадь. Хотела Глафа повернуть обратно, да Фанька окликнул:

— Постой, Глафонька.

— А чего стоять?

— Куда же ты, в рань-то такую? — шагнул к ней Фанька и увидел, как по щекам Глафы стекали крупные слезы. И тут Фанька понял все, выпустил из рук уздечку, подбежал к Глафе.

— Чего же убиваться-то, Глаф? Ну, сойдемся, а? Будем жить, ну? — теребил он ее за платок, в который она кутала лицо. — Аль плохо будем жить? Не плохо ведь...

— Так не одна же я...

— Да ты чего это. Разви лишний он мне? Ремеслу учить буду, как сына... Ну, решай же, а?..

— Не-е... — прошептала она. — Не решаюсь...

— А ты решишь, решишь, — умоляюще просил он и, схватив Глафу за руку, глянул в глаза ее, полные немой тоски и боли.

30

Прошка Морало больше не заявлялся в Ржаной Полой. Но в деревне все чувствовали его присутствие, будто он вот тут, где-то рядом живет, да никто его не видит, и это еще сильнее настораживало людей. К тому же, ходили слухи, будто бы видели его на Илькиной мельнице, но кто видел, никто не знал, говорили, что видели, и все тут. Главное, чтоб никому вреда не приносил, а то, что живет в лесу вместе с волками, это его дело, проживет да образумится, как холод до пяток донимать будет.

Однако в деревне втайне и побаивались: от морозов-то выбежит из лесу волчина, заберется к кому-нибудь во хлев, а там и до огня недалеко: не бойся, говорят, вора, а пуше бойся огня лютого, вор-то хоть стены оставит, а огонь все языком слизнет.

Но однажды ржанополойцы взбудоражились не на шутку. И случилось это вот как.

Зима перевалила уже за половину, мужики по дороге вывозили с дальних покосов свои стожки, а как-то за Столбцы поехал и Евлаха — там у него стояла небольшая кладуха ржи, пока хорошая дорога, надо привезти ее домой и измолотить. Каково же было его изумление, когда вместо кладухи он увидел стожары да обгоревшие снопы. В жизни не случалось, чтобы плакал Евлаха, а тут — заплакал.

Трясущимися от горя руками он собрал несколько обгоревших снопов, бросил их на сани и почти порожняком вернулся домой.

— Прошкиных рук это бесчестное дело,— сказал он снохе.— Проха — стервец, этакое сотворил,— и, наскоро поев, пошел в волисполком к Никитичу, который с полгода как переехал из Уржума в Коврижки и работал здесь председателем.

Выслушав Евлаха, Ложенцов сказал:

— Надо последить...

С тех пор ржанополойцы еще больше стали остерегаться, не только в деревне, но и на росстанях, где скрещивались дороги, они установили ночной караул,— надо усмотреть, не наведалься ли снова Прошка-басурман к тестю? Кузовков тоже не меньше других злился на зятя, когда заходил о Прошке разговор, он во всеуслышку заявлял: «Увижу, тутотки уж не помилую — ссеку топором башку». Но соседи ему не очень-то верили — язык у Алешки и раньше был без костей.

Прошел месяц, наступил другой, холоднее первого, а Прошка так и не показывался. И все словно бы успокоились — отбился, видать, от деревни вражина, а то и убер к Нолям. А там милиции полно, живо его схватят. Да, может, и зря пугают, не всем же разговорам надо верить... Только Евлаха не был спокоен,— кладуха-то у него дотла сгорела. Как она могла сгореть без злого умысла в зимнюю пору? А умысел этот — наверняка Прошкин, по слухам, Прошка за лесными гарями живет...

Как-то поздно вечером Евлаха возвращался из Коврижек с собрания. Ночь была морозная, чуткая, стоит шагнуть — и уже шаги твои далеко слышны. Евлаха шел и все еще в мыслях был на собрании, видел перед собой Алексея Никитича: тот рассказывал об удивительных машинах, которые и жать станут, и косить, говорил о будущей счастливой жизни. Разбить бы только врагов, а там вернутся с фронтов люди, возьмутся разом за хозяйство,— земля теперь вся у мужика в руках,— как на дрожжах поднимется тогда светлая мужицкая жизнь... И Егорша небось вернется — чего ж ему дома не жить? Дома жить надо...

Евлаха шел и чувствовал, как по всему телу разливается бодрость, будто ему не шестьдесят лет, а наполовину меньше. Пожить бы еще с десяток-другой, заглянуть хо-

тя одним глазком, что будет дальше? Какой станет жизнь, скажем, лет через десять, через двадцать?

Евлаха даже присвистнул, вытащил табак.

И тут, не успев свернуть сигарку, услышал со стороны леса легкое поскрипывание снега. «Уж не волк ли шастает?» — насторожился он. Вглядываясь в сторону леса, увидел: наискосок целины к Полоям двигалась какая-то фигура, с каждой минутой она приближалась, увеличивалась в размерах. И вдруг Евлахе показалось, что это вовсе не волк, а летит какая-то большая птица, только отчего под ней хрустит снег? Но вот, будто почуяв неладное, птица перемахнула дорогу и круто повернула в обратную сторону, к Коврижкам. Повернул обратно и Евлаха, ускорил шаги и в том месте, где несколько минут назад дорогу пересекла странная птица, он увидел на снегу свежую лыжню. Увидел — и догадка заледенила его, мелкой дробью застучало сердце. Не выпуская из виду черный силуэт, уже удалявшийся по задам к другому концу Коврижек, где стоял дом Ильки Кропотова, Евлаха заторопился в волисполком.

Никитич жил тут же, при исполкоме, в маленькой комнатухе, жил один, без семьи: жена с детишками была в деревне и не хотела в такое беспокойное время покидать дом. Да и комнатуха была мала, здесь раньше у помещика жил дворник, а теперь вот он, Ложенцов, все же остальные комнаты и большой зал были заняты самим волисполкомом.

Никитич еще не спал. Размачивая сухари в кружке с кипятком, он ел и одновременно беглым взглядом просматривал свежий номер «Бедноты».

Оставив газету, председатель волисполкома внимательно выслушал старика.

— Заглянуть бы к Ильке Кропоту, — посоветовал Евлаха. — Туда, по-моему, след ведет...

И верно, Евлаха не ошибся — лыжный след привел к Илькиному дому.

Дом Ильки Кропота — большой пятистенки под железной крышей — стоял на краю Коврижек, у самого оврага, заросшего ольхой и кустами можжевельника. На склоне оврага была сооружена беседка, в которой летом Илька чаевничал на вольном воздухе. Теперь овраг с беседкой был завален снегом, а ольховые ветки обильно подернуты белой кружевенью.

Подойдя к дому, Никитич распорядился, чтоб Евлаха и секретарь волисполкома, молодой паренек, которого они взяли на всякий случай с собой, встали на крыльцо, а сам, сжимая рукоять револьвера, подобрался к окну, освещенному лампой. Окно было задернуто занавеской, на ней виднелась расплывчатая тень, но был ли это сам Кропот или кто другой — понять трудно. Однако в просвет кружева, которым понизу была обрамлена занавеска, Никитич увидел ноги в валенках... Нет, это валенки не Ильки, и брюки не его, — эти ватные, с заплатами, таких Кропот не носил.

Оставив своего секретаря на крыльце, Никитич открыл дверь и так быстро вошел в избу, что человек в ватных брюках даже не успел подняться — он сидел у стола и жадно хлебал из блюда щи.

За Никитичем вошел в избу и Евлаха. Он сразу узнал в лохматом, заросшем черной бородой человеке Прошку — как-то видел его в гостях у Алешки Кузовкова — и утвердительно кивнул Никитичу.

— Ну что ж, гражданин Прохор Моралев, собирайся, — сказал твердо Никитич и попросил притихшую хозяйку, чтобы та посветила в сенях.

— Ежли надоть, соберусь, — не спеша зачищая ложкой в блюде, ответил Прошка, потом так же не спеша поднялся и стал натягивать на плечи дубленый полушубок.

Евлаха от удивления покачал головой — полушубок-то, кажись, и впрямь Кузовкова, и валенки, смотри-ка, серые, его. Ужели он снабжает обмундированием басурмана? Аль краденое?

Наблюдая за Прошкой, Ложенцов строго сказал:

— Оружие-то выложи, если есть.

— Нетути оружия, — сердито зыркнул глазами на него Прошка. — Я не из таковых, чеб не подчиняться властям...

— Знаем тебя, поклевил ты, Прохор, немало людей, — подстал Евлаха.

— Ну-к, не только один я, — и Прохор, втянув лохматую голову в кособочившиеся плечи, шагнул следом за хозяйкой из избы — и вдруг, изловчившись, схватил стоявшее в сенях оружие и, обернувшись, выпалил.

Евлаха рухнул на порог у ног Никитича.

Снегу за ночь выпало так много, что ни проехать, ни пройти. Словно сама природа протестовала: «Рано еще тебе, Евлампий, отправляться в последний путь». Дорогу от тракта к кладбищу пришлось разгребать. Вышли все полойцы с лопатами. И среди них Федярка в шубейке своей, в шапке с ушами. Шапка надвинута на глаза, губы сжаты, он молча кидает лопатой снег в сторону. Снег с сугроба вспархивает и белой пылью обдаёт плечи, шапчонку. И Юлька торчит тут же, Юльке тяжело — убито ведь деда Евлампия ее отец. Но полойцы не обижают Юльку — Юлька не виновата, она еще девчонка. Другое дело Алеха Кузовков. Говори — не говори, а ведь он небось обрядил злодея в полушубок-то дубленый. Хотели Кузовкова не подпускать к гробу, но пораздумали мужики: он, Олеха, и сам не рад такому зятю, и решили — пусть участвует в похоронах наравне со всеми. Как-никак вместе жили и вместе живым еще жить...

Когда к полудню прогребли дорогу, гроб с телом Евлампия мужики подняли и на руках понесли к кладбищу. Впереди, рядом с Ваней-чудотворцем, шел Алексей Никитич, он поддерживал гроб одной рукой — правая рука в ту ночь тоже была перебита Прошкой. Ухватился за край гроба и Федярка, голые пальцы прилипали — на свежей сосновой доске выступила сера янтарной слезинкой. За Федяркой в скорбном молчании движется мать. Глафе по истолченному ногами снегу трудно идти, но теперь она из-за общего горя забыла и свое личное. У гроба нет только Егорши, разве достанешь его домой в такую пору? За гробом — весь Полой, из других деревень даже люди пришли. Этакое ведь горе случилось. На двух войнах Евлампий устоял, в смутный год от степахов чудом вырвался, а тут не на войне, а у себя, можно сказать, дома пуля человека насмерть пронзила. Верно говорят, у осотника корень живуче, как землю ни перепаживай, а оно все отрастет. Так и Прошка — осот он колючий, смотри-ка, что наделал, гад.

На краю кладбища, у старой, припорошенной снегом ветлы, люди остановились, осторожно опустили гроб на рыжий песчаный холмик.

Федярка сдернул с головы шапку, взглянул на деда: те же клочковатые лохматые брови, та же борода с про-

седью, тот же широкий нос... Только на лбу, кажется, меньше стало морщин, они будто разгладились, да глаз, строгих с прищуром дедовых глаз, не видать, они теперь плотно закрыты веками.

— И не изменился ведь, болезный,— слышался чей-то приглушенный бабий голос.

— Откуда ему, бабоньки, измениться, не вылежался, не от болезни, чай...

— Это правду, не от болезни... Они ведь, Ветлугины, живучи были, жить бы да жить еще...

«Жить бы да жить»,— мысленно повторил Федярка.

Вспомнилось, как к троицыну дню Алешка — тоненькие ножки привез березки. Нарубил их в лесу, привез домой и расставил около крыльца. А дед сказал: «Мы не такие привезем, а живые, чтоб каждый год они зеленели». Поехали они с дедом в лес за березками, выкопали их лопатой и с корнями — на телегу. А дорогой-то вдруг дождь пошел, с градинками даже. Дед схватил Федярку за руку да под телегу — сиди, мол, а сам к лошади, — приклонился с подветренной стороны к Пегашкиной голове, пиджаком накрылся. «Пуще всего от града голову стереги, — поучал потом он внука. — Спина выстоит, сиянками отделается, а голова, она хрупкая, голову хоть свою, хоть Пегашкину хранить надо...»

Жить бы да жить ему, как тем дедовым березкам...

— Образок бы, Глафирья, подать в руки, — перебил его мысли тот же бабий голос.

— Не-не, без всяких образков, — ответил мужской решительный.

«Без всяких образков!» — согласился с Никитичем и Федярка.

И снова перед ним встал дед, живой, строгий, немногословный. Он тоже так бы сказал: «Без образков, буржуи, хороните». Хоть и держал дед в доме иконы, но Федярка знал, не обращался он к ним ни в горькие дни, ни в радостные минуты. Они стояли на божнице просто так, для виду, как украшение, как те срубленные березки, что привозили соседи к троицыну дню к себе на двор.

— Ну что ж, Евлампий Иванович, прощай, — прервал томительное молчание Ложенцов. — Не уберег тебя, — голос его дрогнул. — Не уберег...

— Да ты-то чего казнишь себя, Алексей Никитич,— сказала Глафа.

— Уберегчи бы надо, а он бросился вперед, меня собой заслонил,— ответил он.— Прощай, друг... Я тут повинен, я и ответ держу — и, ухватившись за край гроба, припал губами ко лбу покойного.

Федярка взглянул на Ложенцова, и ему вдруг показалось, что вместо деда в их доме теперь остался самый старший человек — это он, Никитич.

А Никитич, поднявшись, сказал:

— Простись с дедом-то, Федор.

И Федярка, как и Никитич, опустил на колено.

— И ты, Глафирья.

Опустилась к гробу и Глафа, дрогнули от рыданий плечи.

— И родственники, какие есть,— продолжал Никитич.

А родственники, какие тут родственники? У Евлампия вон сколь родственников — вся деревня. Один за другим подходили старики, бабы, непривычно и боязливо припадали к гробу ребятишки...

Среди других подошел и Алешка Кузовков, сдернул с головы рыжий телячий треух.

— Ну-к, не осуди, Евлантий, меня за зятя. Не зять он мне тепери: увижу — ссеку ему башку, дьяволу...

Снова к гробу опустилась Глафа, снова дрогнули ее плечи...

Не удержал и Федярка слез, вытер глаза шапчонкой, сунулся рядом с матерью на колени:

— Прощай, дедушка...

После похорон Никитич разыскал в Коврижках несколько пар охотничьих лыж, пригласил к себе членов исполкома и вместе с ними решил осмотреть лесной надел, чтобы найти Прошкино логово. На всякий случай он велел прихватить с собой ружья, а сам взял револьвер. Прежде чем выйти, Никитич объяснил, что им придется обогнуть лес и попытаться отыскать лыжню и потом уже по ней добираться и до самого Прошки Морала. Идти решили друг за другом, гуськом, по одной лыжне, чтоб не перепутать след.

К вечеру они обошли надел, но на лыжню так и не попали. Может, Прошка кинулся в поскотину, которая находилась в другой стороне от Коврижек? На следующий день мужики, на этот раз без Никитича — у него разболелась рука, пересекли поскотину, осмотрели согору, но все напрасно — следа не было. На обратном пути пошли вдоль проселочной дороги до расстаней, но и тут никто с дороги не сворачивал в сторону.

«Да и чего его здесь искать? После такого дела этот Прошка небось убежал за тысячу верст, поймай-ка теперь его», — словно оправдываясь, уверяли в волисполкоме друг друга мужики.

Никитич хотя и слушал их, но сам думал о другом: у Ильки Кропота Прошку застали, к нему он и должен вернуться. Не утерпев, однажды ночью Никитич с милиционером снова наведалься к мельнику. Осмотрели они подполье, сеновал, заглянули на подволоку, но на этот раз никого обнаружить не удалось.

— Ведь не привечали его, — освещая подполье семилинейной лампой, оправдывалась грузная Кропотиха. — Кто он нам такой будет? А никто! Совсем-насовсем чужой. Да разве будем мы с Ильей чужого укрывать?

— Не чужой он вам по классу, а свояк, — уходя, бросил Никитич.

— По классу? — удивилась хозяйка. — По какому классу свой-то? — и, закрыв на запор дверь, в тревоге стала ждать Прошкиного прихода.

Но Прошка не пришел.

Как-то на рассвете Макуха возвращалась домой с мельницы. Ночью она проканителилась в помолке и теперь дорогой, прикорнув на мешках, задремала. Неожиданно лошадь остановилась и, поднявшись на дыбки, кинулась в сторону. Макуха, ухватившись за грядки саней, оглянулась: следом несло лохматое чудище — ноги человечьи, а туловище, точно у зверя, все в шерсти, и на голове вроде рога, совсем как черт. Черт этот с ревом вскочил в сани и, вцепившись в нее лапами, начал душить. Тут-то Макуха и поняла, что это вовсе не черт, а человек в вывернутом наизнанку полушубке. Откуда и взялась только у Макухи сила, она ударила его кулаком по башке, потом окрестила кнутовищем, хлестнула по лошади — и ускакала прочь, оставив черта на дороге.

В Полое сразу же все решили, что это был не кто

иной, как Прошка. Хотели бежать за Никитичем, но Ваня-чудотворец остановил:

— А чего время терять, разве сами не справимся? Макуха пойдет, Олешку с Фанькой прихватим... Ссекем не ссекем башку, а все одно обрааем черта. Забирайте ружья — и за мной!

Желающих идти на черта набралось человек десять. Федярка, повесив на плечо дедово ружье, тоже встал на лыжи — деревня-то у леса живет, почти у каждого в дому лыжи есть.

Поднялись за Столбцы, подошли к тому месту, где Макуха повстречалась с чертом. На пути встретился Гавря Прялка — он тоже ездил на мельницу, но старик никого не видел. Начали мужики искать возле дороги следы, убежал-то он все равно куда-нибудь в лес, хотя какой тут большой лес — лесок, да речка Ветлужка по низу. Осмотрели все около дороги — следов нет. Остановились у распахнутых ворот мужики, закурили, поразмыслили меж собой: не по изгороди же он убежал?

— А чего мудреного, он, черт-от, цепкий. Может, где рядом, тут же притаился?

— Все может быть, — согласился с Прялкой Ваня-чудотворец. — Нынь, говорят, чудеса в решете варят. — Он сердито сплюнул и, взобравшись на сугроб, пошел вдоль изгороди.

От мороза изгородь вся в инее, жердочки словно бахромой подернуты, но кое-где эта бахрома потревожена, будто кто руками за них цеплялся. Ваня-чудотворец начал приглядываться и вдруг, саженьях в десяти от дороги, увидел на снегу свежую лыжню, проложенную от изгороди.

Ваня помахал мужикам рукой — давай, мол, за мной — и первым пошел по загадочной лыжне к лесу.

Скрываясь в мелколесье, лыжня вывела ржанополойцев к Ветлужке — противоположный берег, высокий, обрывистый, с еловым частоколом поверху, лбисто нависал над речкой.

«Как дальше быть? Место-то открытое, идти или нет? — остановившись, начали советоваться мужики. — Идти надо, а кому идти? Если он, басурман, там, под лбиной, то не с пустыми руками сидит».

— Тебе идти с проводкой придется, Алексей, — сказал Ваня-чудотворец.

— Не служат ноги, ребя, проваливаются во снегу,— ответил тот.

Ваня только махнул рукой и, выплюнув сигарку, спустился по откосу сам.

— А ну, выходи с того берега какой ты есть! — крикнул он.

Неожиданно в ответ раздался выстрел, и пуля, свистя, пролетела, казалось, возле самого уха.

Ваня-чудотворец выругался и, бухнувшись в снег, тоже выстрелил. На выстрел Прошка ответил двумя новыми. Ваня почувствовал, как у него вроде обожгло плечо, он схватился рукой, и липкая жижа свела пальцы. Поднявшись на берег, Ваня-чудотворец сказал:

— Вот тебе, Алексей, ружье, иди и веди его со всеми потрохами.

— Лыжи не держат, говорю...

— Становись на мои, они ширше. И с пустыми руками ни-ни — не возвращайся!

Кузовков нехотя натянул на валенки веревчатые крепления, перекрестился; неуклюже переставляя ноги, покатился под уклон и, не удержав равновесия, растянулся на снегу. С противоположной стороны снова раздался выстрел.

— Не могу,— вернувшись, слезно сказал Алешка,— мотри-ко, он ведь стреляет...

— А мы-то думали, он тебя в гости пригласит,— съязвил кто-то, но Ваня-чудотворец теперь был неумолим:

— Тебе надо идти, Алексей!

— Давай я подберусь,— слышался голос Федярки.

— До тебя очередь не дошла,— отодвинув рукой в сторону мальчишку, сказал все время молчавший Фанька.— Пойду я...

— Не справиться, Ефанаил...

Фанька, потускнев, сердито глянул на отца:

— Кому же идти, кроме нас с тобой? — и, достав из кармана тупорылый наган и дозарядив его, сунул обратно.— Я пойду, мужики...

Фанька надвинул на ухо шапку и неуклюже, подавшись всем коробом вперед, стал спускаться. На глазах у всех он перешел речку и повернул к тому загадочному кусту, который рос под обрывом. Там, где речка пово-

рачивала влево и своим течением как бы образовывала енды, остановился.

— Не стреляй, Прохор, это я, Фанька,—спокойно сказал он.—Без оружия, видишь, иду... Поговорить надо.

— Давай, поговорим,—послышалось в ответ.

Из-за можжевельника показался кривоногий Прошка в своем кителе махорочного цвета. Ружье он держал в руке; хотя ствол был и опущен в землю, но, казалось, вот-вот он вздернет его и выстрелит.

— Покурим, что ль,—подойдя, предложил Фанька и, окинув взглядом утопанную возле куста площадку, присел на лежавшее здесь комлистое бревно.

Достав табак, отсыпал его в бумажный желобок, протянул кисет Прошке.

— Смотри-ко, отыскал ведь? — беря кисет, настороженно-хитровато блеснул Прошка глазами-щелочками. Потом сел напротив и, обхватив руками ружье, принялся свертывать сигарку.

— Это ты в меня оттуль палил, что ли? — погода, спросил он равнодушно.

— Я в тебя не стрелял, это охотники...

— Охотники, они и есть охотники, — покосился Прошка и, сунув сигарку в рот, прикурил из Фанькиных пригоршней. — Зачем пожаловал, свояк?

— Сдаваться надо, Прохор.

— Это кому я должен? Уж не тебе ли?

— Зачем мне, мы и так с тобой окружены.

— Не взяты! — вскочил Прошка с прилипшей к губам сигаркой; глазки его зло заблестели. — Не взять, говорю, вон у меня соль, — и, подмигнув, кивнул на ящик, в котором доверху лежали патроны, точно перезрелые стручки гороха. — Хватит тут питания до весны. А там свои придут...

— Не придут, Прохор.

— Думаешь?

— Не придут... Песня твоя спета, — твердо ответил Фанька и тоже поднялся с бревна.

— Говоришь, спета? — в раздумье переспросил Прошка и, смерив глазами неуклюжего, коробом стоявшего свояка, спросил: — Ну, а ты-то с кем? С ними заодно, что ли? Если с ними, то знай, тут и для тебя приготовлен золотничок свинца.

— Не дури, Прохор.

— А мне все одно, Фанаила,—скосоротившись, ответил Прошка.—Пока всех вас, чертей, не перестреляю — не двинусь... А перестреляю, так весной — принимай, зеленый друг... Вона, кругом оп... На тыщи верст, лес-от... Живой...

— Верно говоришь, вокруг все живое, — согласился Фанька. — И лес, и люди, и самая малая птица, — и кинул сигарку к ногам свояка. — Только живое-то, помни, для живых... Живым оно принадлежит. А ты, смотри-кось, в норе, как мышь, корчишься... Разви ты живой, Прохор, мертвец ты — вот кто...

— Ну-к что, — взъярился Прошка, взметнул вверх пружинисто ружье, но в тот же миг Фанька опередил его — сдвоенный выстрел разорвал тишину зимнего леса.

Прошка качнулся и, все еще не выпуская из рук ружья, мешковато ткнулся лицом в снег, усыпанный отстрелянными гильзами.

Медленно тащатся по разбитым путям вагоны. Уже прошло много дней, а миновали всего лишь Омск, а там еще Екатеринбург, Сарапул... Как далеко еще до дома...

В вагоне все время меняются люди. То наберется столько, что некуда сесть, то на какой-нибудь станции вдруг вылезут, и сразу оvoidнее станет — и сесть можно, и дышать легче, а там, глядь, опять людей набилось больше прежнего. Едут даже на буферах, на крышах вагонов. Едут с мешками, сундуками, с берестяными пестеряками, кто с чем...

Егор Ветлугин едет от самого Иркутска, потому он и сумел забраться на вторую полку, и его считают все тут счастливым: вторая полка барская — и полежать можно, и соснуть, не то что нижняя.

Положив колючий подбородок на руки, Егор лежит и смотрит в окно. На деревьях распускаются первые листочки. Уже загорелись косогорья золотыми огоньками мать-и-мачехи. Кувыркается в небе черным комочком, весело заливаясь жаворонок. Пришла пора и ему спеть свою песню с соловьем на пару. Чуть-чуть отступит вес-

на, и сменят их кукушка да чибис, а к середине лета подготовятся новые певцы — коростель луговой с перепелкой.

Любуется Егор в открытое окно родными картинами, вытягивает голову, ветер лохматит его волосы, освежает лицо, шею, грудь. Видит он, как снова взлетает над полем черный комочек, снова жаворонок торопит весну к лету. А вагоны, как назло, тащатся нудно и надоедливо. Как хочется поскорей попасть домой! А дома... Отца-то уже дома и нет...

О гибели отца Егор узнал из письма Глафы, она просила приехать, но ехать тогда было некогда — назревали новые тяжелые бои за Сибирь.

Егор повернулся на спину, вытащил из кармана старенькую газету, сложенную гармошкой для раскурки, развернул, пробежал глазами обрывок. Сообщения на газетных столбцах уже устарели, недавние события навсегда отошли в прошлое: Колчак с Пепеляевым уже не концентрирует силы у Красноярска, а самой историей сброшены в Ангару... Сложив газету, Егор сунул ее в карман и, привстав, достал из котомки записную книжку. Потрепанная книжка в сером матерчатом переплете когда-то принадлежала его товарищу по полку. «Если погибну — возьми себе, продолжи записи», — показывал ему тот. Егор исполнил просьбу товарища. Книжка теперь служила ему не только для коротких заметок, но за матерчатую обложку он прятал свои документы, оттого она и разбухла.

Егор достал оттуда проездной билет и, повертев в руках, положил обратно, потом перелистнул страничку, исписанную аккуратным знакомым почерком.

«4 мая. Оказались в тылу неприятеля, словом, нас обошли. Пришлось идти лесом, бросить продукты, обмундирование, только спасли лошадей. Дошли до речки Лога, стали переправляться. Тонул. Пришли в Сосновку на Вятке.

5 мая. Перешли реку Вятку. Остановились в деревне Букше.

8—12 мая. Стояли в деревне Бызе в заставе и секрете.

13 мая. Вечером был назначен в пулеметную команду.

14—15 мая. Занимались с пулеметом «максим».

19 мая. Ходил на собрание в деревню Н. Шуни. Выбрали в полковой комитет.

24 мая. Вечером тайком переправились за реку.

25 мая. Утром пошли в наступление на деревню Крутая Гора. Под Крутой Горой был упорный бой. После 5-часового боя деревню взяли. Много убитых и раненых. Дальше начали занимать деревню за деревней. В одной пригласили попить чаю, отдохнуть. Пробыли только 2 часа. И опять пошли, опять погнали неприятеля.

2 июня. Идем на Агрыз».

И запись тут оборвалась... Егор вспомнил: за Агрыз дрались двадцать часов. В этом бою и погиб его товарищ. Егор сам похоронил его в братской могиле на крутом берегу реки Иж, а книжечку, завещанную им, взял себе на память.

«25 мая. Утром пошли в наступление на деревню Крутая Гора», — снова прочитал Егор и на минуту закрыл глаза.

Крутая Гора... Это было ровно год назад... И вдруг ему показалось, что весь прошедший год — тоже как крутая гора... Шаг за шагом надо было идти по этой горе. Идти вперед. И шли. Вначале гибли за Степановым, а нагнали самого Колчака. Если б не Сафаха полнинский, Степанову не спасти бы шкуры.

Когда под Шурмой Степанова ранили, Сафаха, сказывали, подлетел к штабс-капитану и, взвалив его на лошадь, будто бы ускакал к Актыгашеву. А там кулаки уж и бричку подготовили. И ехал будто бы в той бричке со Степановым Сафаха Вьершов, кнутиком похлестывал до самой Казани. Где теперь этот Степанов? Говорят, был при белых Степанов комендантом Казани. Тот ли? У белых, чай, не один Степанов. Может, этот уже подался на Южный фронт к Деникину? А может, и его постигла та же участь, что и Колчака? Мало ли в России рек помимо Ангары...

Егор отлистнул последнюю страницу.

«7. 2. 20 г. Приговор приведен в исполнение», — прочитал он запись, сделанную уже своей рукой. Скупая строчка, а как много она значит для Егора.

Шли последние бои под Красноярском. И вот главные силы белогвардейцев окружены, а похоже, и разбиты. Колчак попал в руки революционного комитета. Наконец-

то, кажется, наступил конец войне... Но нет, оружие складывать рано. Кое-кто еще и недобитым остался. Царские генералы Каппель и Войцеховский сколотили из «недобитков» семитысячную армию и снова двинулись на Иркутск. Генерал Войцеховский потребовал от ревкома выдачи Колчака и двести миллионов рублей контрибуции. Но ревком, как и следовало ожидать, отверг этот ультиматум и, в свою очередь, предъявил свой — о немедленном разоружении и полной капитуляции.

И снова накалялись бои. Вот уже они идут в восьми верстах от Иркутска. Уже белогвардейские отряды заняли станцию Иннокентьевскую. Оживились в городе богачи, пустили слух, что вот-вот освободят из тюрьмы и самого Колчака. И революционный комитет решил привести приговор в исполнение.

В ту февральскую ночь мороз подскочил под тридцать градусов. На окраине города хрупкую тишину ночи нарушили шаги. Впереди, окруженный конвоем, шагал Колчак. Он высок и худ. Смушковая папаха надвинута по самые уши. С угловатых плеч колоколом свисает шуба. Шагает он медленно, будто хочет еще продлить время. Со стороны Иннокентьевской доносятся орудийные и ружейные выстрелы. Колчак замедляет шаги, прислушивается.

— Поторапливайся, господин адмирал, — бросает ему кто-то из дружинников, и Колчак, сутулясь, прибавляет шаг.

«О чем он думает сейчас? — смотря на узкоплечую фигуру Колчака, освещенную полосой лунного света, подумал Ветлугин, идя, как представитель Красной Армии, вместе с дружинниками. — Может, адмирал проклинает французского генерала Жанена, который, стараясь спасти себя, так легко выдал его местным властям? Или вспоминает встречи с любовницей — княжной Темиревой, которую держал он при себе и только что сегодня просил разрешения свидеться с ней? Или все еще мысленно умоляет Войцеховского, чтобы тот каким-то чудом спас его с Пепеляевым?» А Пепеляев, колчаковский премьер-министр Пепеляев, тоже, должно быть, ждет этого чуда; низенький, кругленький, он словно плывет за Колчаком по снежной долине и несвязно бормочет: «Господи помилуй, господи помилуй...»

Но вот слышится команда. Колчак неуклюже взбира-

ется на холмик. О чем все же думает он в свою последнюю минуту? Вспомнил ли он о тысячах и тысячах убитых и замученных им людей? Раскаивается ли он сейчас в своих грехах, или, стоя на снежном холме у повисшей над Ангарой горы, все еще верит в чудо, которое спасет его, и он снова будет казнить и вешать? Однако всему приходит конец. Колчак и сам, кажется, это понимает? Он склонил длинную лошадиную голову и упер в землю стекленеющие глаза. Рядом с ним, всхлипывая, молит о пощаде коротконогий Пепеляев, он втянул голову в жирные плечи, и кажется, это вовсе не человек, а толстая вздрагивающая туша...

«Приговор приведен в исполнение», — снова прочитал Егор Ветлугин и, закрыв записную книжку, взглянул в окно.

Поезд опять остановился. Возле вагонов — шум, толкотня. Около деревянного вокзальчика на лужайке резвятся ребятишки. Вот тугой мяч от удара лапты взвился в небо, и ребята с криком, обгоняя друг друга, бегут по зеленой лужайке. «Не приведи приговор в исполнение, не толкались бы на станции люди, не резвились бы так ребятишки на лужайке, да и я не возвращался бы домой, — все пошло бы по-другому», — подумал Егор. Высунувшись в окно, он увидел какого-то оборвыша с кошелкой за плечами, который присматривался, как бы взобраться на крышу вагона.

— Куда ты, малыш?

— Возьми, дяденька, — и мальчишка протянул ему руку.

— И ты домой?

— Домой, — и схватившись за руку Егора, добавил: — Хлеба вот везу. Голодуха дома-то...

Втащив мальчишку в разбитое стекло, Егор увидел около вагона второго, взъерошенного, в папаше с красной звездой.

— А ну, расступись! — повелительно покрикивал тот. — Расступись — я царя казнил...

— Хо-хо-хооо, — поплыло по перрону.

— А не врешь?

— Жорке врать не пристало! Комиссарской звездой клянусь! Пускай в вагон!

Какой-то усатый здоровяк подхватил парня на руки и, кинув на толпу, выдохнул:

— Плывы...

И Жорка поплыл...

Люди кричали, шарахались, поднимали руки. А Жорка, быстро работая локтями, пробирался по верху толпы все ближе и ближе к тамбуру вагона.

Через несколько минут мальчишка уже был в вагоне.

— А ну, рассказывай про царя, которого ты казнил, — спросил вислогубый детина в телогрейке.

— А чего рассказывать, царь есть царь. Известно дело, рыжий. Рыжий, как я, только без веснушек. Привезли его из Тоболья. В дом купецкий поместили с семьей. Живи, мол, и не брыкайся. А он все что-то ждал. Как только Колчак начал подходить, царь этот усами своими рыжими начал подергивать.

— Ну-у-у?

— А чего ну, я, чай, из-под Екатеринбурга...

— Видел, значит?

— Видел — не видел, а знаю... Охрану-то мы держали... Так вот заметили наши это оживление его и сказали... Сначала решили, а потом сказали. Ты хоть и царь, дескать, а убить и тебя могут при сраженье. Спускайся, мол, в подвал. Там грозу и пересидишь. Спустили его с домочадцами таким манером, а потом приказали: «Прощайтесь меж собой».

— Эвон как!

— А потом таким же манером к стенке и — в расход. Начали, конечно, с самого царя, а потом и до отпрысков добрались.

— Куда же дели-то их грешных?

— В одеяла замотали и ночью спровадили, куда Макара телят не гонял.

— Ловко!

— Иначе нельзя. Колчаки-то пришли, искали, всю землю перерыли. Хотели мертвого даже на престол воздвигнуть. Им ведь что, им бы только флаг был, чтоб самим прикрыться им.

— Жестоко-с... — слышалось с соседней полки.

— Кто это там прогнусавил? — воскликнул мальчишка.

— Жестоко, говорю, да-с...

— А ну, выметай-с, ряса! — скомандовал Жорка. — Россию веками клевил, это не жестоко?! На растерзанье мировой гидры Россию бросил... Не жестоко?

— Жестоко! — подхватили в вагоне.

— А ну, быстрее, ряса, быстрее, — уже ташил Жорка худенького попика к выходу. — Провокатор..

Попик упирался, но все старания его были напрасны.

Ветлугин усмехнулся: молодцы, ребята, надо очищать вагон от провокаторов. Да только ли вагон, всю страну надо мыть и чистить. Только ведь они, колчаковцы, да разные царские генералы, да казацкие атаманы сбегут, кто в Китай упрячется, кто в Японию... Сбегут, посидят в эмиграции белой и снова клыки показывать начнут. Мороки еще с ними будет, хватит дела не только нам, но и детям нашим.

Тем временем мальчишка вернулся, сдвинул на затылок папаху со звездой, круглое веснушчатое лицо просияло.

— Теперь чище воздух будет тут...

— Без царя-то?

— Да, без царя и его свиты.

— Молодец, тезка! — подал сверху голос Ветлугин.

— Ужель и тебя Жоркой?

— Будем знакомы, Егор Ветлугин.

— Да ну... Ветлугин... Так я же знаю вас. При Азине были, да? Встреча-то какая! Будем знакомы — Жорка Рыжик...

34

С облегчением выбрался Егор в Вятских Полянах из душного вагона и стал вглядываться в шумную толпу, заполнившую перрон. Из Сарапула он послал Глафе телеграмму и был уверен, что за ним приедет именно сама Глафа. После долгой разлуки ему хотелось поскорей увидеть ее, по-родственному обнять, а потом сесть рядом в тарантас и, взяв вожжи, ехать домой по тряской, но милой сердцу дороге.

Оттесненный к старому железнодорожному заборчику Егор стоял долго, но среди шумной людской толчеи так и не нашел Глафу. Потеряв всякую надежду встретить ее, он перебросил через плечо, поверх шинельной скатки, котомку и хотел было идти к коновязи, чтобы уехать на попутной подводе, как позади себя услышал женский голос:

— А я за вами, Егор Евлантыч.

«Так вот она, Глафа»,— обрадовался Егор и, оглянувшись, увидел Настю.

— А Глафа... Не приехала, что ль?

— Глафа-то? Глафе-то некогда теперь,— ответила Настя и, хитровато блеснув своими красивыми, с золотистым отливом, глазами, взяла из рук Егора мешок.

Хоть Егор и давно не видел Настю, но из тысячи узнал бы ее. Она была по-прежнему тоненькой и хрупкой и, наверное, такой же затейницей, как и раньше. Бывало, еще не начнет смеркаться, а Настенька уже бежит по деревне да скликает девок: «К Макухе собираемся» или: «К Прялке, девки, к Прялке!..» И если кому надо было узнать о посиделках или о плясках, о смотерках—спрашивай Настеньку Кузовкову, она все знает, где и что будет.

Еле поспевая за Настей, которая с котомкой в руках ловко ныряла меж людей, Егор вспомнил и другое—первое их объяснение в любви. Теперь оно казалось забавным, но в свое время причинило ему немало волнения и тревоги.

Случилось это в сенокос. Из-за озера к стожбицу подвозили на санях сено. Когда навьючили воз и придавили его сверху прижимом, Настенька взобралась наверх и, схватив вожжи, тронулась вдоль косогора. Неожиданно сани раскатились и опрокинулись в озеро. Егор был тут же, у валков. Увидел барахтавшуюся в воде девушку, он бросился на помощь и, схватив ее за руку, вытащил на берег.

Вечером Настя забежала к Евлахиным и, встретив в сенях Егора, шепнула: «А я ведь так и знала, что ты меня любишь!» От неожиданного признания Егор растерялся, но в это время из-за плеча послышался сердитый отцовский голос: «Спать ступайте, пешкарье! Любовь тоже в сенокос начали разводить, буржуи». Настенька, вскрикнув, опрометью метнулась с лестницы во двор, а Егор шмыгнул на поветь. Уткнувшись лицом в подушку, он задохнулся от счастья: значит, Настенька его любит? Им тогда было только по шестнадцать лет. Но зимой, в крещенские морозы, Егор с отцом уехал в город, а Настю выдали замуж в Ноли за Прошку Морало. На этом и кончилась их первая любовь. И сейчас он снова увидел Настю, кажется, такую же, как и в тот раз—тоненькую и хрупкую, и все живо припомнил. Но он знал

и другое: она как-никак была женой Прошки, а Прошка убил отца, замучил комиссара Андрея Вихарева. Егор невольно почувствовал внутреннюю неприязнь к Насте, как будто она была причастна ко всему этому. Когда-то ее руки обнимали Прошкины плечи, а теперь те же самые руки услужливо несут его котомку. И Егор вдруг пожалел, что за ним приехала не Глафа, а Настя, и, пожалев, снова спросил о Глафе.

— Не писала, что ли, Глафа-то? — остановилась Настя и, опустив глаза, вполголоса добавила: — Глафа-то ведь дочку родила...

— Как дочку?

— Ужель не слышали? За Фанаила, брата мово, вышла, а как вышла, тут по скорости и родила, куда же деться, — пояснила она.

Подойдя к телеге, Настя осторожно положила в передок котомку, перетряхнула сено и принялась запрягать лошадь.

Настя чувствовала, что такое сообщение о Глафе не обрадовало Егора. Выехав за город, она сочувственно сказала:

— Верно, осиротел дом-то у вас, Егор Евлантыч... Помнишь, семья-то какая была? А тут беда за бедой... На нас только не обижайся, мы ведь и сами не рады, что в родне зверь такой оказался. Спасибо нашему Фанаилу. Не убил бы, сама прикончить его собиралась, — Настя взмахнула кнутовищем. — А потом, смотрим, с Глафирьей приключилось этакое... Толстеет, смотрим, а слица вся зеленая. И не ест ничего, кроме рыжиков соленных. Ну, чего такое, спрашиваем? А она чего же скажет? Понятно, мы всегда, бабы, и виноваты. Я тут к своему Фанаилу: чего, мол, ты, беспутный, наделал? А Фанаил наш что, не шумнет он, не крикнет, только молчит да молоток в руке вертит. Я возьми да и выхвати молоток-то из рук: как стукну, говорю, по башке, не будешь тогда нас, баб, портить. А вечером, смотрю, принарядился Фанаил — и к вам, то есть к Евлантию покойному в дом, к Глафирье. Ну-к, куда им деться, сошлись, а там по скорости на свет и ребеночек, понятно, объявился...

Покусывая жилистую, еще не подсохшую, с терпким вкусом травинку, Егор слушал Настю, а сам думал о другом.

Он никак не мог представить, что их Глафа стала же-

ной Фаньки. Сказать правду, он его не любил, Фанька с детства был для него загадкой. Тихий и невзрачный, он целыми днями где-то пропадал, а вечером, когда ребяташки сбегались к пожарному сараю поиграть в лапту, он молча появлялся с какой-нибудь вещицей.

То вырежет из ольхи чибиса, то из березового корневища изладит шар, то из речных ракушек наделает пуговиц и, нанизав их на нитку, размахивает, как бусами. Ребяташки толпой за ним: покажи, мол, Фанька, да покажи. А Фанька тряхнет перед глазами связкой пуговиц и в карман ту связку сунет.

— Ну, и жила же ты,— скажет кто-нибудь из ребяташек.

— Изладь сам,— ответит, бывало, Фанька — и домой, и опять в конуру свою закроется, опять что-то мастерит...

«Ужели по любви она вышла?» — не покидала мысль Егора. И, словно желая рассеять нахлынувшие неприятные думы, он спросил о Федярке.

— Федярка-то? — и Настя оживилась. — А Федярка чего же, большенький стал, догоняет моего. Мой-то ведь, подумать надо, тоже на фронту был...

Настя сдернула с головы белый, с цветочками по краям платок, пригладила русые, немного выющиеся на висках волосы и, снова повязав голову, продолжала:

— Фанаил наш до Федярки добрый, к ремеслу приучает его. Ремесло-то, оно горба не трет, оно в любой день денежку кует,— и, помолчав, пояснила: — Теперь ведь обрадовались жизни мужики, кто за что ухватился. Наши-то вон веялки ладят. Только тятка-то не мастеровит, тятка-то на шестой десяток за рубанок взялся. Потому — Фанька больше... Фанька наш такой, он все умеет. Глафа не пропадет с ним. Еще вон как счастлива будет....

А Глафа? Счастлива ли была сейчас Глафа, она и сама не могла понять. Только отчего-то стала чаще вспоминать Федосю. С ним она начинала жить как-то не так. И разговоры у них меж собой были другие, и чувства. Такого, как Федосю, уже больше не найдешь. Разве с ним сравнишь Фаньку? Хоть Фанька и ловок на руку, мастеровит, а все не то. Федосия она не жалела, а люби-

ла. А Фаньку встретила у черемухи, глянула на него,— вон он какой, хоть и золотые руки, а кто же такого приголубит. И вдруг пожалела бабьим сердцем. Приголубила его, да себе на беду... Хотя чего же казнить, может, еще все и к лучшему пойдет? Ведь кроме рук золотых, у Фаньки, как у всех, и душа есть, а в душе — и чувства... Может, не проснулись еще эти чувства? Взглянет она на мужа, и опять — нет, этот — не Федосий. Уж больно и росточком-то он мал, на голову ниже ее. Поехали в церковь, так в сапоги под пяты чурочки подложил, чтоб повыше хоть на вершок быть. Это Настенька сказывала. И верно, вроде в церкви-то и поравнялся с Глафой, а наутро, как надел другие сапоги, опять низехонький стал. И не только один рост. Пусть бы и ростом пониже был, только б сам не коробом глядел, стыдно иной раз вдвоем на люди показаться. «Хорошо, что теперь не одна, у меня Галька есть, моя кровиночка. И мешает она, и радует, и тревожит...» И опять мысли о муже... «Фанька-а... Душа-то у тебя где? Ужель еще от горя не отогрелась? Может, душа-то у него такая же ласковая, как и у Федоси? Только нет, у того другая была душа, совсем другая...»

Получив от Егора телеграмму, Глафа забеспокоилась. Она вспомнила, как два года назад приезжал к ним деверь. Еще жив был тятенька. Глафа смотрела тогда на Егора, а сама думала о муже, уж больно он на своего брата походил. И когда уехал братец, ей показалось, что от нее уехал Федосий. И вот он снова возвращается домой. Надо встретить, а как она встретит его сейчас? Что скажет она ему, как объяснит все? Надо бы подводу послать, а ехать некому. Самой от Гальки ни на шаг отлучиться нельзя, а Федярка с утра до вечера в кузнице. Время больно горячее, сказывал Фанаил. И старику тоже некогда — деревья в лесу рубит. Договор-то вон какой на веялки заключили — выполнять надо. Не выполни-ка договор, неустойка тогда весь заработок проглотит. Так сказывал Фанаил, а он все знает, он уже все с карандашом на бумаге рассчитал.

И сговорились — придется ехать за Егором Насте. Настасья свободна. Юлька у нее уже большая, да и сама от серпа немного отдохнет. Прихватит с собой мешок муки, а мука-то в городе вон в какой цене, выменяет на нее сахару, чаю, чего хочешь... Без чаю-то, на шипов-

нике, надоело жить. И сахару уже который год в глаза не видели. И соли надо бы... Неудобно без сахару да без соли гостя встречать. Хорошо, что еще к Фаньке не перебралась.

Вначале Фанька предложил Глафе перейти к нему, но тут воспротивился Федярка: не пойду из дедова дома, и все тут. А куда Глафа без Федярки? «Да и впрямь,— рассудила она,— чего же идти к Фанаилу, у них там своя семья, уж лучше Фанаил пусть сам перебирается к нам; и дом у нас большой — две избы по переду, да горница, не пустовать же ему». Егор-то, деверь, говорила Глафа, еще не известно, когда вернется. Фанька подумал-подумал и перешел к ним. И вдруг Глафа увидела, как муж потерялся в большом Евлахином доме. И словно еще ниже ростом стал, и нравом тише. И опять на сердце у нее жалость легла. Ведь не виноват Фанаил, что он таким коробом родился. Чего же ему стесняться?

— Ты смелее ходи по половицам-то,— однажды сказала Глафа.

— Как уж умею, так и хожу,— обиделся Фанька и, обидевшись, ушел на весь день в кузницу даже не приходил и обедать.

«Нет, этот не Федосий,— подумала снова Глафа.— Тот бы вместо обиды подбежал, обнял меня — и все тут. А этот целый день на глаза не показывается».

А вечером, глядь, от Егора телеграмма.

Тут и совсем Фанька расстроился.

— Я уж лучше к себе на половицы пойду,— сказал он ночью.

— Не выдумывай, Фанаил, не пушу,— ответила Глафа.

И уговорила — Фанаил остался.

В тот день, когда должен был приехать Егор, Глафа ходила сама не своя. Не раз она выбегала на улицу. Выбежит на задворье, приложит ладонь козырьком ко лбу и смотрит на дорогу, не едет ли кто по большаку? Посмотрит, посмотрит — и домой, к Гальке. А через полчаса — снова на улице. Ждала и все думала, как же она встретит братца, как объяснит свой поступок, что скажет о себе в оправданье? Ведь Егор-то после тятеньки старшой в дому, ему и ответ она должна дать. А какой ответ? Сама виновата, да и только...

Под вечер она выскочила на двор и увидела, как

свернула с большака лошадь — и к ним, проселком. «Это они», — и Глафа бросилась в избу, сказала Федярке, чтоб тот присмотрел за сестренкой, а сама — навстречу братцу. Бежит и ног под собой не чувствует. Поднялась на угор и видит: Егор-то тоже, должно, обрадовался, соскочил с телеги — и к ней. Высокий, как Федосий... Только чего это он, вроде ногой-то ковыляет, ужель раненый? Остановилась было Глафа, а из глаз — слезы. Вот и сказала, все, все объяснила... Да разве так надо? И, сорвавшись с места, Глафа полетела навстречу. Подбежав к Егору, она вдруг бухнулась ему в ноги:

— Прости, братец...

— Не надо, зачем же так-то? — взяв ее за руку, сказал Егор.

— Не дуmano, да вот... Виновата, говорю, сама допустила этакий позор, — и, оглянувшись, увидела возле дома Фаньку на руках с дочуркой.

И опять пожалела его:

— Он ведь добрый до меня, Фанаил-то...

— И тебе веселее вдвоем...

— Как же не веселее, братец: одна-то ниточка не крепка, а две — веревочку выют...

36

Первую ночь Егор спал на повети, и спал плохо, оттого ли, что был на новом месте, или оттого, что он засиделся с родственниками и, взволнованный встречей, все еще не мог уйти от новых впечатлений и мыслей, которые охватили его. А утром не успел еще через крохотное оконце под крышей пробиться солнечный лучик и повиснуть дрожащей золотистой струной, как уже послышался скрип дверей во хлеве, мычание коровы, потом услышал он ласковый голос Глафы и звук тугих струй молока о край подойника. Не открывая глаз, Егор лежал, как бывало в детстве... Вот-вот закончит мать доить, потом тихонько поднимется по ступенькам на поветь, неслышно подойдет к постели и тихим, ласковым голосом скажет: «Егорушка, вставай, дитятко, отец-то за лошадью ушел. Навоз пора возить. Вставай, соколик, деньком потом передохнешь... Вставай...» Помнится, как хотелось тогда спать, но его ждала работа. И Егоршадитятко неохотно поднимался, кулачками протирал за-

спанные глаза. Тем временем и солнечный веселый лучик уже освещал повесть, значит, и впрямь пора вставать...

Но доброй мамы нет давно в живых, и некому его теперь вот так, как раньше, кликать ласково дитятком. «И отца уже нет»,— с грустью подумал Егор и, открыв глаза, удивился: тот же самый солнечный лучик, по которому он определял время в детстве, вдруг пробился через голубиное оконце и задрожал над головой, как живой, призывно и трепетно. Обрадовавшись ему, словно старому другу, Егор вскочил с постели, сделал для разминки несколько взмахов руками; подходя к двери, распахнул их— и сразу окунулся в солнечное тепло деревенского утра.

Живыми лентами от дороги к лесу тянулись полосы, среди них одна полоска уже пожелтела, другая еще зеленеет, а третья чья-то, совсем, видать, ничем не вздобрена, стоит хиленькая, вся покрытая желтыми, пышно распустившимися цветами. А может, это оттого, что полоски очень узкие, пошире бы их сделать, сдружить две-три полоски в одну? Но вот уже слышится зычный голос Макухи: по всему видно, она сегодня пастушит— отводит очередь, и потому так настойчиво поторапливает баб, чтоб те заканчивали дойку и выгоняли своих коров. Смолкли в хлеву звуки подойника, и Глафа, открыв дверь, торопит свою Звездочку: «Ксы-ксы, голубушка, иди на работушку, иди, милая...» Позванивая подвязанным к шее колокольчиком, Звездочка выходит на волю и протяжно, будто приветствуя Макуху, собирающую стадо, мычит.

Все родное, знакомое, близкое...

Егор окинул взглядом отцовский угол,— и тут все по-прежнему: вот верстак отца, а на верстаке— нехитрый инструмент: и стамески, и коловорот, и легкий топорик, по-хозяйски засунутый в топорищницу. Каждая вещица положена заботливой рукой. Егор взял рубанок, потрогал железку пальцем и положил обратно, он знал, отец порядок любил, чтоб каждый инструмент лежал на своем месте.

Выпив стакан парного молока с толокном, Егор спустился к реке, прошел по берегу, окидывая взглядом тихие омутки с заросшими кустарником берегами,— ребята перестали бывать здесь, война и тут наложила

свой отпечаток,— и, обогнув паровое поле, вышел к Коврижкам. Село это, Коврижки, возвышалось над крутым оврагом и впрямь напоминало ковригу, увенчанную посредине, будто солонкой, небольшой белой церквушкой. Помнится, раньше луковица купола сияла, как и крест, позолотой; теперь она не позолочена, а покрашена в ярко-красный цвет. Не перекрасился ли и здешний поп, отец Вениамин? Рядом с церковью — на два створа распахнулась бывшая лавка братьев Чемодановых. После того как бежали Чемодановы, в ней разместился магазин потребительской кооперации. За лавкой идут дома коврижкинцев,— тут и фотографа дом, и местного портного, и с мезонином — отца Вениамина, и учителя Петра Петровича... Самый же крайний в порядке дом — волостной Совет. Он обшит тесом и покрашен в светло-голубой цвет. Поверх конька, над вырезанным из белой жести петушком, полыхает алый флаг, и кажется, будто петушок его несет на своих крыльях и флаг надувается живым полыхающим парусом.

У крыльца волостного Совета толпятся мужики. В центре у них — рыжебородый Илька Кропот; разбросив локти в стороны, он медленно и старательно читает вслух сообщение о прорыве Первой Конной армией фронта белополяков на Украине.

— Не удержались, однако,— не выпуская газету, не то с радостью, а больше с сожалением сказал он и, подняв рыжую бороду, увидел перед собой Егора Ветлугина.— А-а, Егор Евлампиевич? — потянулся он к нему с рукой.— С прибытием вас, с прибытием, дорогой товарищ.

— Спасибо,— ответил сухо Егор и полюбопытствовал, о ком же он так горько сокрушается.

— Да и не сокрушаюсь, а радуюсь, что ляхов-то чертовых наши опять турнули под Варшаву... Туда им и дорога...

— Туда им, туда,— закивал головой Гавря Прялка и полез в карман за табаком.— Ты вот что, Илья, ты разыщи в газетке, когда мужику выдет облегчение?

— С подразверсткой облегчения не жди,— ответил кто-то сердито.

И тут заговорил Прялка.

— Вот ты, Евлампиевич, из городу, с фронту, можно сказать. А ведь тут товарищи-то наши совсем несправед-

ливо действуют, совсем разлучили мужика с землей. Потому и руки у нас не лежат к ней, милушке... Что ни вырастишь — все чистоганом забирает продрозверстка.

— Иначе и нельзя, папаша, — ответил за Ветлугина Илька и подмигнул. — Уравнять всех нас надо вначале, а потом уж, как диктует военная коммунизма... Раз надо сдавать без остатку, то надо... для уравнивания, для справедливости...

— Ну, ты, Илья Калиныч, и мастак же перевертываться, — сказал старик с шишковатым лбом. — Теперь же чадил кадилом нам так? Проздрозверстка, мол, дело незаконнорожденное...

— Да ты чего это? — насупился Илька. — Не зришь в полйтику, так помолчал хотя бы...

— Известно дело, молчать надоть. Ты — мельник... Ты теперь, при этой коммунизме, вместо Депрейса...

— Вот видишь, как он, — обиделся Илька. — Ему, как бедняку, всегда мелю без очереди, а он, смотри-ка, про меня какие мысли...

— О мельнице ты, Иван, клеветашь, — заступился за Ильку тесть. — О мельнице да о кузнице говорить так-то грешно. Прикрой-ко, скажем, Фаньку Алешкина с кузницей, что запоем мы с тобой, а? Молчишь? И молчать будешь, потому без Илькиной мельницы да без кузницы мы при любой власти не обойдемся.

— Почему же не обойдемся? — возразил Егор Ветлугин. — Со временем у нас будут государственные мельницы.

— И кузницы разви государственные?

— И кузницы.

— Эва, значит, Ефанаил, свояк ваш, или кто он, по нынешнему вам приходится, тоже лишится своей кузенки, — подмигнул мужикам Илька и, довольный, что так ловко подрезал комиссара, добавил: — Не-е-т, Фанаил ваш не пойдет на это. Потому вон газетка-то как раз о нас с Фанькой говорит, не притеснять, мол, частную сектору...

— Одно другому не противоречит, — ответил Егор. — Ты стоишь за частный сектор, а я — за коллективный. Придет время, когда не только в городе, но и в деревне коллективный сектор вытеснит частника.

Илька Кропот сдернул с головы картуз и, картинно размахнув им, словно собирая подаяния, спросил:

— Тогда за что же, братцы, мы сражались?

— Кто сражался? — взглянув на Ильку, спросил Егор и, вспомнив, что тот укрывал Прошку Морало, гневно добавил: — Да-а, ты, Илья Калиныч, верно, крепко сражался. Только вспомни, за кого ты сражался, за нас или за Колчака?

— Я был дома по болезни и, к вашему сведению, непричастный к Колчаку.

— Ныне и стены дома стреляют, — ответил Егор и, видя, как оживились мужики и согласно закивали головами, направился в помещение волисполкома.

Алексей Ложенцов был у себя в кабинете. Увидев Егора, он обрадовался, вскочил со стула:

— Наконец-то! — и, обняв Егора, легонько отстранил его от себя, потом, как бы поглядев издали, хлопнул увесистой ладонью по плечу и снова обнял. — Наконец-то! — опять сказал он. — Ну, рассказывай, дружище, откуда, как?

— Рассказывать вроде и нечего — все ясно, — ответил Ветлугин. — Прошли тыщи верст. Только вот Степанова так и не догнали...

— Зато Колчаку на хвост наступили.

— Ну, этого мы на дно Ангары отправили, к рыбам... А как вы здесь? Как Иван Васильевич? В Вятке еще?

— Попов-то? Иван Попов добровольцем ушел на фронт... на Восточный... Капустин? Капустин воевал на Северном фронте. Ранили его. Малыгин, тот на Урале... Тут, в Вятке, у нас Блюхер командующим укрепрайоном был.

— Знаю... Колчак неспроста охотился за ним, даже деньги сулил, кто его выдаст, — да разве же кто пошел бы на это?.. Помнится, даже стишок был у нас сложен:

...Тридцать за Блюхера тысяч даст...
А мы за Колчака и за Дутова
Не дадим и гроша дутого,—

и Егор засмеялся.

— Как, как? Гроша дутого? — и Ложенцов тоже засмеялся. — Справедливо сложено, складно: «За Колчака и за Дутова не дадим и гроша дутого...» Так и получилось: одного утопили в реке, другого — в море... Это тоже неплохо и, главное, справедливо, — и, немного помол-

чав, Ложенцов продолжал: — Ну, а теперь за дела, Егор, браться надо. Ждал тебя... Услышал, что едешь, даже заседание исполкома отложил.

— А что такое, уж не уезжаешь ли куда?

— В том-то и дело... Вот и думаю, кресло-то мое придется тебе занимать,— и Ложенцов указал на свой стул.— Правда, вначале я восседал вон в том, господском, но слишком уж в нем мягко и неудобно, передвинул его для посетителей.

— А куда же вы, Алексей Никитич?

— На учебу... Подучиться, говорят, надо... А сюда тебя собираемся рекомендовать. Людей ты знаешь...

— Кое-кого уже узнаю,— согласился Егор.— Кропота вот видел...

— Это он ко мне с ходатайством был. Гарнцевый сбор просит увеличить. Но о Кропоте потом... Теперь о тебе поговорим, Егор. По рукам, что ли?

— Это обдумать надо, Алексей Никитич.

— А чего же обдумывать: народ тут, говорю, для тебя знакомый. Соберем исполком и решим... Так что отдохни с дорожки денек-другой и заходи на исполком. Дела тут разворачиваются самые интересные. Без тебя, Егор, не обойдемся.

37

И Ветлугин остался в Коврижках.

Теперь каждый день у него был до отказа заполнен новой интересной и нужной работой. Вставал Егор обычно рано, седлал лошадь и ехал в какую-нибудь деревню — в одной с разделом нелады, в другой — примирить кого-то надо. Потом, вернувшись, принимал в своем кабинете посетителей, а там, как только приближались сумерки, то заседание исполкома, то какое-нибудь собрание. И только поздно вечером, уставший и проголодавшийся, он возвращался домой.

Так в заботах и хлопотах промелькнуло лето. Прошла и зима, на редкость холодная — морозы ударили по голу, и в деревнях забеспокоились: того гляди замерзнет озимь.

Весной, в марте месяце, коммунисты послали Егора на съезд партии в Москву. Это было радостно и в то же время неожиданно. Егор быстро собрался, Фанька за-

пряг лошадь и отвез свояка до станции, а там по чугунке тот добрался и до самой столицы.

В деревне в те дни только было и разговоров: что-то привезет наш Егор из Москвы.

Через три недели Егор вернулся домой, вернулся с кучей новостей. И первым услышали эти новости ржанополойцы. В тот день они так и не отпустили его в вол-исполком, просили рассказать о Москве, о съезде. И Егор рассказывал... Рассказывал о том, как открыл партийный съезд сам Ленин, как шли делегаты по льду Финского залива на выручку Кронштадта, где враги подняли мятеж, как Ленин говорил на съезде о продналоге...

Вначале мужики слушали Егора молча, но как только он сказал, что теперь крестьянин волен распоряжаться излишками хлеба сам, оживились. Петруня даже привскочил на лавке:

— Эта непа-то, выходит, по нам, мужики...

— А не обманная? — усомнился было Прялка, но на него зашикали остальные: кури, мол, табак да слушай хорошего человека, а вопросы задавай потом.

Оживился и Фанька, повеселел, даже стал словно выше ростом и уже не казался таким уродливым коробом, как раньше. Приходя домой, он доставал с пол-ицы толстую тетрадь и вносил в нее новые циф-ры. Ковал он в кузнице теперь вместе с Федяркою и втайне радовался: не кормил — не воспитывал, а такой помощник появился. И, радуясь, хвалил его: смыш-леный парень-то!

Однажды, поужинав, Фанька надел белую рубаху, подпоясал ее пояском крученым и пошел к Егору.

— Извиняюсь, Егор Евлампич,— сказал он, открыв дверь.

— Пожалуйста, входи,— оторвав взгляд от книги, ответил Егор и, встав, подвинул гостю табуретку.

Садясь, Фанька заметил:

— Книга-то у вас какая?

— Это Карл Маркс.

— А-а... Вроде бы это как? О чем?

— О капитале... О прибавочной стоимости...

— Понятно... Толстенная, как Библия...

— Да, верно, это Библия и есть — Библия революци-онного пролетариата,— ответил Егор и, разглаживая ру-

кой страницу, добавил: — Неплохо бы эту Библию почитать и тебе, Фанаил.

— Конечно, книга, как и газетки, всегда на пользу,— согласился Фанька.

И, помолчав, будто себе возразил:

— Говорят, Библию читай, да сам не плошай. Об этом теперь и непа толково пояснила. Чтоб каждый трудовой люд жил в полную силу,— и, повертев в руках кепку с крученым ремешком у козырька, продолжил: — Вот и думаю, согласно непе, неплохо бы и нам с вами, Егор Евлампьевич, вести хозяйство каждому в отдельности.

— Ну что ж, давай поделим,— ответил Егор.

В ту ночь большой Евлахин дом разошелся на три части. Егору достались по жребью изба-боковушка, первотелок да баран, которого из-за здоровенных рогов в деревне многие побаивались.

У Фаньки теперь оказались доли в двух домах: по Глафиной линии ему досталась изба с горницей да лошадь с упряжкой. От отца же своего по жребью он получил избу-зимовку и мезонин с терраской, из живности — лошадь, телку и две суягные овцы. Животных он быстро свел в один хлев, а вот как из двух домов собрать один — тут сложнее, тут у Егора, говорят, законы есть: в каком случае, скажем, из-под крыши можно отломать избу с горницей, в каком — нельзя. Фанька разыскал эти законы и, шастая глазами по параграфам, вдумывался в их мудреное толкование.

Наконец, отыскав для себя выгодный параграф, пошел в волисполком.

— Строиться хочу,— сказал он Егору.— По закону имею я право на отлом своей части дома или не имею?

— По закону не имеешь,— ответил Егор.— Но поскольку этот вопрос касается лично меня, решай так, как захочешь, возражать не стану.

— Значит, разрешаете?..

В конце лета Фанька начал строиться. Год выдался тяжелый, неурожайный, и плотники из-за пуда муки искали работы. А хлеб у Фаньки был, и плотников он подобрал быстро и совсем недорого: муки по пуду дал каждому да горячим приварком пообещал кормить во время стройки досыта.

Место для дома он выбрал на краю деревни, возле Гаври Прялки — земля уж тут больно породистая, жирная. Под оклад Фанька привез из-за угора несколько камней, они с незапамятных времен лежали на развилке дорог, как круглые столы, на них всегда отдыхали бабы, возвращавшиеся с грибами или ягодами из поскотины. Окладные бревна на камни положил крепкие, комлистые, выстоявшиеся, а потом уже взялся и за остальное.

Но тут, когда плотники пришли разламывать Евлахин дом, произошло самое неожиданное для Фаньки.

А произошло вот что.

Вместе с плотниками и с Фанькой пришел с топором и Федярка. Ему уже шел тринадцатый год, он вытянулся, и не только лицом, но и всей фигурой стал походить на своего отца. Пока плотники перед началом работы затягивались табаком, Федярка с тоской и болью в душе ходил по пустым избам, разглядывал стены, косяки с пометками деда, потолок, усеянный знакомыми сучками, с которыми когда-то он разговаривал, как с живыми. И вдруг ему стало нестерпимо жалко этот дом, с ним у него связано было самое лучшее, самое дорогое в жизни, и вот его собираются ломать.

Федярка повернулся к отчиму, который в эту минуту был не только неприятен ему, но и ненавистен, и спросил:

— Которая моя изба?

— Не изба, а горенка тебе выпала, — ответил Фанька. — Горенка еще лучше зимовки.

— Тогда не трогай горницу!

— Как не трогать! Не ломать, что ли?

— Не ломать! — отрезал Федярка. — Это мое дело, дедово наследье...

— Чего пустое-то говоришь? Ты ведь теперь в моей семье?

— Нет, не в твоей, — еще больше ожесточился Федярка. — Хочешь мамкину долю взять — бери, а мою не трожь, не велю ломать, — и, бросив топор, ушел.

Плотники, присутствовавшие при разговоре, удивленно переглянулись.

— Вот видишь, как и свое, да не могу, — развел руками Фанька.

— Надо как-нибудь добром,— сказал один из плотников.

Другой посоветовал:

— Беги, Ефанаил, в Совет, объясни, что согласно непе нельзя так-то.

— Ты с парнишком своим вначале утряси, а потом уж в Совет,— стоял на своем первый.— В случае чего, записку возьми...

Фанька не на шутку задумался, впервые понял, что рядом вырос другой человек, с которым придется считаться.

38

Молчком подступила ночь. Когда все улеглись спать, Федярка оделся, взял в хлебнице полкаравая хлеба и тайком выбрался на улицу. Постоял немного на крыльце — и к дяде Егору. Но дяди дома не было. Вспомнил, он вчера еще уехал в город. «А может, я его там разыщу? Дядя вон какой, его все знают... Да и чего же страшиться, живет же там Лаврушка — остановлюсь у него...»

Повесив через плечо сумку, в которой он носил книги в школу, Федярка вышел на тракт. Он шел по посвежевшей дороге и все еще думал о доме, о маманьке, об отчине.

Почти год Федярка проработал в кузнице вместе с отчимом, с утра и до позднего вечера махал он тяжелым молотом. И вроде поднавык в деле — сам мог кое-что уже ковать. Но кузница была кузница, сюда приходили отовсюду люди, приносили с собой разные новости, случалось, и спорили... И отчим тоже спорил... Прислушиваясь к людям, Федярка частенько не соглашался с отчимом, но в разговоры старших не вступал.

Отчим все больше жаловался на жизнь, говорил, что в деревне слишком власти прижали мужика, что, пожалуй, надо убираться куда-нибудь в лес, выходить на «отруб». Чем больше Федярка слушал эти жалобы, тем больше росло в нем желание возразить отчиму, но доказать, что отчим неправ, Федярка еще был не в силах. Тем не менее это внутреннее несогласие с каждым днем росло, Федярке уже не нравились не только его разговоры, но и он сам, медлительные движения его рук —

точно он ими все что-то нащупывал, его угрюмоватая походка, его полузатаенная на лице ухмылка. Эту ухмылку он увидел и в тот день, когда отчим сказал ему: «В моей семье живешь», — тут вдруг все оборвалось...

Фанька, Фанька!

Не таким казался ты, Фанька, раньше. Когда-то и Федярка к тебе бегал: то Фанька свистульку из сосновой, в соку мутовки свернет, то игрушку какую-нибудь особенную изладит. Кузница Фанькина для него тогда была кладовой чудес. Чего только в ней не увидишь: тут и старые, точно высеребренные, подковы, и замки со звончатым запором, и оловянные тарелки — из них режь да катай на железной площадке картечники, и труба от старого депрейсовского граммофона... Федярка и теперь еще помнит, как Фанька возился с этим граммофоном — и вдруг тот граммофон, с вытянутой по-гусиному шеей, запел человеческим голосом.

Федярка смотрел на Фаньку, как на кудесника, который все знает, все умеет. Стоит он, бывало, в кузнице, напевает что-то себе под нос и мастерит, мастерит... Спросишь его, а он в ответ лишь скажет: «Угадай». Одного не угадали ржанополойцы, каким же станет Фанька потом...

И не трусливый он, никто не мог поймать Прошку Морало, а Фанька не дрогнул, пошел к нему в самое логово.

Другим стал отчим, непонятым. Жалко Федярке только мать, да маленькую сестренку Гальку жалко. Еще бы — с утра до вечера мать в работе. Заберет с собой Гальку на полосу, положит ее под суслон и, не расклоняясь, жнет. Выжать же такое поле надо! Отчим тут маманьке не подмога. У него на уме лишь кузница, да веялки, да сундук с замком звончатым. Да тот дом, который строить начал...

«Теперь нэп мне все разрешил!» — не раз наставлял своих Фанька.

Эх, Фанька, Фанька...

«Однако найду ли я в городе дядю Егора? Где буду жить? Чем буду кормиться?.. Да ведь у меня есть руки. Они были нужны отчиму... Но с ним теперь все кончено...»

На другой день вечером Федярка перебрался за реку, поднялся по пыльному, поросшему жесткой серой травой откосу и удивился: город-то какой большой! Домищи здесь куда лучше, чем в Уржуме. Только в котором доме тут заседает дядя Егор? Наверное, в самом, самом большом. И красный флаг должен быть на том доме, как у нас в Коврижках...

Федярка, доев хлеб, шел с пустой сумкой по городу и смотрел на дома, на крыши, но флагов красных не было. А церквей-то сколько понастроено... На одной стороне улицы церковь, на другой — вторая. Вот уж, наверное, по праздникам здорово звонят в колокола!

Рванул ветер, закрутил по булыжной мостовой пыльной поземкой, сметая к оврагу мусор. Мимо пробежали шумливой кучкой ребятишки с длинными шестами в руках. На концах шестов трепыхались пестрые тряпки. Над тряпками кружились голуби. И голуби-то тут пестрые, а вон совсем даже белый кувыркается в небе... А может, это вовсе и не голуби, а сороки? Только хвосты у них не такие, и летают не так, и не трещат... Подкрасили, что ль, их? А то и впрямь, может, подкрасили, чего же удивляться — город.

Федярка проводил глазами пестрых птиц, кувыркавшихся над шестами с тряпками, спросил степенного мужчину в шляпе:

— Дядь, а дядь, а где тут дядя мой заседает, Егор?.. Егор Ветлугин...

— Не знаю таковых,— холодно ответил тот и прошел мимо.

«Да ведь это буржуй,— провожая его взглядом, подумал Федярка.— Смотри-ка, обутки-то из красной кожи... И пальто до пят... И шляпа... Как же я не догадался раньше? Чего же спрашивать буржуя...»

И Федярка стал всматриваться в прохожих.

— Не скажешь, товарищ, где тут заседают? — спросил он мужика с кошелкой за плечами.

— Сам, паренек, ищу судебное заседание. Жаловаться хочу на разор...

— А ты, тетенька, не знаешь?

— Я не тетенька для тебя, а мадам...

«Мадам,— подумал Федярка.— Это, по-нашему, должно, маманька. Мадам — маманька, ишь ты как тут при-

думали, и говорят вроде как в нос, по-городскому. Что-то делает теперь маманька? Кормит, наверно, Гальку да меня вспоминает. Может, ищет уж?.. Ничего, устроюсь, напишу письмо... Через неделю-две — дойдет... Хотя дядя Егор тут... Найти его надо, пусть увезет письмо-то... Как-никак быстрее...»

— А где тут заседают, товарищ красноармеец? — спросил Федярка человека с наганом на боку.

— Ты что, беспризорный, разыскивашь кого?

— Не-е... Я в город сам пришел... Егор Евлантьевич тут... дядя мой... Он тоже главный у нас в Коврижках... Вот где-то заседают здесь...

— Коммунист?

— А как же... Дядя, да еще не коммунист... Он красный командир...

— Это в губисполком, наверное, надо.

— Вот-вот... Дорога-то тут как?

— Так дорога тут, что, напрямиком — и налево, — и, взглянув на проезжавшего мимо в пролетке бородача, сказал: — А ну-ка остановись, товарищ кучер... Вот что, папаша, губисполком ты знаешь?

— Как не знать, товарищ начальник.

— Так вот, посадишь в свой фаэтон сего товарища и представишь его туда... Я с ним посылаю свое препровождение, — и, вырвав из записной книжки листок, что-то черкнул карандашом и сунул бумажку Федярке. — На вот, там помогут разыскать...

Федярка забрался в фаэтон — по-полойски тарантас на пружинах, — впереди на козлах сидел товарищ кучер, а за ним, на мягком сиденье, он, Федярка, собственной персоной. Хорошо-то как... Сидишь, и тебя мягко покачивает, и все видно — дома и дома, один другого больше и красивее. И все каменные да белые, так и светятся... И ограды каменные, и ворота — на столбах какие-то звери с лохматыми гривами сидят.

— Медведь, что ли?

— Где?

— На воротах-то.

— Львы, — ответил кучер. — От медведей какая же польза...

— А от львов?

— Ну-с, порядок такой... Сила, значит... Этот вот дом купца Долгушина.

— Большо-о-й.
— Как же, деньги хранил в заграничном банке.
— У нас-то дома, что ль, украдут?
— У нас не украдут, у нас дешевле процент...— кучер подстегнул лошадь.

Федярку на повороте подбросило, он ухватился за край фаэтона, вспомнил маманьку: «Посмотрела бы, как я разъезжаю...»

В отделе по борьбе с беспризорностью у него спросили документы. Федярка потряс пустой сумкой, сказал:

— Зачем мне документы, когда тут дядя Егор есть...

Толстая тетя взяла какую-то трубку, приложила к уху и начала говорить. Смотрит в пустую стену и говорит о нем, о Федярке.

— Сбежал из дому...

— Я вовсе и не сбежал, я ушел,— уточнил Федярка.

— Да, да... Говорит, что здесь дядя Егор есть... Егор Ветлугин. Был в исполкоме? Тогда, верно, не врет, найти его надо, а малец пока у нас побудет...

Егор Ветлугин немало был удивлен, когда вошел в отдел по борьбе с детской беспризорностью и увидел сидевшего в углу племянника.

— Ты откуда взялся? — спросил он.

— В фаэтоне приехал,— оживился Федярка.— Вначале, правда, пешком шел, а потом привезли вот сюда, потому как ушел я...

— А зачем ты ушел из дома?

— Так неохота там жить... Избу разломали, за горницу хотели было взяться... Я не дал ломать и ушел... Думаю, лучше так-то...

Егор покачал головой, задумался.

— Ну, а дальше как? — помолчав, спросил он.

— Ну, как... Живут же люди тут... Дома-то вон какие... И опять будут строить... А может, и строят тут где... Буду кирпичи подносить, доски таскать...

— А может, вернемся?

— Не-е, домой, дядя, не поеду... Здесь город-то вон какой большой... И людей много... И Лаврушка тут... Найду — жить будем вместе...

Фанька отломал от ветлугинского дома Глафину избу и увез ее из-под крыши. Чтобы крыша не упала, подвел под нее подпорки и в пустом, пахнувшем холодком углу теперь стали укрываться от зноя овцы. Перевез на новое место и свою долю от отца — избу с мезонином, а горенку пришлось купить за хлеб в соседней деревне. Правда, жалел Фанька Евлахину горницу, и не стены жалел — они пойдут, а окна да лиственничный звонкий потолок. Такого потолка не на одно поколение хватило бы.

С возрастающей тревогой смотрела Глафа на осунувшегося, почерневшего от заботы мужа, боялась — не поломился бы, совсем очертенел со стройкой, сам не спит и другим не дает.

А он лишь одно в ответ:

— Торопиться надо, Глафа, не успеи сегодня, завтра поздно будет. Завтра, может, не дадут стронуться. Вон Илья Кропот второй дом уже на оклада положил.

— Куда ему второй-то?

— Для сыновей. А у нас ведь тоже... Галька...

«Галька-то мала еще,— и Глафа невольно вспомнила Федярку, с тоской подумала: — Как-то он в городе живет? Пишет, что на слесаря учится. Без хлебушка, может, сидит. От родного отца не ушел бы... — и, бросив взгляд на мужа, подсадовала: — Зачем же я так-то далась тебе, короб?»

К богородицыну дню — осеннему престольному празднику — Фанька подвел дом под крышу, собрал на «помочь» мужиков и сбил в избах печи, а в горнице сложил голландку из рыжего кирпича. В избах было хорошо, а горница выделялась — лучше не надо, всеми окнами уставилась она на теплую сторону. Из окон видать, как бежит Ветлужка, а за Ветлужкой тянутся к сосновому бору поля.

Плохой был ныне урожай, выгорел от жары весь. Но тут вот, на ободворице, устоял. Забрать бы поблизости всю эту землю, в один бы кусок ее соединить. Чтобы свои за окнами хлеба росли. Чтобы из окошек скотину свою видать было. Чтобы завтракать и обедать Глафа ходила домой. Чтоб все свое было, и все — рядышком...

...Новая весна принесла Фаньке новые заботы. Дом обшил он тесом, покрасил голубой краской, крышу железную тоже покрасил в красный цвет: на-ко, выкуси, Илька, дом-то не хуже твоего взлетел над округой. У тебя сын растет, а у меня — дочь, теперь и родниться не стыдно. Сошьем два хозяйства в одно — эвон что может получиться! Да еще б на отруб, на отрубок бы попасть... Однако как попасть? В Коврижках уже заговорили о коммуне. По правде сказать, это не обрадовало Фаньку. Другое дело — отруб. Хутор бы еще лучше. Выехал бы куда-нибудь за Угор, и поле тут, и покос, опять же и лесок тут рядышком, и голубика будет своя, и каждая сыроежка...

В петров день Фанька не пошел в кузницу. Позавтракав, оделся, поверх сатиновой рубахи натянул жилетку и отправился в Коврижки. Сегодня там по-праздничному весело. На все лады гудели колокола, пели они, языкастые, звонко и заливисто, неотступно зазывали к себе. Около церковной ограды, как всегда, разместились нищие. Какая-то нищенка-плакальщица, воздевая руки к небу, грозила пальцем, слезно взывала:

— Помолитесь, христьяне! Прогневился на нас бог всеправедный. Засушил он землю-матушку. Вон на Волге-реке места для могил не хватает. Всемирное голодание к нам надвигается. — И, уставившись блеклыми глазами на проходившего мимо Фаньку, пропела: — Вспомните бога, подайте денежку!..

Фанька, втянув голову в плечи, отмахнулся: «Бог подаст!» — и повернул к потребилке. У кредитного товарищества он повстречал Ильку Кропота. Борода у Ильки, как лопата, нежится на широком, красной дубки лице, горит на солнцепеке, узенькие глазки хитровато поблескивают из-под лакового козырька.

— Смотри-ка, — обвел он ручищей площадь. — Не хуже прежнего стало, — и, подхватив Фаньку под локоть, повел по торговым рядам.

И верно: откуда понаехали тут люди с товаром, где все взялось, — калачи и пряники, рожки сладкие для малых ребят и петушки сусальные на палочках, рыба красная и селедки в крепком рассоле...

— На три селедки — ложка рассолу в придачу! — кричит звонкоголосо баба, ловко орудуя деревянной ложкой.

Рядом с бочкой селедок сзывает к себе людей китаец, словно забавляясь, играет он цветными бумажными шариками. За китайцем в ряд, на корточках, сидит старик с черной повязкой на глазу и неумолчно и монотонно прославляет товар:

— Ни единая вошка не затеряется, ни гнидка не удержится, ни прочая божья козявка...

Тычет пальцем Кропот в сторону старика, смеется:

— Смотри-ка, кто на чем гонь раздувает... Мы с тобой, Фанаил, другие люди. Мы и кредитное вон товарищество обернем на свою сторону. Пойдем да теперь и отхватим по косилке, а? За день подвалим свои луговья, на другой день у соседа...

— Некогда возиться с косилкой...

— Парень пусть привыкает.

— Парня-то в ученье в город отпровадил.

— Это ты зря... Не писари нужны теперь, а деловые люди.

— Верно, у кого ремесло в руках, у того и рубль в кармане.

Контора кредитного товарищества помещалась в поповском доме. Отца Вениамина в прошлом году расстреляли в бору по решению ревтрибунала: днем святой отец в церкви служил, призывал людей к миролюбию, а ночью в церковном подвале оружие собирал. Сам же трибуналу и сознался: на всякий случай, дескать, приберегал это оружие.

Теперь в одной половине поповского дома — читальня с библиотекой, в другой, что окнами к складу, кредитное товарищество, а «праздничное зало» осталось залом для собраний. Напротив дома, в большом складе, стоят машины для продажи.

Войдя в контору кредитного товарищества Кропот снял картуз, сделал общий поклон и шагнул к столу, за которым сидел широколицый человек с аккуратно подстриженной, холеной квадратной бородкой. Протянув ему руку, он кивнул в сторону Фаньки:

— А это, Серафим Иванович, кузнец... Наш мастеровой человек...

— Очень приятно,— здороваясь, сказал тот.— Очень приятно... Чем могу быть полезен?

— Так вот косилку советую ему купить.

— Крестьянину без машины теперь невозможно

жить,— ответил Серафим Иванович и, встав, пригласил их на склад.

Полдня Фанька простоял около новенькой косилки, поблескивавшей свежей зеленой краской. Потом незамегно ушел домой, а часа через два вернулся на лошади. Купив косилку, запряг в нее своего мерина, одной рукой взял за узду, другой рукой зажал черемуховый кнут для острастки. От стрекота машины взвилась на дыбы лошадь, подбросила на аршин от земли Фаньку — велик ли он; однако узды Фанька не выпустил.

Стукнувшись о землю, он вскочил, размахнулся кнутовищем, ударил по морде лошадь, рассек ей губу. Тут же и пожалел — своя ведь лошадь-то, черт возьми.

— Купил машину, теперь можешь катиться и на отруб,— подзадоривал Кропот.

— Да ну, ужели можно?..

— Говорю, можно... Спроси вон Серафима Ивановича, он, Мургин, головастый... Недавно приехал с торгово-коммерческих курсов. Теперь жизнь-то, сам видишь, каким крылом повернулась к нам... Сходи вот, узнай...

«И впрямь, надо сходить»,— подумал Фанька и, оставив лошадь, снова забежал в контору.

— Я к вам, товарищ, еще... С вопросиком, насчет пути-дороги...

— Рад помочь, в чем дело?

— Так вот... Я кую... Лошадей подковываю и все прочее,— начал издалека Фанька.

Мургин, уставившись глазами на нескладного мужика, внимательно кивал головой: выходить на отруба дело, мол, теперь вполне законное.

— Так с чего начать-то? — спросил Фанька.

— Ну что же, если есть желание, я могу написать вам заявление,— ответил Мургин.— Однако в волисполкоме говорят, что сейчас для крестьян есть другой путь, вроде бы более прогрессивный,— и не без иронии усмехнулся.

— Не-е... Не подходит коммуна,— поняв его усмешку, согласился Фанька.— У нас ведь разные силы, товарищ заведующий.

— Я тоже такого мнения. Но вы по силам и собирайтесь. Так сказать, с кем желаете... Договоритесь с влия-

тельными мужичками и начинайте. Кирпич вам нужен — огнеупорное товарищество можно...

— Я, сказываю, кузнец, веялки делаю по договору.

— Один или с кем в паю?

— С отцом со своим.

— Пригласите еще кой-кого, вот и хватит для начала... Почему я так советую? На отруба труднее выбрать-ся, а по коммунальному пути — и кредиты дадут, и машины, и семена... А там — видно будет... Живете-то где?

— Тут, поблизости... В Ржаном Полое. Может, и вам сковать что надо? Милости просим...

— Спасибо, с удовольствием воспользуюсь приглашением.

Мургин встал, прошелся в легких сапогах по комнате, поправил на белой косоворотке крученный пояс и, повернувшись лицом к Фаньке, остановился. На круглом лице его, слегка побитом оспой, появилась настороженная улыбка.

— Воспользуюсь вашим приглашением, товарищ, с удовольствием воспользуюсь, — провозжая Фаньку, повторил он и, вернувшись, достал записную книжку и что-то пометил в ней.

40

У Мургина был свой велосипед — невиданная в этих местах машина, чтоб на двух колесах человек так ездил. А Мургин вот ездил, да еще как ловко — вскочит на пружинистое сиденье, уцепится за блестящие никелированные рога и ну мотать ногами от деревни к деревне. Ребяташки за ним следом другой раз бегут версты две-три, удивляются — человек-то, смотри-ка, на резиновых колесах сидит. Правда, катал он одного мальчишку и опрокинулся в яму, заросшую крапивой, но это случайно, — камень подвернулся под колесо. А так — удивительная машина, сиди да ножками покручивай, и ни сена ей не надо, ни овса, а живая — куда захочешь, туда на ней и кати.

За короткое время Мургин побывал во многих деревнях, а вот в Ржаной Полоей не заглядывал — на то была своя причина.

И вдруг — приглашение кузнеца... Мургина снова охватило беспокойство.

С того дня, как вернулся в эти края Ветлугин, а потом стал в Коврижках председателем волисполкома, беспокойно стало на душе Мургина. Как-то, встретив Кропота, он сказал:

— Зря вы меня сюда позвали.

— Это почему же?

— Ветлугин появился... Встречались ведь мы с ним как-то... Правда, встреча была короткая. Может, и позабылась...

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — равнодушно махнул рукой Кропот. — С тех пор много воды утекло. Да и мы вроде повзрослели, другими стали, не так ли, Серафим Иванович? — и засмеялся, отчего рыжая борода его ожила легкой дрожью. — Помимо меня тут тебя сватали...

— Знаю и это...

— То-то и оно, жди — каждой птице свое время петь... Так ведь говорил когда-то нам Чирков?

Серафим Иванович вспомнил случайную встречу с Чирковым, которая произошла совсем недавно, минувшей весной. Серафим Иванович, попав на местный рынок, остановился у площадки, где показывали «ученого» медведя. Краснолицый мужик в пестром колпаке стоял на помосте и бил в бубен, а медведь ходил вокруг него на задних лапах, кланялся по сторонам, хлопал одна о другую передними лапами, будто бил в ладони, — от всего этого публики восторженно смеялась.

Когда кончилось представление, к площадке, у которой стоял Серафим Иванович, подошел худосочный с костистым лицом человек и чуть слышно сказал:

— А мы, кажется, где-то с вами встречались?

Минута-другая — и все стало ясно: перед ним стоял тот самый Чирков, с которым он встречался в Казани.

— Без дела, что ли, ходите? — спросил негромко Чирков. — Идите к нам на курсы кооператоров. Такие, как вы, сейчас нужны, — и, отведя его в сторону, продолжал: — Два месяца курсы, а потом, скажем, в Коврижки... К старому знакомому Илье Калинычу... Опасаться вам нечего. Оттуда до Нолинска далеко. Другой уезд...

Документ дадим, с новой фамилией, и живите на здоровье...

И вот он теперь не Сафаней Вьершов, а Серафим Мургин. Приехал в Коврижки, встретился с Ложенцовым — и забеспокоился. А потом появился тут и Ветлугин... Беспокойство возросло.

Он написал письмо Чиркову о том, что ему надо перебираться куда-нибудь в более безопасное место. «Нужно еще поработать», — ответил тот. И Мургин, стараясь побороть тревогу, умолк. По-прежнему щелкал на счетах, выписывал мужикам квитанции, подписывая их непривычной для себя фамилией.

После разговора с Фанькой Мургин все же решил заглянуть в Ржаной Полой, надо побывать у кузнеца, хотелось поближе познакомиться с ним.

Спустившись на велосипеде с горы, Мургин увидел на берегу речки девушку, полоскавшую белье.

Он невольно остановился, взглянул на ее оголенные ноги, на тоненькую девичью фигурку и залюбовался. Девушка взяла белье из корзины, расправила его и, опустив в воду, принялась полоскать. Пополоскав, она бросила белье на мокрый, лоснящийся на солнце камень и, словно играючи, принялась задорно бить по нему вальком.

— Как тебя звать? — подъехав ближе, спросил Мургин.

— Ой ли? — вскрикнула Юлька и, оглянувшись, вдруг застыдилась, опустила глаза. — Тебе чего знать-то охота?

— А как же, вдруг я сватом...

— Не мели языком, — обиделась Юлька и, склонившись, начала укладывать белье в плетенную из молодого тальника корзину.

Когда Юлька нагрузила ее доверху, Мургин, не говоря ни слова, поднял корзину — тяжеленько, однако, и осторожно повесил на руль велосипеда.

— Вот и увезу твои наряды, — сказал он.

— И не увезешь, — моргая темными ресницами, ответила примирительно Юлька и, перекрутив жгутом ситцевую кофтенку, бросила ее поверх всего.

Поднялись они в деревню по выщербленной водой дороге вместе: Мургин вел велосипед с висевшей на блестящих рогах корзиной, а Юлька шла по другую сто-

рону с вальком в руке. Когда Юлька остановилась у проулка, Мургин спросил:

— А дом Алексея Даниловича который?

— Так это наш и есть,— махнула она в сторону избы на один скат и взялась за корзину.

— А дом кузнеца?

— На конце деревни, вон под железной крышей который,— ответила Юлька и, кособочась от тяжести, зашпeshила по тропинке к своему дому.

Мургин недоуменно огляделся — место как будто знакомое, а дом совсем другой: тот, помнится, был больше, а тут всего лишь избенка. Только позднее Мургин узнал, что он не ошибся: место было то самое, а дом Алешки Кузовкова, как и дом Евлахи, разошелся по паям.

Побывав у кузнеца, Мургин в Ржаной Полой больше не заезжал. Зато Юлька стала чаще бывать в Коврижках. Нет-нет да и соберется в лавочку.

— Зачем в село-то? — выглянет какая-нибудь баба в окошко.

— Купить кой-что...

— И на велосипеде покататься?

— Если приглашают, почему и не покататься? — и, довольная, тут же засмеется Юлька по-девичьи и звонко и весело.

41

Совсем исхудал лицом Фанька, кашлять начал, того и гляди чахотка привяжется. Отдохнуть бы малость ему, так не хочет. Ни минутки продыху для себя не оставляет: то он в кузнице около горна снует, то дома что-нибудь прихорашивает, то ездит в город по веялочным делам. Где только и силы у него берутся,— велик ли, а ношу другой раз, как муравей, больше себя волокет. Вот и теперь уехал в Вятку...

Болит сердце у Глафы,— дорога-то неблизкая. Опять же и рада, что уехал, хоть денек-другой одна побудет, немного отдохнет от Фанькиных хлопот. Однако и одной дома невесело, мыслям-то, думушкам своим надо выход дать, с кем-то поговорить, а с кем? С Настенькой бы Алешкиной, как раньше, но Настя теперь иной стала. Обиделась, должно быть, на Фаньку, что он ее с отцом

в избе-боковухе оставил, крышу сделал им по-бобыльски на один скат. Просила Настя оставить для нее мезонинчик — комнатку бы из верха чистую выделать можно, так нет же — Фанька уперся: Настасья, мол, теперь отрезанный ломоть, замуж была выдана с полотнами да нарядами, какие же вторые для нее пай выделять. Оттого и не здороваётся Настя нынче с братом и к Глафе совсем по-другому стала относиться. Неловко от этого Глафе, будто не Фанька, а она обидела невестку. Сходить разве к братцу, ведь только один Егор из родни для нее остался близким человеком. Уложила она в постель Гальку, надела на себя новую кофту, платком белым повязала голову — и быстрехонько на свой старый двор.

Любила она Евлахин двор. Здесь она познала первое счастье с Федосием, здесь и сына родила, и Гальку-крохотку тоже здесь зачала... А теперь скособочился дом, крыша на подпорках стоит, будто на костылях. И в огороде заросло все лебедой. Некому за хозяйством присматривать: сам-то Егор все на службе, вернется домой — и за книгу, а то и вовсе не приходит, все в разъездах да на собраниях пропадает.

На этот раз Егор был дома. Глафа поздоровалась, окинула взглядом знакомую избу, поправила на кровати одеяло, взбила горкой подушку, вздохнула.

— Не нравится мне, братец, холостяцкое твоё житейство, Жениться-то когда станешь?

— Сватаю вот Настеньку, да не идет, — пошутил было Егор.

— А чего же, Настасья — баба хозяйственная. Да ведь тебе, Егор, не такую, наверно, надо... Наверно, бойкую надо, в красном платочке?

— Платочек и ей куплю, но вот не соглашается, коммунист, мол, ты, нехристь, — ответил Егор, смеясь.

Глафа взглянула на братца и опять вспомнила Федосия. Вот так же и он любил пошутить. И улыбка, и глаза — все его.

— Федярка-то нынче письмо прислал, старательно работает, слышь, — вдруг сообщила она. — Хвалит мастерство... А вечером учится наукам разным...

— Это, Глафа, хорошо.

— Думаешь, хорошо, братец?

— А как же, нам такие люди теперь нужны.

— Нужны — это верно... И тебе спасибо, что помог устроиться тогда. Только сам-то вот обижается. И опять же думаю, чего ему обижаться. Замурзовали бы тут парня...

— Сама-то живешь как, Глафа?

— Да как живу... Живу — хлеб жую да Гальку воспитываю. Не Галька бы... Другой раз и думаю: хорошо, что и ушел Федярка. Человеком, может, станет. Хоть и тяжело ему. — Глафа помолчала, будто вспоминая что-то. — Нынче и говорю, послать бы Федярке-то немного... Поморщился, три рубля достал из кошелька, протянул — на, мол... Взяла, а пальцы точно огнем жгет... от трешки-то этой... Бросила ему в лицо — подавись, мол, злыдень. Выбежала. А куда бежать? Галька ведь... Вот и говорю, уж и лучше, что уехал. А о себе, чего же думать о себе, не привыкать, братец... На тебя вот взгляну другой раз, так и вспомню Федосия, — и Глафа уткнулась лицом в ладони.

Спустя минуту отняла руки от лица, сказала:

— Обо мне уж, братец, поздно говорить... Тут вот был нын из кредитного... Тот, что с бородкой. Не советовал, слышь, в вашу «Веялку» брать больше никого. Зачем, мол, вам на дороге голытьбу подбирать...

— Ужели так и сказал?

— Я-то сама не слышала, а муж сказывал, Фанька, он сроду не соврет, — и подсадовала: — Мой-то опять укатил, никак ему не сидится. Чего бы еще надо? А все мало... Может, братец, в товариществе-то повременить, аль как советуешь?

— Идти надо, Глафа, но с кем идти? — словно сам себя спросил Егор, и улыбнулся, и опять своей улыбкой напомнил ей Федосия. — Мы вон организуем в Коврижках огнестойкое товарищество...

— Это какое? То, в которое Макуха записалась? Так не пойдет же мой-то. Ему, моему, с Прялкой надо, с Илькой Кропотом... Пролый раз в горнице до рассвету сидели, все укладывали, как да что...

— А почему вы Кропота держитесь?

— Ну, как же, братец... Мельница...

— Мельницу скоро обществу передадим, — сказал Егор и спохватился, что сказал преждевременно. — Мо-

жет, и не передадим, но «Огнестойки» вам держаться надо.

— Так-то, может, и так... Да вот Фанька...— вздохнула Глафа.

В хлопотах мужицких промелькнуло короткое вятское лето. Не заметил Фанька, как на березах длинными кистями повисли золотые пряди, как яркими пунцовыми огоньками загорелись у загумешников рябины, и вот уже закрипели по дорогам к гумнам телеги, пахнувшие смолой и свежим ржаным хлебом. Только ржи нынче у всех не густо уродилось, раньше, бывало, на возу лежат снопы, как бочки, с тяжелыми, точно литыми, колосьями, а тут — легонькие снопики, что ни колос, то пустой. И яровые не вышли собой, кругом жалуются — «пьянчужка» задавила посевы. И провеивают мужики лопатами зерно, и просеивают его на решетках, но никак не могут удалить рыженькие семечки той травы «пьянчужки», как окрестили ее здесь. Испекут бабы пироги из свежего намолота, отведают и тут же опьянеют: голова болит, и ноги не держат. Да и выгорели нынче на увалах посевы, а в лощинах да по закрайкам лесным неожиданно ударил августовский заморозок и подбелил овсы, — тряхнешь снопом, а там — одна мякина. У всех такое горюшко, и у Фаньки тоже, полосы-то ведь рядом со всеми. Потому и не часто заглядывал Фанька в поле, с весны видел — кругом голо, веялками кормиться надо.

В сенокос затрясла Глафу лихорадка, Фанька и к фельдшеру ее свозил, и к бабке на «наговоры» — че помогает. Отпустит лихоманка на денек-другой и опять начнет трясти пуще прежнего.

Не успели убраться с сенокосом, как подошла жатва. Фанька известил своих должников — тех, кому ковал в долг, и бабы двинулись к нему на отработку с серпами. Соседи еще только за половину перевалили в ржаном поле, а Фанькины работники перешли уже в яровое — созрело-то ныне все разом. Прошло недели две, и всем на удивление к Фанькиному дому бабы пронесли пышный овсяный сноп, поставили в красный угол под божницу — здесь так принято. Уселись жницы за стол тес-

ным кругом, Фанька выставил на стол бутылъ самогону. Глафа принесла студня, свиных шей, каши. Повеселел стол, будто и усталости у баб не бывало. А напоследок Глафа, по обычаю, приготовила особо торжественное угощение — саламат.

Ячневая крупа, приправленная маслом, лежала на большой сковороде бугром. На вершину бугра бабы водрузили овсяной с сережками стебелек и начали подбирать по очереди к нему ложками. В чью сторону стебелек упадет — тому или умереть в тот год суждено, или жениться. Такая уж тут примета. Примета — не примета, а завечают так.

С каждой минутой саламатный холмик становился меньше. Дошла очередь хлебать Юльке. Она поддела ложкой рассыпчатую жирную крупу, овсяный стебелек покачулся и неожиданно упал в ее сторону. Юлька смутилась, раздутые от саламата щеки запыхали кумачом, а жницы — народ артельный, озорной, уже подхватили хором:

Ой да как во поле высок,
Ой, лада, овес высок,
Ой да как лицом бела,
Ой, лада, лебедушка бела.
Ой да как по травушке плыла,
Ой, лада, Юленька плыла...

Раскрасневшаяся Юлька вскочила со скамьи — и в двери на улицу.

Все довольны, веселы, даже Глафа, и та, скрестив руки на груди, заулыбалась:

— Юленька — девушка бойченькая у нас... Ребята вон боятся на велосипеде, а она села...

— Лисопед то ее и увезет взамож...

— Это с бородкой-то который?

— А не стар?

— Чего там стар, зато служащий.

— Видячее дело, видячее, — заключила Макуха и вышла из-за стола.

Фанька тоже поднялся, стянул со спицы полотенце с вышитым концом, вытер им губы, сказал:

— Ну, бабоньки, спасибо, что сноп помогли в дом внести.

— Тебе спасибочко, Ефанаил. Чего ни попросим — живехонько изладншь, — ответила за всех жена Ваничудотворца. — Я вот тольки хочу спросить, мужики-то

наши сдурели, все в «Огнестойку» записались, надоть бы, думаю, к тебе лучше, а?

— Эка, захотела ты в «Веялку», да знаешь ли, кого туда подбирают? — вспыхнула Макуха. — Подбирают туда только с «золотыми» руками...

И впрямь, в «Веялку», кроме Фаньки да его отца, вошли все плотненькие мужички — Гавря Прялка с зятем, да еще два плотника... Когда же им в Коврижках посоветовали присоединиться к «огнестойкам», те ответили:

— Зачем же мы полезем? У нас своя артель — «Веялка».

— Название какое-то у вас без политики...

— Как без политики? Будем «Веялку» звать красной, — ответил Фанька и заулыбался. — О нашей «Красной веялке» в губернии знают...

Так и раскололась на две части деревня: одни окопались в «Красной веялке», другие потянулись к «огнестойким».

В «Огнестойкое» собрались люди победнее, с одной лошаденкой, а то и вовсе без нее, вроде Вани-чудотворца да Макухи. Если б не Фанька, туда бы качнулся, наверное, Алешка — тоненькие ножки, но сын вон как закрутил дело — на веялки из самой Вятки заказы пошли.

«Веяльцы» построили из кругляков сарай, заготовили сосновых бревен для досок. Фанька съездил в город, закупил сотни три шестеренок, остальное стал ковать сам. Поглядывая на «огнестойких», иногда посмеивался Фанька: ни машин у них не было, ни сооружений, так под открытым небом и начали лепить свои кирпичи. Только под осень вырыли они в обрывистом берегу две ниши и начали обжиг кирпича. Правда, и на кирпич много покупателей нашлось, но только с «веяльцами» тягаться мудрено: одни сотнями прибыль считают, другие — тысячами ворочают.

— Чего ж вы меня в пай не приглашаете? — как-то спросил Илья Кропот Фаньку.

Хоть Илья и первый советчик ему, но Фанька усмехнулся.

— Так ведь у нас, в «Веялке», своими руками все робят: кто столярит, кто кует... Мы ведь кузнецы... Все сами — и веялки куем, и счастья ключи...

— Я деньгами подмогу.

— У нас, Илья, своих денег скоро девать будет нонкуда,— засмеялся Фанька в ответ.— Ты вот мельницу лучше держи, не уплыла бы мельница-то, Илья Калиныч...

— Не уплывет... А поплывет, так страховку получу. В любое дело деньги пойти могут. Хоть взять вашу же «Веялку», деньги-то ведь у меня чистовые...

— Верно говоришь, чистовые,— вытягиваясь на носках смазных сапог, согласился Фанька и, усмехаясь в недавно отпущенную рыжую бороду, расправил свой короб.— Нспа-то нынчи всем дает жить и развиваться. Смотри-ка, «огнестойкие» и те глиномятку приобрели...

— «Огнестойкие» еще опередят тебя...

— Не опередят,— возразил Фанька.— Не-е, у нас все порассчитано...

Подкатил к полойцам и покров. На покров в Коврижки со всех сторон съезжались коноводы: в этот праздник здесь шла бойкая торговля лошадьми. А у Ильки Кропота — двойной праздник: Илья-то он Илья, а родился в самый покров.

К покрову выпал в Коврижках снег. Не растает — все девки выскочат замуж, а если случится, что покров пройдет по голу — не жди тогда женихов. Такая тут примета. Посмеиваясь над приметой, Илья Кропот каждый год при любой погоде справлял свои именины. Нынче на покров даже пива наварил. Назвал гостей к себе много. Мургин тоже оказался у него в гостях. Появился он у Кропота поздно вечером. Илья вскочил, подхватил его под руку — и к столу. Усадил рядышком с собой, протянул на блестящем подносе стакан водки да стакан пива.

— Из одного пить, из другого запивать,— сказал он.

— Непьющий я,— дотронувшись до стакана с пивом, возразил Мургин.

— Да полно-ко... Все нын начальники говорят, что непьющие да негулящие, а пьют да гуляют больше нашего.

— И факты есть?

— А как же нет, товарищ Мургин, без фактов мы не обходимся...

— Фактики найдем,— поддержал Прялка.

— Прошу вначале водочки,— настаивал хозяин.

— Только разве за здоровье хозяев,— и, морщась, Мургин запрокинул голову.

Не прошло и часа, как в горницу ворвалась Настя и истошно, по-бабьи, крикнула:

— Пожа-а-а!

Все повскакали из-за стола и, выбежав в персполохе на улицу, увидели, как над прудом, шурша и потрескивая, поднимался золотистый столб.

— Мельница! — взревел Илька и, спотыкаясь, бросился под гору, освещенную полыхающим огнем, который с каждой минутой становился шире и, расправляясь в розовый полог, уже охватил полнеба.

43

Амбар с гарнцевым сбором,— пожар пачался с него,— сгорел за каких-нибудь полчаса. Огонь перекинулся на мельницу. Но вдруг повалил густой снег, пушистыми хлопьями принялся забрасывать бушевавшее пламя. А тут подоспели и мужики с ведрами, с подхватами и все же кое-как отстояли нутро — обгорела стена да край тесовой крыши. Бабы крестились: хоть и сгорел амбар, но уцелела мельница, как же без меленки мужику жить, за двадцать верст пришлось бы ездить, а тут — рядышком.

Выпавший снег, остановив пожар, упрятал под свое покрывало его следы. На том месте, где стоял амбар с голубыми над дверями наличниками, лежала огромная белая куча с подтаявшими рыжими подпалинами. Косноязычный сторож, прозванный Немком, обычно говорил мало,— теперь он совсем лишился голоса, и сна лишился старик. Сидел он в нагольном тулупе на обгоревшем конце бревна и плакал. Видать, плакал о том, что не уберет амбар с государственным хлебом, а не уберет потому, что пригласил его Илька Кропот в неурочный час к себе на именины — в это время и случилась беда. Смотрели на Немка люди и, жалея его, осуждали самого Кропота: он оставил мельницу без присмотра.

Две недели жил на мельнице молоденький следователь со стеклышками на глазах, опрашивал мужиков, сторожа, самого Ильку Кропота, ходил около остывшего холмика, по вечерам что-то записывал в книгу.

Однажды утром следователь зашел в волостной Совет.

— Не проясняется,— пожаловался он Ветлугину.

— Чего же не можешь подобрать, все видят, что это Кропотова рук дело,— упрекнул Ветлугин.

— Может, оно и так, но по ходу дела нет объективных улик... Пока что оборачиваются больше против Мургина. Он перед пожаром последним вошел в дом Кропотовых.

— А ты все же держи в поле зрения самого Кропотова,— настаивал Ветлугин.

И следователь снова ушел «держать в поле зрения Кропотова». Закрывать бы надо дело, но вот председатель волисполкома настаивает продолжать расследование. И опять следователь ходит около мельницы, слушает объяснения мужиков, в который раз уже допрашивает Ильку Кропота.

— А может, цыганы сожгли? — будто сам себя вслух спрашивает Кропот.

И следователь — к цыганам.

Правда, цыгане в то время останавливались у реки, их табор был раскинут верстах в двух от мельницы, да ведь улик-то опять же нет. А старая цыганка трясутыми руками раскинула карты на широкой цветной юбке и, потрянув седой головой с блестящими кольцами в ушах, прошамкала:

— Король ваш... Король сам, золотая голова, сжег, а не цыган, не-ст... Он, цыган, коней увести со двора может, это его дело... А гореть — он не может...

Следователь в душе посмеялся над рассуждениями старой цыганки и втайне от всех решил подбираться к Мургину. Допросил одного, потом другого... Дошло дело до Немка. Немок, как и прежде, молчал, непонимающе пялил глаза на пустой лист бумаги,— он не говорил, и следователю нечего было записывать.

— Ну что ж, не отрицаешь, что Мургин поджег? — наконец спросил он старика.— Судить его, значит, надо?

Немок вздрогнул, поднял на следователя удивленные глаза, поскреб рукой лоб, переспросил чуть слышно:

— Судить?

И опять замолчал. Молчал он долго, о чем-то напряженно думал, снова скреб скрученной продубленной ла-

донью лоб. И вдруг, вскочив с табуретки, хватил об пол шапку и, подняв ее, нахлобучил на глаза:

— Зазря нельзя судить... Пошли!

Опираясь на суковатую палку, старик выбрался из помолки, молча окинул взглядом косогор, будто прощаясь с белым светом, и, сугорбясь, неходко направился через мост в сосновое урочище. У осека свернул в прогалину и, покружившись около молоденьких сосенок, ткнул палкой в землю:

— Тута, должно...

Следователь тотчас же послал Немка в деревню за понятыми. Когда мужики пришли, он распорядился копать землю. Разбрасывая свежий, неслежавшийся песок, мужики вдруг почувствовали, как лопаты начали упираться во что-то твердое. Один из мужиков присел на колени и, нащупав мягкую ткань, потянул на себя.

— Да тут, братцы, целый склад! — вытаскивая из земли мешок с зерном, воскликнул он.

44

На суд собралось много людей, даже все и не поместились в зале. Лохматые шапки, серые выцветшие картузы, пестрые бабьи платки тянулись в просм дверей — всем хотелось взглянуть на Ильку Кропота. Лопаткой мужики отмеривали ему при помеле зерно, жертвовали его государству, а тут, смотри-ка, что натворил подлец Илька с ихним трудовым хлебушком! И не один, слышь, творил эдакое, целая шайка-лейка собралась. Трое обвиняемых из четырех сидели теперь на скамье подсудимых, четвертый, свояк Кропота, до разбирательства дела умер.

Вытягиваются на носках мужики, и среди них — Фанька. Хочется ему услышать, увидеть, понять все — двое-то ведь оказались из «Веялки». Видит он на сцене большой стол, накрытый кумачом. За ним — судья с заседателями.

Вот поднялась высокая статная женщина в черной гимнастерке, подпоясанной ремнем. Это, говорят, сама Ковынева приехала из Вятки судить, дело-то разбирается нешуточное: триста с лишним пудиков в яме откопали, да сколько еще сгорело, да сколько так, может, расташено.

Огласив обвинительный акт, судья обратилась к подсудимому:

— Признаете ли вы, Кропотов Илья Калиныч, себя виновным?

— Признаю,— хрипло ответил Илья Кропот и пригладил на затылке склокоченные волосы.

— Признаете ли вы, Рукавицын Гаврил Пахомыч?

— Никак нет, не признаю,— будто из-под земли донесся голос Прялки.— То есть частично... Не скрою, возил хлебушко на Рыжке, а чей хлеб — не знаю...

— А вы, Огорельцев Фрол Денисыч?

— Ить как я буду признавать... Возил и я,— вскинулся рядом с Прялкой высоченный, как стожар, Огорельцев.— Ить как же быть... Не для себя, однако...

— Признаете ли себя виновным, Огорельцев? — повторила судья.

— Чего же такое признавать? Не я, а он нанимал... Товарищ Кропотов нанимал возить... Обещал навроде плату... В этом признаюсь, что плату обещал...

— Ты-то чем, стожар, думал? — бросил из зала Ваня-чудотворец.

— Ну-к чем? — и мужик почесал стриженный наголо затылок.

— Не мешайте подсудимому.— И в третий раз судья повторила свой вопрос, признает ли подсудимый себя виновником.

— Ну к, как не признать — возили... Возил мешки за плату... А в остальном признаваться не имею права.

— Ишь ты, крал хлебушко, а не сознается,— опять послышался голос Вани-чудотворца.

— Не украл я, а возил... возил...

После перерыва в зал заседания начали вызывать свидетелей. Допросили одного, другого...

— Позовите свидетеля Мургина,— попросила судья.

— На него, говорят, все хотели свалить,— шепнула Настя стоявшим у окна бабам.— А он, смотри-ка, ни в чем и не повинный.

— У нас зазря теперь, бабоньки, не осудят,— ответила Макуха.

Из соседней, боковой комнаты, где помещалась контора кредитного товарищества, показался Мургин в полувоенном кителе, в галифе, в серых доброт-

ных валенках. Взглянув на судью, он вдруг опешил, растерянно втянул голову в плечи: «Неужели это она, Люда?!»

— Ваша фамилия, свидетель? — вглядываясь в лицо Мургина, спросила Ковынева и неожиданно почувствовала, как по спине пробежал щекочущий холодок: сбрей квадратную бородку, и перед ней — ни дать, ни взять, сам Сафаней Вьершов.

— Как, как вы сказали? — спросила она вновь, еле сдерживая волнение.

— Мургин, товарищ судья, — и уже громче: — Мургин... Серафим Иванович...

— Где вы родились, Мургин, когда? — не зная, как держать себя, спросила обычное Ковынева.

— Тыща девятьсот... то есть, что я говорю... восемьсот девяносто пятом... Да, да... Омская губерния... деревня...

— Разрешите ваши документы.

— Минуточку... С вашего разрешения, — и он повернулся и так быстро юркнул в боковушку, что судья не успела даже вымолвить слова.

Но вот прошла минута, другая, а свидетель Мургин не возвращался.

— Скажите, чтоб свидетель поспешил, — попросила судья стоявшего около подсудимых милиционера.

Козырнув, милиционер шагнул к двери, но та, к удивлению всех, оказалась на запоре.

— Спокойно, спокойно, — стараясь остановить всполошившихся в зале людей, сказала судья, но все поняли, что произошло что-то неладное.

Судья кивнула головой милиционеру и, приподняв руку, назвала фамилию следующего свидетеля.

Милиционер тем временем протиснулся к выходу и, выскочив на двор, подбежал к окну, но в кредитном уже никого не было.

Сафаней Вьершов несколькими минутами раньше выскочил в окно, отвязал у коновязи первую попавшуюся лошадь, вскочил в сани и, погоняя ее, поскакал по смерзшемуся, точно литому первопутку. Сколько раз он уезжал по этой дороге и всегда верил в удачу, и она сопровождала его. Вот и сейчас он хлестнул лошадь, и опять ему хотелось верить, что он уйдет от погони к другому берегу... Но где тот желанный для него берег? Как до-

браться теперь до него? Этот же берег — крут и горяч, что раскаленная плита. «Где же берут они силы — Ложенцовы, Ветлугины? — думал Вьершов. — Неужели им было суждено сказать последнее слово? Или последнее слово еще за нами... Смертельная схватка не кончена...»

Война еще терзала Россию.

Новую Россию он не принимал, а старую — давно потерял.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	191

Аркадий Александрович Филев
ЖИВОЕ — ЖИВЫМ
Роман

Редактор Н. Сафонов
Художник В. Лукатов
Художественный редактор Н. Егоров
Технический редактор В. Никифорова
Корректор О. Голева

Сдано в набор 3/IX—1976 г. Подписано к печати 10/1—1977 г. Формат изд. 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 115. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 19,86. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1400. Цена 1 р. 56 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЫ

Просим Вас отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — направлять по адресу:

**121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»**